

# ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-КУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
Ж У Р Н А Л

175930

**11**

1942

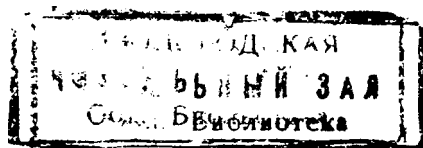
# ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ОДИННАДЦАТАЯ  
КНИГА

НОЯБРЬ



О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1942

175930

## Содержание

	<i>Стр.</i>
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. СТАЛИНА . . . . .	3
К. СИМОНОВ — «Родина», главы из поэмы . . . . .	10
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — Радуга (окончание), <i>повесть</i> . . . . .	15
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ — Баллада о танке «КВ», <i>стихи</i> . . . . .	71
ДМИТРИЙ ЦЕНЗОР — Ленинград, <i>стихи</i> . . . . .	72
СЕРГЕЙ СПАССКИЙ — Блокада, <i>стихи</i> . . . . .	73
ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ — Прокормим! <i>рассказ</i> . . . . .	74
ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ — Грузинской женщине, <i>стихи</i> . . . . .	84
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Я — сын Страны Советов, <i>стихи</i> . . . . .	85
АНДРЕЙ МАЛЫШКО — Украина моя! <i>стихи</i> . . . . .	85
ФЕДОР ГЛАДКОВ — Боец Назар Суслов, <i>повесть</i> . . . . .	86
С. КАВТАРАДЗЕ — Из воспоминаний . . . . .	100
А. С. АЛЛИЛУЕВА — Март — октябрь 1917 (из книги воспоминаний) . . . . .	104

### С ФРОНТА

Б. ПОЛЕВОЙ — Город-герой . . . . .	116
------------------------------------	-----

### КРИТИКА

А. МЯСНИКОВ — Литература и война . . . . .	126
--------------------------------------------	-----

---

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,  
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮКОВИЧ (отв. секретарь)

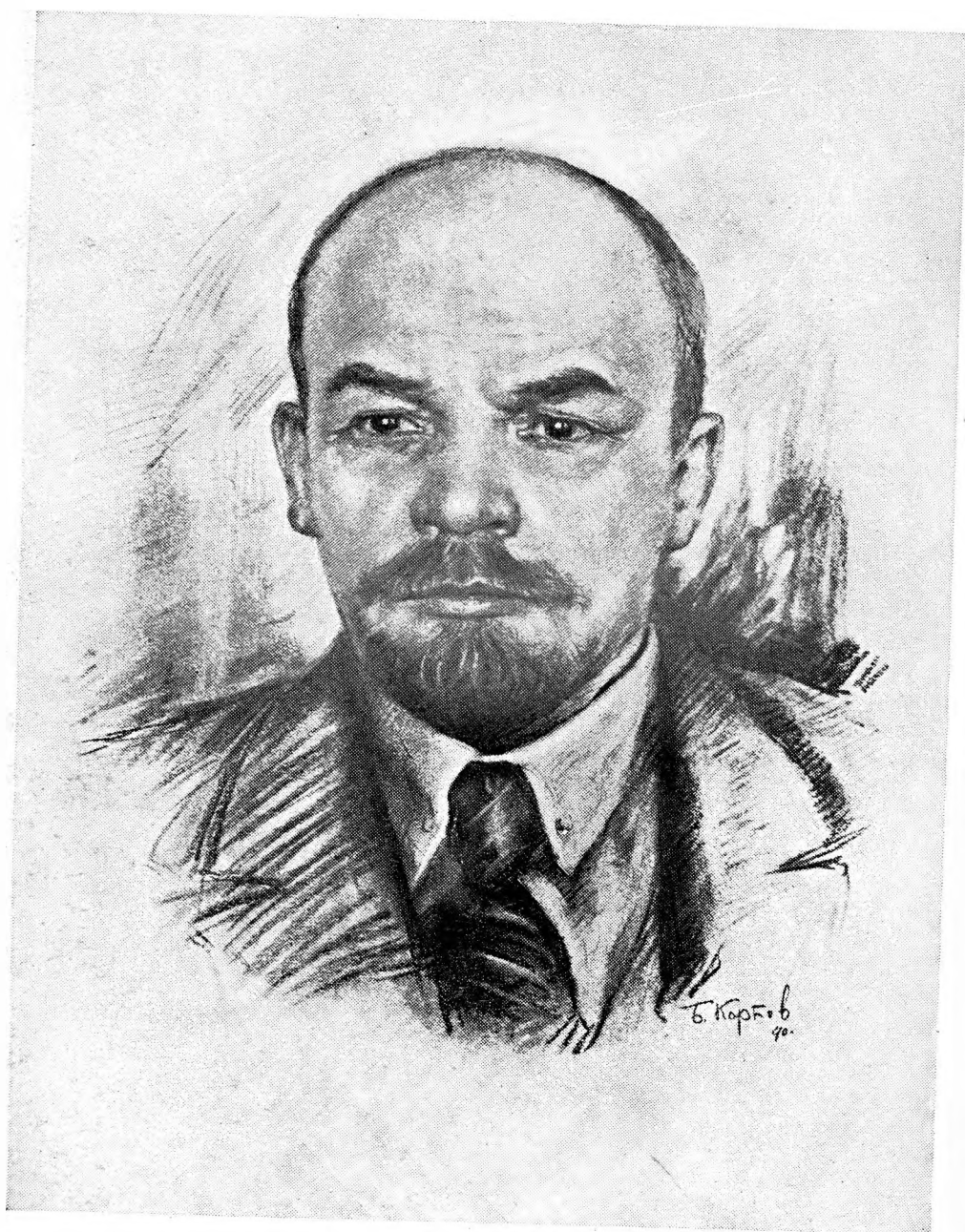
Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский, 10/2, тел. К 3-44-22

---

17-й год издания. Тираж 25 000 экз. А613<sup>26</sup>. Подписано к печати 25/XI 1942 г.  
Печ. листов 9. Уч.-авт. листов 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. В печ. листе 74 920 зн. Цена 5 руб.

---

18-я типография треста «Полиграфкнига». Москва, Шубинский пер., 10







# XXV ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

## Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. СТАЛИНА

на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся  
с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1942 года

### ТОВАРИЩИ!

Сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования Советского строя.

На торжественных заседаниях в годовщину Октябрьской Советской революции обычно принято подводить итоги работы государственных и партийных органов за истекший год. Мне поручено представить вам отчетный доклад об этих именно итогах за истекший год — от ноября прошлого года до ноября текущего года.

Деятельность наших государственных и партийных органов протекала за истекший период в двух направлениях: в направлении мирного строительства и организации крепкого тыла для нашего фронта, — с одной стороны, и в направлении проведения оборонительных и наступательных операций Красной Армии, — с другой стороны.

### 1. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА В ТЫЛУ

Мирная строительная работа наших руководящих органов выразилась за этот период в перебазировании нашей промышленности как военной, так и гражданской в восточные районы нашей страны, в эвакуации и устройстве на новых местах рабочих и оборудования предприятий, в расширении посевных площадей и в увеличении озимого клина на востоке, наконец, в коренном улучшении работы наших предприятий, работающих на фронт, и в укреплении трудовой дисциплины в тылу, как на заводах, так и в колхозах и совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая и сложнейшая организаторская работа большого масштаба всех наших хозяйственных и административных наркоматов, в том числе — нашего железнодорожного транспорта. Однако трудности удалось преодолеть. И теперь наши заводы, колхозы и совхозы, несмотря на все трудности военного времени, работают беспорочно удовлетворительно. Наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию орудиями, минометами, самолетами, танками, пулеметами, винтовками, боеприпасами. Наши колхозы и совхозы также честно и аккуратно снабжают население и Красную Армию продовольствием, а нашу промышленность — сырьем. Нужно признать, что наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла.

В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы преобразились не только наша страна, но и сами люди в тылу. Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной и перед ее защитниками на фронте — перед Красной Армией. Ротозев и разгильдяев, лишенных чувства гражданского долга, становится в тылу все меньше и меньше. Организованных и дисциплинированных людей, исполненных чувства гражданского долга, становится все больше и больше.

По истекший год является, как я уже говорил, не только годом мирного строительства. Он является вместе с тем годом Отечественной войны с немецкими захватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу миролюбивую страну.

## 2. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОВЕТСКО-НЕМЕЦКОМ ФРОНТЕ

Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год, то она выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций Красной Армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советско-немецком фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый период — это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение 4-х месяцев прошла местами более 400 километров, и второй период — это летний период, когда немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу, прошли местами в течение 5 месяцев до 500 километров.

Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия Красной Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под Москвой, под Тихвином и Ленинградом — вскрыли два знаменательных факта. Они показали, во-первых, что Красная Армия и ее боевые кадры выросли в серьезную силу, способную не только устоять против напора немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и погнать их назад. Они показали, во-вторых, что немецко-фашистские войска при всей их стойкости имеют такие серьезные органические недостатки, которые при некоторых благоприятных условиях для Красной Армии могут привести к поражению немецких войск. Нельзя считать случайностью тот факт, что немецкие войска, прошедшие триумфальным маршем всю Европу и сразившие одним ударом французские войска, считавшиеся первоклассными войсками, встретили действительный военный отпор только в нашей стране, и не только отпор, но оказались вынужденными под ударами Красной Армии отступить от занятых позиций более чем на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное количество орудий, машин, боеприпасов. Одними зимними условиями войны никак нельзя объяснить этот факт.

Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается переломом в пользу немцев, переходом инициативы в руки немцев, прорывом нашего фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и выходом в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока. Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники бросили на фронт все свои свободные резервы и, нацелив их на одном направлении, на юго-западном направлении, создали здесь большой перевес сил и добились значительного тактического успеха.

Повидимому немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно наступление по всем трем направлениям, на юг, на север, на центр, как это имело место в первые месяцы немецкого наступления летом прошлого года, но они еще достаточно сильны для того, чтобы организовать серьезное наступление на каком-либо одном направлении.

Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в том числе и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных районов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают такое предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных районов СССР является не главной, а вспомогательной целью.

В чем же, в таком случае, состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского и уральского тыла и потом ударить на Москву. Продвижение немцев на юг в сторону нефтяных районов имело своей вспомогательной целью не только и не столько занятые нефтяных районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе на Москву. Этим собственно и объясняется, что главная группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталинграда.

Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба. У этого офицера нашли карту с обозначением плана продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа видно, что немцы намеревались быть в Борисоглебске 10 июля этого года, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 10 августа, в Куйбышеве — 15 августа, в Арзамасе — 10 сентября, в Баку — 25 сентября.

Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что главная цель летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, тогда как продвижение на юг имело своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче было провести удар по Москве.

Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать и тем добиться окончания войны на Востоке. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, не оправдались. Обжегшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве, немцы вознамерились взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну на Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь своих одуряченных солдат. Как известно, эти расчеты немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами — и за нефтью, и за окружением Москвы, — немецко-фашистские стратеги оказались в затруднительном положении.

Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов.

### 3. ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ В ЕВРОПЕ

Чем объяснить тот факт, что немцам все же удалось в этом году взять в свои руки инициативу военных действий и одержать серьезные тактические успехи на нашем фронте?

Объясняется это тем, что немцам и их союзникам удалось собрать все свои свободные резервы, бросить их на восточный фронт и создать на одном из направлений большой перевес сил. Не может быть сомнения, что немцы без этих мероприятий не смогли бы добиться успеха на нашем фронте.

Но почему им удалось собрать все свои резервы и бросить их на восточный фронт? Потому что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность произвести эту операцию без какого-либо риска для себя.

Стало быть главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы и создать большой перевес своих сил на юго-западном направлении.

Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, также как он существовал в первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск на нашем фронте? Не трудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Искова, Мшска, Житомира, Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие второго фронта в Европе.

Рассмотрим вопрос о втором фронте в Европе в историческом разрезе.

В первую мировую войну Германии пришлось воевать на два фронта, на Западе, главным образом, против Англии и Франции, и на Востоке — против русских



войск. Стало быть в первую мировую войну существовал второй фронт против Германии. Из 220 дивизий, имевшихся тогда у Германии, на русском фронте стояло не более 85 немецких дивизий. Если к этому прибавить войска союзников Германии, стоявшие против русского фронта, а именно, 37 австро-венгерских дивизий, 2 болгарских и 3 турецких дивизий, то всего составит 127 дивизий, стоявших против русских войск. Остальные дивизии Германии и ее союзников держали фронт главным образом против англо-французских войск, а часть из них несла гарнизонную службу в оккупированных территориях Европы.

Так обстояло дело в первую мировую войну.

Как обстоит дело теперь, во вторую мировую войну, скажем, в сентябре месяце этого года?

По проверенным данным, не вызывающим каких-либо сомнений, из 256 дивизий, имеющихся теперь у Германии, на нашем фронте стоит не менее 179 немецких дивизий. Если к этому прибавить 22 румынских дивизии, 14 финских дивизий, 10 итальянских дивизий, 13 венгерских дивизий, 1 словацкую дивизию и 1 испанскую дивизию, то всего составит 240 дивизий, дерущихся сейчас на нашем фронте. Остальные дивизии немцев и их союзников несут гарнизонную службу в оккупированных странах (Франция, Бельгия, Норвегия, Голландия, Югославия, Польша, Чехословакия и т. д.), часть же из них ведет войну в Ливии за Египет, против Англии, причем ливийский фронт отвлекает всего 4 немецких дивизии и 11 итальянских дивизий.

Стало быть вместо 127 дивизий в первую мировую войну, мы имеем теперь против нашего фронта не менее 240 дивизий, а вместо 85 немецких дивизий мы имеем теперь 179 немецких дивизий, дерущихся против Красной Армии.

Вот где главная причина и основа тактических успехов немецко-фашистских войск на нашем фронте летом этого года.

Нашествие немцев на нашу страну часто сравнивают с нашествием Наполеона на Россию. Но это сравнение не выдерживает критики. Из 600 тысяч войск, отправившихся в поход на Россию, Наполеон довел до Бородино едва 130—140 тысяч войск. Это все, чем он мог располагать под Москвой. Ну, а мы имеем теперь более трех миллионов войск, стоящих перед фронтом Красной Армии и вооруженных всеми средствами современной войны. Какое же может быть тут сравнение?

Нашествие немцев на нашу страну сравнивают иногда также с нашествием Германии на Россию в период первой мировой войны. Но это сравнение также не выдерживает критики. Во-первых, в первую мировую войну существовал второй фронт в Европе, сильно затруднявший положение немцев, тогда как в этой войне нет второго фронта в Европе. Во-вторых, в эту войну против нашего фронта стоит вдвое больше войск, чем в первую мировую войну. Ясно, что сравнение не подходит.

Теперь вы можете представить, насколько серьезны и необычайны те трудности, которые стоят перед Красной Армией, и до чего велик тот героизм, который проявляет Красная Армия в ее освободительной войне против немецко-фашистских захватчиков.

Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша Советская страна, и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. (БУРЖУАЗНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ). И не только выдержать, но и преодолеть его.

Часто спрашивают: а будет ли все же второй фронт в Европе. Да, будет, рано или поздно, но будет. И он будет не только потому, что он нужен нам, но и, прежде всего, потому, что он не менее нужен нашим союзникам, чем нам. Наши союзники не могут не понимать, что после того, как Франция вышла из строя, отсутствие второго фронта против фашистской Германии может кончиться плохо для всех свободолюбивых стран, в том числе — для самих союзников.

#### **4. БОЕВОЙ СОЮЗ СССР, АНГЛИИ И США ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СОЮЗНИКОВ В ЕВРОПЕ**

Теперь уже можно считать неоспоримым, что в ходе войны, навязанной народам гитлеровской Германией, произошла коренная размежка сил, произошло образо-

ванне двух противоположных лагерей, лагеря итало-германской коалиции и лагеря англо-советско-американской коалиции.

Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции руководствуются двумя разными противоположными программами действия.

Программу действия итало-германской коалиции можно охарактеризовать следующими пунктами: расовая ненависть; господство «избранных» наций; покорение других наций и захват их территорий; экономическое порабощение покоренных наций и расхищение их национального достояния; уничтожение демократических свобод; повсеместное установление гитлеровского режима.

Программа действия англо-советско-американской коалиции: уничтожение расовой исключительности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение порабощенных наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации устраиваться по своему желанию; экономическая помощь потерпевшим нациям и содействие им в деле достижения их материального благополучия; восстановление демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима.

Программа действия итало-германской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны Европы — Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Франция, Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, оккупированные области СССР — питают ненавистью к итало-германской тирании, вредят немцам и их союзникам, как только могут, и ждут удобного момента для того, чтобы отомстить своим поработителям за те унижения и насилия, которые они переносят.

В связи с этим одна из характерных черт современного момента состоит в том, что прогрессивно растет изоляция итало-германской коалиции и истощание ее морально-политических резервов в Европе, растет ее ослабление и разложение.

Программа действия англо-советско-американской коалиции привела к тому, что все оккупированные страны в Европе полны сочувствия к членам этой коалиции и готовы оказать им любую поддержку, на какую только они способны.

В связи с этим другая характерная черта современного момента состоит в том, что морально-политические резервы этой коалиции изо дня в день растут в Европе, — и не только в Европе, — и что эта коалиция прогрессивно обрастает миллионами сочувствующих людей, готовых биться вместе с ней против тирании Гитлера.

Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя не прийти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции.

Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущества, чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов много, но расходуются они так беспорядочно, что преимущество оказывается равным нулю. Ясно, что кроме ресурсов необходима еще способность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно расходовать их. Есть ли основание сомневаться в наличии такого умения и такой способности у людей англо-советско-американской коалиции? Есть люди, которые сомневаются в этом. Но на каком основании они сомневаются? В свое время люди этой коалиции проявили умение и способность мобилизовать ресурсы своих стран и правильно расходовать их для целей хозяйственного и культурно-политического строительства. Спрашивается, какое имеется основание сомневаться в том, что люди, проявившие способность и умение в деле мобилизации и распределения ресурсов для хозяйственных и культурно-политических целей, окажутся не способными проделать ту же работу для осуществления военных целей? Я думаю, что таких оснований нет.

Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все шансы на победу и она наверняка победила бы, если бы не было у нее одного органического недостатка, способного ослабить и разложить ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в том, что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию и что это обстоятельство не даст им возможности организовать совместные действия против общего врага.

Я думаю, что это утверждение неправильно.

Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в общественном строе государств, входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исключает ли это обстоятельство возможность и целесообразность совместных действий членов этой коалиции против общего врага, несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не исключает. Более того, — создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных действий для того, чтобы избавить человечество

от возврата к дикости и к средневековым зверствам. Разве программа действия англо-советско-американской коалиции недостаточна для того, чтобы организовать на ее базе совместную борьбу против гитлеровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что вполне достаточна.

Предположение этих людей неправильно еще и потому, что оно полностью опровергается событиями истекшего года. В самом деле, если бы эти люди были правы, мы наблюдали бы факты прогрессивного отчуждения друг от друга членов англо-советско-американской коалиции. Однако мы не только не наблюдаем этого, а наоборот, мы имеем факты и события, говорящие о прогрессивном сближении членов англо-советско-американской коалиции и объединении их в единый боевой союз. События истекшего года дают прямое к тому доказательство. В июле 1941 г., через несколько недель после нападения Германии на СССР, Англия заключила с нами соглашение «О совместных действиях в войне против Германии». С Соединенными Штатами Америки мы еще не имели тогда никаких соглашений на этот предмет. Через 10 месяцев после этого, 26 мая 1942 г., во время посещения Англии г. Молотовым, Англия заключила с нами «Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны». Договор этот заключен на 20 лет. Он знаменует собой исторический поворот в отношениях между нашей страной и Англией. В июне 1942 года, во время посещения США г. Молотовым, Соединенные Штаты Америки подписали с нами «Соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», соглашение, делающее серьезный шаг вперед в отношениях между СССР и США. Наконец, следует отметить такой важный факт, как посещение Москвы премьер-министром Великобритании г-пом Черчиллем, установившее полное взаимопонимание руководителей обеих стран. Не может быть сомнения, что все эти факты говорят о прогрессивном сближении СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки и об объединении их в боевой союз против итало-германской коалиции.

Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики.

Вывод один: англо-советско-американская коалиция имеет все шансы, чтобы победить итало-германскую коалицию и она без сомнения победит.

## 5. НАШИ ЗАДАЧИ

Война порвала все покровы и облажила все отношения. Положение стало до того ясно, что нет ничего легче, как определить наши задачи в этой войне.

В своей беседе с турецким генералом Эрклиет, опубликованной в турецкой газете «Джумхурнет», людоед Гитлер говорит: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Кажется, ясно, хотя и глуповато. (СМЕХ). У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство — можно и должно. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

В той же беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает: «Мы будем продолжать войну до тех пор, пока в России не останется организованной военной силы». Кажется, ясно, хотя и безграмотно. (СМЕХ). У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить всякую организованную военную силу в Германии, ибо любой грамотный человек поймет, что это не только невозможно в отношении Германии, как и в отношении России, но и нелепообразно с точки зрения победителя. Но уничтожить гитлеровскую армию — можно и должно. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью обратить в рабство или истребить население Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие люди и подлены, лишённые чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении

невинных безоружных людей. Но это не все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую «систему заложников». Они расстреливают и вешают ни в чем неповинных граждан, взятых «под залог», из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насловать женщин или ограбить обывателей. Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — «новый порядок в Европе». Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов.

Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный «новый порядок в Европе» и покарать его строителей.

Таковы наши задачи. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

Товарищи! Мы ведем великую освободительную войну. Мы ведем ее не одни, а совместно с нашими союзниками. Она несет нам победу над подлыми врагами человечества, над немецко-фашистскими империалистами. На ее знамени написано:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОВЕДА АНГЛО-СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОГО БОЕВОГО СОЮЗА! (АПЛОДИСМЕНТЫ).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ЕВРОПЫ ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ ТИРАНИИ! (АПЛОДИСМЕНТЫ).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ СЛАВНОЙ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ! (АПЛОДИСМЕНТЫ).

ПРОЛЯТИЕ И СМЕРТЬ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ, ИХ ГОСУДАРСТВУ, ИХ АРМИИ, ИХ «НОВОМУ ПОРЯДКУ В ЕВРОПЕ»! (АПЛОДИСМЕНТЫ).

НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ — СЛАВА! (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

НАШЕМУ ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ — СЛАВА! (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

НАШИМ ПАРТИЗАНАМ И ПАРТИЗАНКАМ — СЛАВА! (БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ. ВСЕ ВСТАЮТ. ОВАЦИЯ ВСЕГО ЗАЛА).

---





вода,  
и деревья,  
деревья,  
с густыми,  
с очень густыми,  
с такими густыми, как хочется,  
ветвями,  
ветвями,  
ветвями.  
— Денисов, на башню!  
Скорее, — смотри!  
Видишь реку?  
— Не вижу.

И правда — пропала, одна проспья.  
До реки осталось семьдесят три,  
семьдесят два,  
шестьдесят восемь.  
Кого-то хватил удар.  
За бугром, в стороне,  
экипаж ему наспех роет могилу.  
Земля пересохла,  
она не желает,  
по ней, как по броне,  
с лязгом скользят лопаты.  
Она мертвых берет через силу.  
А живым — им некогда,  
им надо по танкам сесть,  
молча сдернуть шлемы  
и ехать.  
Нет времени на слова.  
До реки осталось шестьдесят шесть,  
шестьдесят пять,  
шестьдесят два.

## 2. СРАЖЕНИЕ

Пехоты все еще не было:  
она утопала в песках;  
шла, задыхаясь пылью,  
едва дыша.  
Летчик, посланный на разведку,  
впереди нее, в облаках  
летел, как оторванная от тела душа.  
Он знал:  
за десять минут отсюда уже начинался бой.  
Проклятье!  
Он мог эти сутки для них  
сделать за десять минут.  
Если б можно их всех на канатах потянуть  
вверх за собой,  
поднять,  
перенести  
и поставить  
за сто верст,  
там, где их ждут.  
Он делал над их головами смертельные по-  
мера:  
двойной разворот,  
штопор.  
двойной разворот.

И смертельно усталые люди снизу хрипло  
кричали «ура!»  
Они понимали, что он им хочет помочь ско-  
ротать переход.  
— Что ж, придется одним.—  
Майор потушил папиросу о кленку брони.  
Коммиссар достроил на плашете последнюю  
строчку жене.

Начальник штаба молча кивнул:  
— Что ж, одни, так одни,—  
и посмотрел на багровое солнце, плившее в  
стороне.

Все посмотрели на солнце.  
Открыв верхние люки  
на всех,  
сколько было,  
тапках,  
сдвинув на лоб очки,  
положив на поручни башен черные кожаные  
руки,

танкисты смотрели на солнце,  
катившееся через песок.  
Не всем им завтра встретить восход под эти-  
ми облаками.

Майор поднялся на башню:  
— За родину!  
— В бой!

Сигналист крест-накрест взмахнул флажками,  
и стальные люки с грохотом захлопнулись,  
пад головой.

В броневом стекле вниз и вверх металась  
холми.

Не было больше  
ни неба,  
ни солнца,  
только узкий кусок  
земли, в которую надо стрелять,—  
только они и мы.

И политый кровью песок.  
— За родину!

Значит — не просто за землю от Немана до  
Владивостока,  
а за все, что ты, голодая и холодая, построил  
на ней.

За наши законы, в которых жестоко  
карают трусов  
и смело возносят храбрых парней.  
За родину —  
значит, за наше право  
раз и навсегда  
быть равным перед жизнью и смертью,  
если нужно — в этих песках.  
За мою мать,  
которая никогда  
не будет плакать, прося за сына, у чуже-  
земца в ногах.

За родину —  
значит, за наши русские в липах и топо-  
лях города,

где ты бегал мальчишкой,  
где, если ты стоишь того,  
будет памятник твой.  
За любимую женщину, которая так горда,  
что плюнет в лицо тебе, если ты трусом вер-  
нешься домой.

Облитая бензином, кру-ом горела трава:  
майор, задыхаясь от дыма, вытер глаза чер-  
ным платком,

крикнул:

— Ура, за Сталина! —

Стрелок не расслышал слова,

но по губам угадал

и, стреляя,

повторил их беззвучным ртом.

Спаряд ворвался в самую башню.

На мгновение глухота,

как будто страшно ударили в ухо.

Стараясь содрать тишину,

майор провел по лицу ладонью.

Ладонь была залита;

стрелок привалился к его плечу, — как будто  
клопилось ко сну.

Майор рванул рукоять.

Пулемет замолк.

Замок

у орудья разодран в куски.

Но танк еще шел!

Танк еще шел!

Танк еще мог...

Еще сквозь пробину плыло небо и летели  
пески.

И вдруг застрял

и опять рванулся странным рычком.

— Денисов!

Водитель молчал.

— Денисов!

Молчал.

— Денис...

Майор качнулся вправо и влево, в обнимку с  
мертвым стрелком,

и, оторвав мокрые пальцы,

пролез вниз.

Водитель

сидел, как всегда — руки на рычагах.

Посмертным усилием воли он выжал перед-  
ний ход.

Исполняя его последнее желание,

в мертвых зрачках

земля, как при жизни, еще летела вперед.

Похоронный марш,

слава,

вечная память —

это все потом.

А пока на мокром от крови кресле надо си-  
деть вдвоем.

Майор отодвинул мертвого,

повернул лицом к броне,

и, дотянувшись до рычагов,

прижался к его спине...

Семь танков уже горело.

Справа,

слева

и сзади

были воткнуты в небо столбы дыма.

Но, согласно приказу, живые

шли не глядя,

шли вперед,

шли мимо,

мимо праха товарищей,

мимо горевших могил,

недописанных писем,

недожитых жизней.

Перед смертью бы каждый из них попросил

только горсть воды — себе,

и победы в бою — отчизне.

Есть у танкистов команда:

«Делай, как я!»

Смерть не может прервать ее исполненье.

Заместитель умершего повторяет: — Делай,  
как я! —

Умирает,

и его заместитель ведет батальон в наступ-  
ление.

Экипаж твой убит.

Но еще далеко до отбоя,

и соседи не знают, что мертвым не прика-  
жешь стрелять.

Если ты повернешь,

вдруг они повернут за тобою,

вечность,

тридцать секунд

потеряв, чтоб понять.

Да!

Но ты еще жив.

И, разодранный, страшный, молчащий

танк майора прорвался к реке.

Да, пускай не стрелять,

только б в землю их вмять,

только б чаще

превращать их машины в скорлупу на песке.

Майор срывает флягу с ремня.

Воды больше нет.

Ну, и черт с ней!

Он сжимает сожженный рот!

В эту минуту победы

больше нет

ни тебя,

ни меня,

ни жажды,

ни смерти,

ничего,

кроме — вперед!

### 3. ВЕЧЕР ПОСЛЕ БОЯ

Вечер...

Как далеко это поле сраженья

и слезы

уносенья победой;

и последнего залпа дымок,  
перевернутых пушек колеса;  
бегство тех, кто успел,  
и могилы тех, кто не смог.  
После боя курили, сняв шлемы.  
Над головой  
был зеленый с красным и черным закат.  
Был короткий отдых,  
и завтра — опять бой,  
как вчера,  
и позавчера,  
и месяц назад.  
Но они говорили совсем не об этом:  
чего ради  
повторять то, что снова начнется завтра с  
утра?

Они говорили о доме,  
о маме,  
и о какой-то Наде  
так, как будто они оттуда только вчера.  
Нет, неправда, к смерти привыкнуть нельзя.  
Но это не значит — видеть ее во сне по  
ночам,

думать о ней, открывая утром глаза,  
говорить о ней, поднося котелок к губам.  
И командир,  
который вчера был с ними в бою  
и пойдет с ними завтра,  
садится рядом  
и, греясь одним огнем,  
слушает их жизнь  
и рассказывает свою,  
и не боится вспомнить милую женщину и  
опустевший дом.

Его не тревожит их память о доме,  
о любви,  
об уюте комнат.  
Если б не было этого, — где же тогда их  
сердца?

Из того,  
кто ничего не любит  
и ничего не помнит,  
можно сделать самубийцу,  
но нельзя сделать бойца.  
Я люблю землю в холодных рассветах,  
в почных огнях,  
все места, в которых я еще никогда не жил.  
Если б мне оторвало ноги,  
я бы на костылях,  
все равно, обошел бы все, что решил.  
Я люблю славу,  
которая по праву приходит к нам:  
с почтами без сна,  
с усталостью до глухоты,  
равнодушную к именам,  
жестокую по временам,  
но приходящую неизменно,  
если сам не изменишь ты.  
Я люблю женщину,  
которая стоит того,

чтоб задыхаться от счастья,  
когда она со мной,  
чтоб задыхаться от горя,  
когда она оставляет меня одного,  
чтоб не знать  
ни раньше,  
ни позже  
никого, кроме нее одной.  
Но, когда между жизнью и смертью за них  
выбирать  
приходится только нам самим,  
то, как ни бывает жаль умирать,  
мы не уступаем этого права другим.  
Если ты здоров и силен  
и ты уступил это право, —  
ты не смеешь ходить по земле,  
которую защищал другой;  
слава, трясаясь над которой, ты струсия, —  
уже не слава;  
женщину, за которую ты не дрался,  
ты не смеешь назвать дорогой.  
Мы всосали эту жестокую правду с молоком  
матерей.

Мы все такие,  
и этого у нас не отнять.  
Мы умеем жертвовать жизнью  
только одной —  
своей.  
Но за то эту одну трудно у нас отобрать.  
Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг,  
которые мы прочли,  
всех истин, которые нам сказали,  
мы вспоминаем не всю землю,  
а только клочок земли;  
не всех людей,  
а только женщину на вокзале.  
Но за этим, ширясь, не зная преград,  
встает родина,  
сложенная из этих клочков земли;  
встает народ,  
составленный  
из друзей, которые провожали нас, — солдат.  
Плывут облака, под которыми мы все росли,  
а в бою есть только танки, идущие напролом.  
Есть только красный флаг над желтым пес-  
ком.

Что они не сметут,  
то он подождет.  
Они лйдут до реки,  
и пройдут эту реку в брод,  
и пески за рекой,  
и горы, которые за песками,  
и еще пески,  
и еще горы,  
и леса, которые за горами, —  
бескопечное множество рек, полей и лесов  
и, почернев в походах,  
они выйдут в другое столетье  
на площади  
неизвестных нам городов;



только там, наконец, они встанут на отдых.  
Будет солнечный день.  
Незнакомый нам завтрашний век.  
Монументом из бронзы  
на площадях  
они встанут рядами.  
Верхний люк  
приподнимет бронзовый человек,  
сигналист просигналил бронзовыми флаж-  
ками,  
и на всех,  
сколько будет их, танках,  
открыв верхние люки,  
подчиняясь приказу бронзового флага,  
положив на поручни башен бронзовые руки,  
танкисты будут смотреть на солнце,  
катающиеся через века.

#### 4. БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Я там не был зимой. Но я знаю. С утра  
ветер бьет об замерзшую воду.  
Снега нет и в помине.  
Ветра.  
Адовая погода.  
В эту продрогшую землю  
в мелких порошинках инея,  
словно их тронула проседь,  
вдавлены танков следы.  
Они, как тульская сталь, холодные, спящие,  
вползают паверх  
от замерзшей воды.  
А вверху,  
над ущельем, где разбитые грузовики  
вверх колесами спят,  
дожидаясь мертвых шоферов,  
где торчат из-под льда железные лепестки  
изорванных взрывом моторов,  
высоко надо всем, как гнездо орлов,—  
наше братское кладбище,  
в горной дымке мороза.  
Деревянные доски, и несколько слов,  
и далеко в Рязани пролитые матерью слезы.  
Но мне кажется—тут похоронен только один;  
он был русский парень с голубыми глазами,  
он погиб, не дожив до первых седниц,  
до славы, которая не за горами.  
Он лётчиком был.  
А впрочем,— не так:  
он был сапером,  
он мост паводил под обстрелом.  
Нет, он не был сапером:  
в одной из атак  
он майора от пули прикрыл своим телом.  
Нет, неправда!  
Тогда он выжил на счастье.  
Он в пехоте и не был.  
Скорей всего.  
говорят, он был из танковой части,  
потом ей дали имя его.

Много слухов идет об его кончине:  
говорят,  
что от смерти за два шага,  
на своей курносой горящей машине,  
он, и рушась, протаранил врага.  
Говорят,  
он, в сплюсненном танке зажатый,  
перед смертью успел обожженным ртом  
объяснить экипажу,  
как можно последней гранатой  
кончить сразу троих,  
если лечь на нее животом.  
Говорят,  
что, когда его ранили в погу,  
недвижим,  
окружен,  
далеко от своих,  
он, взмахнув над собой пулеметной треногой,  
уложил перед смертью последних троих.  
Много слухов идет об его кончине.  
Верно, был он героем, если столько о нем  
говорят:  
как в их полк мать, рыдая, писала о сыне.  
как его гимнастерку надевал его младший  
брат.  
Говорят, его имя  
дают городам  
и рекам.  
То сурово, то ласково имя это звучит,  
потому что в бою был он очень крутым че-  
ловеком,  
но к друзьям и к любимым по-детски был  
сердцем открыт.  
Так был волосом рус он,—  
а глаза голубые,—  
так любим он везде был, где довелось ему  
жить,  
что все девушки плакали,—  
даже чужие,—  
и все парни клялись за него отомстить.  
Он лежит под землей, на границе.—  
но он сам, как граница.  
Он лежит на орлином утесе.—  
но он сам, как орлиный утес.  
Он описан на книжных страницах,—  
но он сам, как живая страница.  
Он убит.  
Но довольно,  
не плачьте —  
он не любил слез.  
Он любил, чтобы, с глаз их рукавом сдвряя,  
шли вперед,  
скупными словами  
написав о смерти жене.  
Это он  
окровавленным пальцем,  
заживо в танке стораая,  
«Большевики не стаяются»  
нацарапал на дымной броне.

# Радуга

П о в е с т ь <sup>1</sup>

Немец улыбался, скаля испорченные зубы. Ему понравилась эта игра, страх в глазах детей, бледность, покрывшая их щеки, напряжение на лице самого старшего. Сама начинал понимать, что солдат забавляется. Забавляется ими, как кошка мышью. Да, солдат явно забавлялся. Черное отверстие дула то поднималось, то опускалось. Саме захотелось, чтобы немец, наконец, выстрелил, чтобы все это уже кончилось.

Он подумал, что первым немец убьет его, как самого старшего, и напряженно смотрел в дуло — пусть скорее стреляет, пусть все кончится.

Солдату, наконец, надоело это развлечение, он еще раз засмеялся, закинул за плечи винтовку и вышел не оглядываясь. Дети замерли в неподвижности, глядя на дверь. Саша ждал, — может, тот только притаился за дверью, может, только ждет, а когда его-нибудь из них шевельнется, откроет дверь и выстрелит? Даже Нина сидела, словно окаменевшая. И вот раздался шаг — шаг в сенях. Дверь распахнулась — это была мать.

И тут только последовал взрыв. Зина кричала не своим голосом, заливалась слезами Нина, плакали Ося и Соля. Один Саша молча стоял перед матерью.

— Что такое? Что случилось? — ужаснулась она.

— Ничего, немец тут был, — ответил Саша.

— Немец? Что ему нужно было?

— Ничего. Хотел молока.

— Ну и что?

— Ну, я показал ему, что коровы у нас нет.

— Он и ушел?

— Ушел.

— Так чего же вы все так орете? — рас-

сердилась Малючиха. — Ушел, и ладно. Близок ли вам, что ли?

— Нет, он нас не бля, — мрачно ответил Саша, и, успокоенная, она стала стряхивать в сенях снег с шали, чтоб не панести его в хату.

— Ну и вьюга, никак не успокоится...

Снаружи донесся далекий сдавленный крик.

— Что это?

— Ничего... Олена рождает, — нахмурилась Малючиха.

Дети прислушивались. Протяжный, сдавленный крик несся со стороны запертого сарая. Он поднимался вверх, падал, умолкал на мгновение и снова раздавался с возрастающей силой.

## IV

Это была комната за помещением комедатуры. Четыре стены и голый пол. Когда-то здесь стояли шкафы, один библиотечный, другой с документами и книгами сельсовета и колхоза.

Стены старого дома были выстроены из могучих, толстых бревен. Немцы забили досками окно, и в комнате было темно. Светилась только щель в дверях, ведущих в помещение немецкого караула, где горела лампа. Сюда ввели арестованную нятерку. Они услышали скрежет ключа в замке, раз, другой, потом погрузились в огороженную четьерьма стенами тьму. Ни скамей, ни табуреток не было. Глаза медленно осваивались с мраком. Они сели на полу у стены. Грохач растянулся на полу, подложил под голову кулак, и вскоре послышалось его равномерное посапывание.

Но остальные не могли спать. Ольга Палачук прижалась к Чечорихе. Она боялась. Боялась этой комнаты, боялась темноты, боялась света за дверью. Боялась того, что бу-

<sup>1</sup> Окончание. См. «Октябрь» № 10 за 1942 г.

дет. Чечориха взяла ее под руку, так они и сидели, прижавшись друг к другу.

Одна Малаша не жалась к людям. Охватывая руками колени, она уселась в другом углу, прислонилась к стене и широко открытыми глазами смотрела в темноту. Она не думала о том, о чем думали ее подруги по заключению. Неподвижная, с напряженным взглядом, затаив дыхание в груди, она прислушивалась. Нет, она не пыталась расслышать звуки, глухо доносившиеся из соседней комнаты. Не старалась уловить, не слышно ли чего-нибудь за стеной, в селе. Сдвинув брови, она напряженно прислушивалась к чему-то внутри себя. Вот уже неделя — нет, больше, десять дней. И все еще ничего. И упорно, мучительно думала все одну и ту же неотвязную думу: да или нет? Да или нет? Сильно стучала кровь в висках. Сердце билось. Ей казалось, что она слышит шум крови в жилах. Кровь течет, бежит по жилам, переливается по всем путям в ее теле, маленькие молоточки стучат в запястьях рук. Как, наконец, узнать, как убедиться?

Она еще раз пересчитала дни, может быть, она все же ошиблась? Но нет, опять и опять выходили те же десять дней. И ведь была причина, была причина... Десять дней. Но мысль не задерживалась на них, неслась дальше, отсчитывала день за днем, до самого того дня, который переломил ее жизнь на двое. Малаша почувствовала физическую боль, нестерпимую муку, вцепившись мыслями в этот день. Она стиснула кулаки, так что ногти впились в ладонь, подобрала ноги, вся сжалась в комоч. Невыносимое страдание пронизывало ее всю до мозга костей. Ей казалось, что она не выдержит, закричит диким, звериным голосом. Как раз так ей и хотелось кричать, пронзительно выть во все горло, рвать волосы на голове, захлебываться криком, чтобы утопить в этом крике все: и тот день, и эти десять дней, прошедших в непрестанном пересчитывании, в новой и новой проверке счета, который снова и снова выходил все тот же...

Тело извивалось от муки. Ей казалось, что она не выдержит, вот сейчас умрет. Но смерть не приходила, не так-то легко было умереть, чужно было сидеть в темноте, слушать человеческие дыхания и поминуть, без единой минуты перебышки помнить, что она, Малаша, проклятая, прокаженная, что она навеки-веков отделена от людей, от села, от всего, что было до сих пор жизнью. И почему? Почему это так? Почему из всего села именно она?

Перед ее глазами была не тьма, а те три лица — отвратительные, склонившиеся к ней морды. Они отпечатались раз навсегда в ее памяти, как на фотографической пластинке,

вечно стояли перед глазами, ничто не могло вычеркнуть их из памяти, ничто не могло заслонить их. Три лица — небритая рыжая щетина, зубы, выпирающие, как звериные клыки из-под растрескавшихся губ, дикие глаза.

В той же комнате, несколько месяцев тому назад, она была с Иваном. Та же комната и та же кровать. Но теперь по комнате летал пух из разорванной подушки, на полу была рассыпана солома, упал с окна горшок с китайской розой, и черепки его трещали под сапогами немцев. Она не хотела, не могла об этом думать. И все же думалось, упорно, назойливо, без минуты передышки. Трое. И опять лица, рыжая щетина небритых подбородков, хохот, окрики и железные клещи омерзительных рук на ее теле, на вывернутых руках, раздраемых ногах. Потом стук захлопнувшейся за ними двери и седой клуб ворвавшегося пара. А дальше — дальше только одна ужасающая, нестерпимая мука. И эти, еще более нестерпимые, последние десять дней, когда с утра до вечера и все бессонные ночи напролет она прислушивалась к собственному телу и считала, считала до сумасшествия, и с каждым днем прибавлялся еще день, и вот их было уже десять.

Да, люди в селе гибли, пропала. Висел в петле Левонюк. Олена, беременная Олепа, мучилась в немецких руках в сарае. Но никто, никто, кроме нее, не послал в себе немецкое семя. Никто из них, гибнущих, истязуемых, не послал врага в собственном теле.

В другом углу по-детски тихо всхлипывала Ольга Паланчук. Глухая внезапная злоба, безотчетная ненависть вдруг охватили Малашию. Чего она, дура, плачет? Какие у нее причины плакать? Ее-то ведь немцы не изнасиловали, она не пережила самого страшного, что можно пережить. Чего она боится? Что их убьют, повесят, расстреляют? Малаша не верила, что это может случиться. Это было бы слишком хорошо, слишком счастливо — поглотить от руки врага. Нет, она в это не верила. Поддержат под арестом, может быть, выдумают еще что-нибудь страшное, гораздо ужаснее, чем смерть, но смерти не будет, никогда ничего хорошего не приходит из немецких рук, не может из немецких рук прийти счастье. А смерть — это было бы счастье. И она снова считала дни — один, два, три. Доходила до десяти и корчилась, извивалась от муки. Вот сейчас сердце разорвется, не выдержит — этого невозможно выдержать ни минуты. Но сердце не разрывалось, и попрежнему стучали молоточки в висках, и, напряженно глядя в темноту, Малаша думала, что вот она и будет считать, считать дни, день за днем, пока не досчитается до конца, не дойдет до срока,

который должен паступить, и она, Малаша, жена красноармейца, родит немецкого ублюдка.

Она все слушала, слушала. Кровь стучала молоточками в висках, в запястьях. Она положила руку на живот. Кровь стучала маленьким молоточком и там. Ее охватило непреодолимое отвращение к собственному телу. Это уже не ее тело, это гнездо фрица, которого еще нет и который уже есть, который еще не существует и все-таки существует. Если она ест, это не она ест, это жрет фриц; жрет, чтобы расти, чтобы развиваться, чтобы заклеймить позором ее несчастье. Если она спит, то сон подкрепляет не ее, нет, это отдыхает фриц. Она не могла думать о нем: ребенок. Ребенок — это ребенок Олены, крики к которой время от времени слышны были даже здесь, в наглухо запертом помещении из толстых бревен. Ребенок — это тот певедомый мальчик, которого застрелили ночью, это трое детей Чечорихи и дети Малюков, и все дети, которые рождались и росли в селе и которым теперь приход немцев, рано или поздно, грозит неизбежной смертью. Это были дети. Матери рожали детей, светловолосых и темноволосых, светлоглазых и темноглазых, плачущих, смеющихся, заливающихся в своих колыбелях птичьим щебетом. Матери зачиняли детей, носили их, рожали, кормили. Но то, что она носит и будет носить, то, что она родит, — это не ребенок. Волчий щенок, фриц. И этого уже никогда не изменишь, — с ужасом подумала она. Если он умрет, — а она ведь задумит его собственными руками, — это все равно не поможет. Все равно на веки вечные останется память о том, что она носила фрица, собственной кровью кормила фрица. С ненавистью и презрением будут смотреть на ее вздувшийся живот, на ее тяжелую походку беременной. Все будут уступать ей дорогу — не для того, чтобы ей удобнее было пройти, а из глубокого презрения, из боязни, как бы не притронуться к ней, немецкой подстилке, посящей в животе фрица.

Ведь все, все знали. Все жалели ее, проклинали немцев, говорили о дне, когда за все будет отомщено. Но Малаша знала, что это не так. Что можно за все отомстить — и за Пашука, и за Леополюка, и за Олену, и за сожженные хаты и умерших детей, но за нее никто и никогда не отомстит. Этого уже не поправишь. Она же видит, хоть никто этого и не говорит ей, что женщины не смотрят ей в глаза, люди обходят ее, как зачумленную. Между ней и селом непроходимой стеной стал день, когда те трое ворвались в хату, изнасиловали ее и даже не захотели застрелить, как обычно делали. Она осталась в живых, чтобы жить страшной жизнью. И, словно

всего этого еще мало, мало того, что над ней надругались, превратили в грязную тряпку, теперь еще приходится считать дни, и всякий раз выходит именно так. Она хваталась за обманчивые обрывки надежды, за проблески безумных мыслей о том, что она ошиблась, что все это не так, что это бывает и ничего не значит, что еще день, два, и окажется, что все в порядке. Но все это было напрасно, потому что в глубине души она твердо знала, что это так, что этого ничто не изменит, что она беременна.

Ей вспомнилось одно лето, солнечное, цветущее, ароматное. Ночи, серебряные от росы, высокая, трава, сенокосы над рекой, ночлеги в шалашах, среди запаха сена, сверканья звезд, короткие шальные ночи. От тех поцелуев не родился ребенок. Сладкие, радостные ночи, шопот из губ в губы, вкус поцелуев, трепет счастливого сердца — все прошло без следа, будто ничего и не было. А ведь их было много, этих ночей, весь сенокос. И она отдавалась тому человеку с бурной, шальной любовью, хотя потом ничего из этого не вышло и они разошлись без обиды и гнева.

А теперь было только одно мгновение, одни страшные полчаса, и вот эти полчаса должны дать плод, стать в ее жизни гниющей раной, из которой вечно будет сочиться смердящий гной.

И потом, когда она вышла замуж за Ивана, — правда, это было короткое замужество, но все-таки были ведь счастливые ночи, и звезды смотрели сквозь щели сарая, и июньская ночь пахла теплым летом. Все это было же, было, прежде чем он ушел в армию, — и тоже — ничего.

Она ходила по селу, стройная, с маленькой девичьей грудью, с тонкой талией, и парубки заглядывались на нее, весело заговаривали, забывая, что она уже замужем и ни на кого своего Ивана не променяет. Им хотелось увидеть ее сверкающие зубы, услышать веселый смех, перехватить веселую искорку в черных глазах.

А вот теперь достаточно было этого давящего, как кошмар, получаса, чтобы все сразу переменялось. Пока еще никто не знает, пока еще ничего не заметно. Но пройдут дни, и ее несчастье предстанет перед глазами всех, словно того было мало, словно мало, что на ней выжжена печать несмываемого позора. Нет, надо еще носить в себе фрица, в муках рожать фрица. Кто ей поможет, кто захочет быть подле нее в ее тяжкий час? Кто из женщины согласится опоганить свои руки прикосновением к волчьему отродью, к ребенку рыжего убийцы. А Ольга плачет от страха смерти. Нет, Малаша была уверена, что смерть



не придет. Она не знала, что их спасет, не думала: это было невозможно — что кто-нибудь явится, выдаст мертвого мальчика и тех, кто его выкрал из немецких рук. И, конечно, никто не отдаст немцам хлеб. Она не знала, как это выйдет, почему это выйдет, но была совершенно уверена, что не умрет, что ее не убьют. Но если не убьют ее, то ведь, значит, и те останутся в живых.

Чечориха сначала молча гладила руку Ольги. Но плач не прекращался, и она потеряла терпение.

— Чего ты реवेशь? Что будет, то будет. Стыдно плакать.

— Я же не хочу плакать, оно само как-то плачется, — всхлинула Ольга беспомощным детским голосом, который прозвучал в ушах Чечорихи, как голос ее младшей сестры, Нины. Она смягчилась.

— Ну, тише, тише... Ничего ведь еще неизвестно...

Малаша в своем углу горько улыбнулась во тьму. Известно, отлично известно. Нет никакой надежды на смерть.

— У меня там трое остались, что там теперь с ними... А я не плачу, — сказала Чечориха. Ее вдруг охватила неодолимая тоска по детям. Хоть бы на минуту увидеть! Что-то они делают, что с ними? Взяла их Малючиха к себе или нет? А может, остались они в избе и боятся, боятся надвигающейся ночи, боятся шагов на улице, боятся так, как стали бояться всего с первого дня, когда пришли немцы и вышвырнули их из дому.

— Вон! — орал высокий фельдфебель и ударил ее прикладом, когда она начала было собирать кой-какие тряпки, чтобы дети не замерзли. — Вон! — повторил он, и дети, как опшаренные, выскочили из дому, Соня в одной рубашонке, на мороз, на снег.

Потом немцам хата не понравилась, они перебрались в другую, можно было вернуться, снова жить дома. Надо было только вычистить сени. Немцам, видно, не хотелось выходить на мороз, и они гадили в сених, у самого порога. Им не мешало, что по всему этому приходится ходить в комнату, что в хате будет вонь. Она с омерзением собирала немецкое дерьмо и подозрительно обыскивала хату, не нагадили ли они и там. Тогда она думала, что они делали это назло, покидая непоправившийся дом. Но потом, когда они побывали в селе, оказалось, что они всюду так делают, что им попросту все равно.

Каково-то детям будет у Малючихи? Только бы Оська не дрался с Сашей, он и моложе и слабей, а такой задира, что вечно с ним беда. Домой, бывало, придет избитый, весь в синяках, вечно лезет в драку с теми, кто посылней. С Соней легче, девочка разумна

не по возрасту. По эти двое, Оська и Пина... И как еще Малючиха справится со всей этой мелюзгой, ведь у нее своих двое! Как их всех прокормит в эти страшные дни?

Евдоким вздыхал под стенкой:

— Ишь, как Грохач-то спит...

Мерное похрапывание громко раздавалось в темноте.

— А вам, дедушка, не хочется спать? — спросила Чечориха, пытаясь отогнать от себя мысль о трех светлых головках.

— Какой уж мой сон... Мне уж давным-давно спать не хочется... Так, часа два-три посплю, а больше не спится. День-то длинный...

— Давно мы здесь? — спросила вдруг Ольга.

— Как знать. Время тянется, когда вот так сидишь... А видно, уж вечер; в той комнате лампа горит — значит, вечер...

— Еще только вечер, — разочарованно вздохнула Ольга, — а мне сдается, уж пивесть как долго...

— Какое там долго... А ты, девушка, возьми себя в руки, кто знает, сколько нам тут придется сидеть...

— Молода. Молодые всегда торопятся, — вздохнул Евдоким.

Чечориха в темноте обернулась к нему. Глаза уже освоились с мраком, и узкая щель в дверях пропускала немножко света. Белая голова старика неясно выделялась на фоне стены.

— Куда спешить-то? Нам уж теперь спешить некуда, дедушка... Сколько здесь просидим, то и паше, а дальше уж ихнее...

— А если наши придут? — робко вмешалась Ольга. Ведь не может быть, думалось ей, чтобы уж совсем не было выхода, чтобы двери темного чулана могли открыться только в смерть.

— Да ведь немцы дали сроку только три дня.

— А в эти три дня?

— В такую-то вьюгу?.. Трудно. Как тут идти, как тащить пулеметы, пушки? Ведь собственного посо не видно в метели, в любом овражке, в любом домочке может снегом занести...

Чечориха говорила спокойно, но вдруг поняла, что не верит собственным словам. Снег снегом, а все же они ждут каждый день, ждут упорно, с непоколебимой верой. Ведь вот еще сегодня утром могла же она думать, что они придут, что, может, они уже около Лещан, может, уже спускаются в овраг или собираются на тропинке в гору — почему же им теперь не притти? Вьюга была и вчера, и позавчера — что им вьюга! Им укажут и

тропинки и проходы, своя ведь, родная земля. Они знакомы и с вихрем, и со снегом, им не впервые...

Да, Ольга права. Они могли притти. Могли притти как раз в один из этих трех дней, что остались до смерти. Вдруг затрепещат двери, загремят выстрелы, и все они выйдут из темного чулана на белый свет, увидят своих родных бойцов, а потом скорей домой, скорей к Малиюкам за детьми...

Может, они уже идут? Под покровом темноты, прикрытием ночи, за завесой вьюги, которая заглушает все звуки, они теперь тихо крадутся к селу и вдруг ударят, как гром, сокрушат, разобьют, раздавят, как клопа, немецкую банду, что присосалась к селу и пьет из него кровь.

— А может, и придут, — сказала она вслух, — может, и дождемся.

— Думаете, придут? — спросила Ольга.

— А может, и так, — пробормотал Евдоким. — Ох, пора уж, пора бы!

— Нас найдут, все ведь знают, куда нас заперли, — лихорадочно зашептала Ольга. В этот момент ей показалось, что самое важное, чтоб их нашли, чтобы тотчас же открыли дверь, чтобы не сидеть здесь ни одной минуты, когда немцы уже побегут в метель и снег под ударами красноармейских штыков.

— Об этом не беспокойся, пусть бы только пришли, — успокаивала ее Чечориха. — Ты так говоришь, будто они уже возле села.

— А может, и вправду?

— Может, и вправду, — повторила та и стиснула пальцы так, что они хрустнули.

Малаша продолжала упорно смотреть в одну точку во тьме. Да, им-то хорошо ждать, они могут надеяться, для них это было бы спасением. Но ей никто не может помочь, ее никто не может спасти. Придут свои — и что с того? Ни выйти им навстречу, ни поздороваться, ни порадоваться на них. Кружку воды им не подать, в хату не позовешь. Кто она? Немецкая подстилка. Она посит в животе фрица, она проклята навеки. Придут свои, оживет село, запоют на улицах девчата, будут зубоскалить с красноармейцами. Будут любиться по хатам, и никому и в голову не придет осудить — свои ведь. Неужели же девчатам жалеть для них поцелуи, когда неизвестно, останется ли в живых тот или другой еще месяц, неделю, день? Только на нее одну никто и не взглянет, от нее всякий отшатнется. И если даже война кончится, если даже Иван вернется — к ней он уже не зайдет. Ему расскажут, и он обойдет стороной хату, а если встретится на улице, пройдет мимо, как незнакомый, а может, еще и сплюнет.

Там, в другом углу, слышится шопот Ольги. «Небось, подальше сели, подальше», — подумала она ядовито, забывая, что сама подождала, когда они разместятся, и ушла от них в самый дальний угол. Да, Ольга может ждать, Ольга может бояться смерти, Ольга есть зачем жить. Вернется из армии Остап, они поженятся, будет она жить, как все живут, будет работать, как все работали до войны, будет рожать Остапу детей. Только одна она, Малаша, самая видная девушка и самая лучшая работница во всем селе, никогда уже не будет такой, как до войны.

Федосья оплачет Васю, пройдут дни, месяцы, и она будет спокойно вспоминать о сыне. Это простое дело, и не он первый, не он последний погиб за родину. Забудут и родители Левонюка — у них ведь еще два сына и две дочери. Когда ребята вернутся с войны, дом будет полон. Отстроятся разрушенные немцами хаты, в садах вырастут новые деревья на месте тех, которые фрицы беспощадно вырубали на топливо. Заживут рапы, и все снова будет, как бывало. Только для нее одной ничто не вернется и ничто не забудется. Перед всеми какой-то путь — перед одними труднее, перед другими легче; только перед ней нет уже никакого пути.

Как она когда-то радовалась, что она красивей всех в селе, что она работает лучше всех в колхозе, что хоть десяток девчат кругом, а все глаза обращаются на нее. Что в песне ее голос звучит чище и звонче всех голосов, что ни у кого нет таких глаз, таких кос, таких смуглых и румяных щек, таких крутых и тонких бровей. И она высоко носила голову, счастливая своей красотой.

Но и это обернулось горем и злосчастьем. Лучше бы ей быть морщинистой и увядшей, как бабка Марфа. Лучше бы ей быть кривой и горбатой, как хромая Устя, безобразной, как рыжая, веснучатая Клава. Нет, она не такая, и этого было достаточно, чтоб ее заметили те трое и обрекли на гибель.

Из-за дверей время от времени доносились голоса и шаги. Там были они, немцы, и распорядились в доме сельсовета, словно у себя дома. Чувствовали себя хозяевами. Малаша сжала кулаки. Они ведь не только здесь. Они и в Киеве, там, куда она раз ездила на выставку. Они ходят по широким киевским улицам, ходят мимо золотых киевских башен, топчут сапогами киевскую мостовую. Они в Харькове, и топчут сапогами харьковскую мостовую. Они ходят по украинской земле и топчут ее солдатыми сапогами. Не только она, Малаша, нет — вся украинская земля изнасилована, опозорена, оплевана, растоптана ногами. Города обращены в развалины, и

ветер разносит пепел села, валяются непогребенные труны, качаются на виселицах мертвые тела. Земля насквозь пропитана кровью, залита слезами.

Но наступит день, и освобожденная земля снова раскинется под золотым солнцем. Покатит свободный Днепр, зашумят Ворскла, Лопань и Псел. Буйные воды омоют землю, смоят с нее мерзость и грязь. Пропитанная кровью пашня даст стократный урожай. Необъятным морем заколосятся пшеничные просторы, чистым золотом загорятся поля подсолнухов, зацветет мальва в садах, и гряды покроются огненными шариками помидор. Земля снова зацветет, снова чистая, великодушная, до краев налитая богатством.

А она, Малаша, уже навсегда останется тем, чем стала, жалким отрешком, перед псою закрыты все пути. Невольный стон вырвался из ее груди.

— Не спишь, Малаша? — спросила Чечориха.

Малаша вздрогнула. В голосе жепщины ей послышалась принужденность, и ее охватил гнев. Не хочешь, не разговаривай — зачем притворяться?

— Не сплю. А вам что до этого? — спросила она резко.

— Так спрашиваю.

— А спрашивать нечего. Уж вы только обо мне не любопытствуйте.

— Почему же так? У всех ведь у нас одна судьба.

Малаша засмеялась резким неприятным смехом.

— Как же, у всех одна! А у меня вот другая.

— Ну, что же, несчастье...

— Да, вы вот как раз знаете, что такое несчастье! — В пей поднималась глухая злоба, которую не на ком было сорвать. — Сидели бы да молчали, когда вам хорошо. Вон слышите, как Грохач спит?

— Не разговаривайте с ней... Злая она, — тихо шепнула Ольга, тронув за рукав Чечориху.

Малаша услышала.

— И правильно, что со мной разговаривать? Я злая, известно, злая. Ты вот добрая, как же!

Женщины умолкли. Малаша тяжело дышала, глядя в темноту.

Ей вспомнилось, как о пей написали в газете, во время уборки хлеба. Ах, тогда она не была злая. Девчата и бабы обнимали ее. Фотография была в газете. Малаша вышла на пей не совсем хорошо, лучше всего видны были сверкающие в улыбке зубы, липо телялось в тени. Но все-таки была фотография

в газете, и о пей, Малаше, было напечатано как о передовой колхознице. Что ж, и было ведь о ком писать... А теперь она, Малаша Вышнева, передовая колхозница, носит в животе отродье вшивого фрица.

За стенами выл ветер. Он слышен был сквозь толстые стены, сквозь могучие бревна, из которых был сложен дом. Грохач вдруг проснулся и оглушительно зевнул.

— Ну и сон у тебя, — с завистью сказал Евдоким.

— А что ж, выспаться не мешает, как знать, что дальше будет.

— Чему ж быть? Известно, что будет.

— Могут наши притти, — торопливо сказала Ольга. Ей хотелось, чтобы и Грохач подтвердил, что они придут, что они могут притти.

— Оно, конечно, могут... Ну, что бы как раз в эти три дня...

— Или наши партизаны придут...

— Ну, уж это нет, — возразил крестьянин. — Как можно им сюда лезть? Они далеко в леса ушли, в лесах сидят. По такому снегу им нечего и думать сюда пробираться. Выследят, перебьют. Летом — другое дело, летом пройдешь, где хочешь, каждый кустик укроет, приютит. А теперь пусть уж лучше дождаются весны, из лесу пусть их кусают. В такое время нечего выходить в открытое поле.

— А армия?

— Армия другое дело. Армия может напролом итти.

Ольга вздохнула.

— Ветер как воет...

— Говорят, что в такое время смерть ходит по свету, — сказал Евдоким.

Ольга почувствовала, что по ее спине пробежала неприятная дрожь. В чулане было темно, страшно, охота же старику говорить о таких вещах.

— А что ж, и правду говорят, — глухо подтвердила Чечориха. — Ходит она по нашей земле, ох, ходит...

Они умолкли, словно прислушиваясь к шагам за толстой стеной, словно могли увидеть ее, эту идущую по дороге смерть.

— Теперь две смерти, — заметил старик.

— Как две смерти?

— Известно, две... Одна немецкая, что наших берет. А другая та, что немцев сторожит.

Ольга теснее прижалась к Чечорихе.

— А вы бы, дедушка, не рассказывали... Страшно.

— Ты страшного не бойся, — сурово сказал Грохач. — Теперь и свет страшный и люди страшные... А надо свое знать, и бояться

печего. А только испугайся один раз, с тобой и сделают все, что захотят.

— Кто?

— Как кто? Немцы... Им это самое главное — страх на людей пагнать. Раз уж ты боишься, значит, пропал. А когда ты страха до себя не допустишь, так и немец тебе ничего не сделает.

— Васька их не боялся, а все равно его застрелили. И Пашук...

— А я разве говорю, что не застрелят? На то у него и винтовка в руках, чтобы стрелять, на то он и немец, чтобы убивать. Я не о том, не в том сила...

— А в чем сила?

— Да ты сама-то не знаешь, в чем?

Она молчала, не зная, что сказать.

— Сила в том, чтобы держаться за свое и не уступать. Сила в том, чтобы молчать, когда надо молчать. Чтобы словечка из тебя выжать не могли. Самое главное — знать, что это кончится и ни один из них отсюда живым не выйдет. А что застрелят... Эх, молода ты еще... Сколько в ту войну, да в гражданскую войну народу погибло... А в восемнадцатом году мало у нас немцы разделявали? И что же? Ни следа, ни знака от них не осталось. А мы остались. Земля осталась, и народ на этой земле — значит, все осталось.

— Ох, губят они сейчас народ, хуже чем в восемнадцатом губят.

— А конечно, хуже. Ну, только всех не погубят. Будет кому и обсеяться и отстроиться заново. Подожди, доживем — увидим, а не доживем, другие увидят, как все будет. Еще лучше, богаче, умнее, чем было до войны...

Ольга вздохнула:

— Все-таки хочется самой увидеть...

— Ну еще бы! Тебе сколько лет-то?

— Девятнадцать.

— Девятнадцать... Дедушка Евдоким, когда это нам с вами было девятнадцать?

— Что ты, что ты, — рассердился Евдоким, — у меня уж борода поседела, когда ты еще пешком под стол ходил...

— Оно так. Ну, а перед ней-то и я уж старик. Попятое дело, девка, что самой увидеть хочется... В девятнадцать-то лет, хо-хо! Мы с дедушкой постарше тебя, и то нам хочется самим увидеть...

— Посмотреть, как будет после войны... — грустно вздохнула Ольга.

Грохач вдруг вскочил.

— Нет, я бы не только это хотел посмотреть! Я бы вот посмотрел, как последний немец подохнет тут, в нашем селе! Посмотрел бы на последнего немца на виселице в Клеве! Поставить виселицу на горке у Днепра, и чтобы на ней висел последний немец. И еще

посмотреть бы, как сюда привезут тех, что в войну там у себя сидели, плели веревку на наши шеи, как они будут работать, сожженные села отстраивать, разрушенные города заново ставить, по кирпичику собирать. Помните, как было в газете написано? По кирпичику!

— Уж лучше бы самим все сделать, только бы их тут больше не видеть, — заметила Чечориха.

Евдоким вздохнул:

— Народ у нас больно мягкий, ох, мягок народ... Сегодня озлится, а завтра обо всем забудет... Не умеем наш народ злобу в сердце посить...

— Не бойтесь, дедушка, добрый-то добрый, а как проберет его до самой печенки, так уж держись! А ведь пробрало... Как тут забыть? Этого даже в смертный час не забудешь! Не-ет!

Малаша прислушивалась, сидя в своем углу. Иные слова Грохача казались эхом ее собственных мыслей. Да, да, увидеть на виселице последнего немца, увидеть, как они будут работать до седьмого пота... Но ей-то это облегчения не принесет. Всякий может расквитаться и успокоить сердце, но ее сердце никогда не успокоится. Вечно будет смердящим гноем сочиться из него воспоминание, которого не смоет никакая кровь, никакая месть, никакое время.

Последние слова Грохача словно повисли во мраке, словно загорелись огненными буквами на темных балках потолка:

— Разве это хоть в смертный час забудешь?

И Малаша ответила: «Нет!»

— Пить хочется, — шепнула Ольга.

— А ты не думай об этом, — сурово ответил Грохач. — Воды они не дадут. Три дня выдержишь и без воды! Тут не жарко, сидишь, ничего не делаешь, выдержишь! Только думать не надо, а то пить захочется.

— Ох...

— Постыдилась бы ты, девка, — вмешалась Чечориха. — Стопешь и стопешь... Одной тебе, что ли, плохо? Кому сейчас в селе лучше?

— Мы вель заложники...

— Ну и что из этого? Обещали через три дня расстрелять? Ну, что ж? Ты, что, не слышала? Воп они хлеб велели сдавать. Расстрелом грозятся. А разве кто сдает? Пад всеми пынче смерть висит...

Наступило молчание. Ольга слушала, словно пытаюсь услышать шаги расхаживающей по селу смерти.

А село, казалось, тихо спало под вой метели, в клубах мечущегося вверх и вниз сне-

га. хатты притаились, будто прилегли к земле. Со свистом ветра смешивался крик рожавшей в сарае Олены — видно, все еще никак не могла разродиться. Но кроме этих, воплей не слышно было ни одного звука, словно все спало глубоким сном.

Но люди по хатам не спали. Все слышали то, о чем говорил Евдоким, — по селу ходила смерть. Она вилась белыми клубами по дороге, пролетала в вихре над крышами хат, белым призраком врывается в щели степ, взлохмачивала соломенные крыши, безжалостно трепала последние лица у дороги, еще уцелевшие от немецких топоров. Она припадала ледян й грудью к земле, могучими крыльями охватывая землю.

Там внизу, в овраге, лежали убитые люди. Смерть перекаtywала снег, прикрывала остатки тел и одежды. Она со свистом засыпала черное лицо Васи Кравчука, каждый день старательно очищаемое матерью. Пасынала белые курганы на тела красноармейцев, павших месяц назад под селом. Здесь, в овраге, было ее царство, здесь, в овраге, вповалку лежали под снегом убитые, обращенные морозом в камень и дерево.

Смерть колебала, раскачивала на виселице тело Левонюка, что пытался пробраться к партизанам. И это тело было черное и окаменевшее. Скрипела веревка. Когда ветер сильнее раскачивал останки, ноги повешенного ударялись о столбы с глухим, твердым стуком.

Смерть воющим вихрем билась у ворот сарая, где на соломе рожала Олена.

Смерть ждала своего часа, хохотала, закатывалась хриплым смехом, посяя пад селом. Люди слышали ее. Люди не спали по хатам. Они неподвижно лежали в постелях, с глазами, устремленными в потолок. Они слышали ее во мраке, воющую немецкую смерть. Она радовалась, хохотала, острила когти, немецкая смерть. Она ждала обильного урожая. Это уж был не только застреленный в овраге Пащук, не только Левонюк, повисший в немецкой петле. Это над всеми, над всеми нависла немецкая петля, во все сердца нацелилось черное дуло винтовки.

\* \* \*

В чулане говорили лишь о том, о чем думали все, что гнало сон от всех глаз в эту воющую вихрем и смертью почь. Старый Евдоким первый прервал воцарившееся молчание.

— Этого и быть не может, чтобы всех расстреляли... Как это так? Все село? Хлеба ведь никто не даст...

— А им что? — грубо рассмеялся Грохач. — Впервой, что ли? А что они сделали в Леваневке? Что они сделали в Садах? В Костипке?

Перед ними вставали призраки уже не существующих сел. Сожженной дотла Леваневки, где за один выстрел из-за угла в немецкого солдата немцы подождли с четырех концов поселок, стреляли в выскакивавших из огня крестьян, на глазах матерей кидали в пламя детшек. Призрак Садов, где все население, сто пятьдесят человек, было загнано в яму, откуда когда-то брали глину для кирпичного завода, и взорвало гранатами. Костипка, в которой казнили всех мужчин, а женщин с детьми выгнали в одних рубашках на сорокаградусный мороз, и они погибли на дороге в далеко расположенные соседние села, где они искали спасенья.

— Сады, Леваневка, Костипка... Это в нашем районе, а в других? Что они делали в Киеве, в Одессе, в других городах? Что осталось от местечек и сел? А в восемнадцатом году? Эх, дедушка, будто в первый раз это видите и слышите...

Ольга закрыла лицо руками и сидела молча. Только что ей казалось, что все будет хорошо, что вот-вот раздадутся выстрелы, раздается знакомое родное «ура» и дверь с шумом распахнется... Свобода, жизнь! А они говорят все о смерти да о смерти, и словно она должна прийти и неизбежно придет, и сердце Ольги наполнялось ужасом от того, что они говорят так спокойно, словно это мелочь какая. «Им хорошо, — с горечью думала она, — Евдоким отжил свое, сколько ему лет-то? Восемьдесят, говорят, песок сыплется, в такие годы легко умирать... Грохач... Грохач еще в восемнадцатом году воевал, у него взрослые дочери и баба, злая, как собака, что ему? Чечориха... — Ольга заколебалась. — Ну да, у Чечорихи трое маленьких детей, муж в армии. Ну да, но у нее все-таки есть уже муж, все-таки дети, а я что в жизни видела? Им хорошо говорить...»

— А хлеба все равно никто не даст, — сказал Евдоким.

— Конечно, не даст, — подтвердила Чечориха.

И так думали все, по всему селу, до последней хатты над оврагом. Хлеб был старательно, заботливо спрятан, закопан, зарыт. Хлеб лежал в вырытых далеко в поле ямах, в замерзшей, жесткой, как камень, земле. В земле лежали золотая пшеница, и рожь, и ячмень, и все, что не успели сдать Красной армии, что осталось у них от нестойкого, золотого, щедрого, невиданного осеннего урожая. Тщательно укрытое лежало в земле зотское зерно. Лежало под толстым слоем земли,

лежало под снежными сугробами, панесенными вьюгой. Никому не найти, никому не догадаться, где находятся тайники. Разве только немцы решились бы перекопать сотни гектаров, рыть на два-три метра вглубь. Ведь лежащее в земле золотое зерно — это не просто зерно, дающее селу хлеб. От хлеба можно было отказаться ради жизни.

Но в земле лежало утешное, скрытое, недоступное пенасытному немецкому глазу золотое сердце родины. Лежал урожай, который земля доверяла крестьянским рукам, цвет этой земли, ее тяжкий золотой плод. Дать зерно — значило дать хлеб немецкой армии. Дать зерно — значило накормить вшивых фрицев, насытить их голодные желудки, согреть их гноящиеся, обмороженные тела. Дать хлеб — значило нанести удар в сердце тех, кто в морозы, вьюги и метели героически, самоотверженно, самозабвенно дрались с врагом. Дать хлеб — значило предать землю врагу, изменить своим, признать перед всем миром, что немец — господин золотопосной украинской земли, что он — хозяин в украинских деревнях. Дать хлеб — значило предать самого себя и своих, не выполнить приказа, который облетел все села, дошел до всех ушей, запад в каждое сердце: ни куска хлеба врагу! Дать хлеб — значило отречься от родины, продаться врагу, изменить тем, кто погибал и в эту войну, и в гражданскую, и в восемнадцатом году, и еще раньше, — изменить всем, кто боролся за свободу человека, кто завоевал ее кровью своего сердца.

И в селе, где на своей земле, в своем богатом колхозе жили бывшие батраки, не колебалось ни одно сердце. Женщины рассчитывали, обдумывали, как будет, когда их не станет. Пожилая Ковальчук слушала в темноте дыхание своих восьмерых детей, спавших на кровати и на печке. Спокойно, хозяйски рассчитывала, что Лена, уже большая девочка, может заняться младшими. Обстирать, обшить. Придут свои — в земле довольно запасов, чтобы всех прокормить. А пока что будут перебиваться, как и другие. Вишенкова склонялась в темноте над колыбелью своего младшенького и перебирала в уме, кто сможет кормить малютку, у кого есть грудной ребенок. Она знала, что ему не дадут умереть, что найдется мать, которая накормит его собственной грудью.

Грохачиха смотрела в темноту и спокойно раздумывала, как же получается: Грохач сидит заложником, кто же будет отвечать за несдачу хлеба, он или она? Решила, что все-таки она. Но это ее не беспокоило. Маленьких детей нет, девушки взрослые, управятся.

Со сжимающимся от горя сердцем думала молодая Вчюк, что вот теперь не дожидется

мужа. Месяц тому назад он прислал письмо, что лежит раненый в госпитале, а когда выйдет, может, получит на несколько дней отпуск домой. Месяц прошел — в деревню пришли немцы, а когда придут свои, ее не будет. Ей стало жаль — не себя, а мужа. Мягкий, беспомощный, тяжело ему одному будет.

Люди лежали в темпоте, думали. Каждый по-своему, каждый о своем. Думали о хлебе. Он сыпался золотистой струей, катился живым потоком, — золотая кровь земли, ждал в земле лучших дней, когда придут свои. Люди лежали по хатам, такие разные, непохожие друг на друга. Но в эту ночь все знали и думали одно; и без разговоров, без рассуждений, каждый за себя, твердо и бесповоротно решили, что хлеб останется в земле, что не вырыть его немецким лапам из тайников и что это важнее жизни.

Над селом с хохотом, стопами, визгом, в шуме вихря носилась немецкая смерть. Страшная, шумная, жестокая, хочущая на своей жертвой. По хатам все слышали ее.

Но немецкие солдаты, в эту же ночь стоявшие на постах, замерзавшие в карауле, пугливо озирались, стараясь потише ступать по снегу. Они тоже слышали смерть. Она таилась, подкрадывалась, подходила совсем близко, дышала в лицо бесшумным ледяным дыханием. Они чуяли ее, притаившуюся во рву, укывшуюся за углом хаты, без шестла взбирающуюся на соломенные крыши. Она смотрела на них тысячами ледяных глаз, сжатými губами, без слов произносила приговор. Она тихо переходила сельские плетни, останавливалась у изгородей, наклонялась над колодцами. Она была везде, они всюду чувствовали ее, немецкие солдаты. Смерть пларядом с ними по сельской улице, вместе с ними останавливалась у хат, не покидала их, когда они входили домой, затыгивала их глаза черной пеленой тяжелого сна. Они ощущали ее холодный взгляд на своем теле, их пропизывали ее невидимые глаза, замораживало дыхание ее невидимых уст. До мозга костей проникала она, молчаливая, неумолимая украинская смерть, которая считала, нересчитывала их костлявым пальцем.

## V

Ветер шумел и выл, сарай трещал, словно вот-вот сорвется с места, свалится вниз, в овраг. Балки тряслись, соломенная крыша шелестела, ветер выхватывал клочья соломы и уносил их далеко за село на равнины, на снежные поля, терявшиеся в туманах пляшущего снега.

Олена кричала. Кричала во весь голос. Ее тело рвала дикая боль. Не только родовая, —

теперь отозвались все удары прикладов, все уколы штыком, все падения на землю, когда солдаты гоняли ее ночью по дороге, отозвались холод, жажда, голод. Все это накинуплось на нее, как стадо голодных волков, кусало, рвало хищными зубами. Казалось, тело разрывается на куски, горит живым огнем, казалось, его пронизывают тысячи отравленных лезвий.

Олена кричала. Теперь можно было кричать. Она ведь рождает — и можно было сломить печать молчания, которую наложила напряженная до последнего предела воля. Она молчала с того момента, когда немцы вытащили ее из дому, и до самой той минуты, когда она поняла, что, наперекор всему и вопреки всему, она рождает. Что ни удары прикладов, ни падения на снег, ни мороз не убийли ребенка в ее лоне. Он был жив и хотел выйти на свет, рвался на свет, пробивал себе дорогу, безжалостно раздирая ее тело.

Она кричала нечеловеческим, звериным криком, и этот крик приносил ей облегчение. В нем тонула боль, исчезал холод, умолкал ветер, мрачно воющий за стенами.

Ворота сарая заскрипели. Она даже не повернула головы. Схватки были все чаще, все сильнее, и она кричала, кричала, как ей хотелось, как требовало измученное тело.

Солдат остановился в дверях и хотел прикрикнуть, но понял, что женщина рождает. Через мгновение появился другой. Они смотрели, смеялись, переговариваясь между собой. Но ей было безразлично, что вот она лежит пагая на соломе, что на нее смотрят бесстыдные глаза чужих мужчин, что они насмеются над ней. Она рожала ребенка, и это, как стеной, отгораживало ее от мира, в котором царил немцы, это заслоняло ее от бесстыдных взглядов, это, как броней, защищало ее от их глупого хохота. Она рожала дитя, и они, видимо, решили дать ей родить, они стояли в дверях и, не входя, ожидали.

Крик усиливался. Бабы в соседних хатах крестились, устремляя полные ужаса взгляды на клубы метели. Олена Костюк, одна, без помощи, рожала в холодном, пустом сарае. Они думали, что она уже умерла, погибла от мороза, что давно в ее лоне мертво дитя. А вот Олена рождает, и возле нее нет никого, кто бы подал ей воды, кто освежил бы запекшиеся губы, подложил бы подушку под голову, помог бы ей дружеской рукой. Она рожала, как никто никогда в селе не рождал, — голая, на морозе, брошенная на глиняный пол сарая. Бабы крестились, стискивали зубы, зажимали уши, но любопытство брало верх и заставляло снова прислушиваться. Кричит еще? Да, она еще кричала, кричала сильным, оглушительным криком — и отсюда

только он брался в этом измученном, избитом, истерзанном теле.

Наконец крик перешел в вой и оборвался, умолк.

— Родила, — шепнула Малючиха, хата которой была ближе всех, и опустила ее скамью.

— Родила, — повторила маленькая Зина.

В первое мгновение Олена лежала, как оглушенная. Вот он, ее ребенок. Наперекор всему и всем он все же появился на свет, дитя отца, который уже убит, дитя матери, которая по-настоящему должна бы уж десять раз кончиться. И вот — сын. Маленькое красное создание.

Она взяла его на руки. Бабки не было, некому было сделать, что полагается, и она, как собака, перегрызла пуповину, перевязала обрывком бахромы от платка, оборвавшейся еще в первый день, когда она лежала здесь, перед следствием. Она обтерла ребенка леденящими руками, мечтая о горшке воды, о нескольких каплях воды, чтобы обмыть ему хоть личико.

Он крикнул естественным голосом здорового ребенка. У Олены захватило дыхание. Это сын. Первый сын в ее жизни, первое дитя ее тела, бесплодного до сорока лет. Теперь он есть. Несмотря ни на что родился.

— Микола, сын, — захотелось ей сказать, обрадовать мужа, отплатить ему за всю его доброту. Ведь никогда, никогда за все эти годы, хотя ему так хотелось ребенка, он не оскорбил ее, не попрекнул горьким словом, не обругал. Вот взял, мол, перодиху бесплодную, с виду и сильна, и здорова, а внутри, видно, гнилая, не то, что другие женщины, что беременеют, рожают, кормят.

Она даже не сразу поверила, когда вдруг почувствовала себя беременной. Она ведь уже старая, сорок лет. И все-таки, оказалось, правда.

А потом Миколу взяли в армию. Он прощался с ней, но она знала, что больше всего ему жаль расстаться с этим еще не родившимся ребенком.

И вот Микола нет, погиб на фронте, а ребенок родился, и как раз сын. Родился в немецкой тюрьме, под бесстыжими взглядами немецких солдат, которые не умеют уважать даже ролящей матери, родился под их бесстыжий хохот.

Ребенок лежал на соломе, на мокрой холодной соломе. Она схватила его на руки, голенького, прижала к голой груди, она дышала на него, пытаясь согреть. Ее охватил неопиcуемый ужас, что вот он, несмотря ни на что, родился, а теперь застынет, как голый птенец, как слепой котенок, на холоде.



Олена старалась отогреть его собственным теплом, вдохнуть в него собственное тепло, по чувствовала, что леденеют ее руки, что всю ее охватывает пронизывающий холод, что застывает кровь в жилах. Солдаты у дверей о чем-то поговорили между собой, потом один ушел и вскоре вернулся.

— На,— сказал он небрежно.

На солону полетели рубашка, юбка, кофта. Ее собственная одежда, та, что с нее сорвали вечером, перед тем как выгнать на дорогу. Олена недоверчиво взглянула на солдата. Он глуховато улыбнулся. Дрожаями руками она схватила рубашку, завернула ребенка в полотно, старательно обмотала его. Маленькое личико, обрамленное тканью, было смешное, кукольное, с мутными голубыми глазами, похожими на глаза едва прозревших щенят. Она захлебнулась от счастья. Есть во что завернуть ребенка. В это мгновение она забыла обо всем остальном — это было самое важное. Казалось, теперь уже все будет хорошо, кошмар миновал. Дрожащими руками она надевала юбку и кофту. Это не могло согреть ее, но она все же почувствовала облегчение, покрыв голое, пострадавшее тело этими тряпками. Полушубок и платок... вот если бы полушубок и платок, что остались в комнате офицера... Но она заставила себя молчать. Хватит и того, что есть, ребенок лежал, завернутый в чистое полотно, закутанный так, что холод ему пока не угрожал. Она положила его себе на колени, закутала еще в сборки юбки. Он лежал спокойно, видимо, не чувствуя холода, — чего же еще желать? — Уже и то, что она получила, было чем-то совершенно необычным, каким-то чудесным событием, которого она не понимала. Она же ясно видела, что одежду ей бросил немец, но не могла понять этого. Юбка, кофта и рубашка как будто упали с потолка или их занес в сарай ветер со снежных полей.

Ворота со скрипом закрылись. Она прислонила голову к бревну и впала в дремоту, в лихорадочный полусон. По спине пробегал озноб, ее охватывали то жар, то холод, в полусне что-то мерещилось. По дороге шел Микола, а напротив стояла та чернявка, офицерская любовница. Микола что-то говорил, и Олену вдруг кольнула в сердце неудержимая хищная ревность. Она вздрогнула, очулась и ошеломленными глазами осмотрелась кругом. Нет, не было ни Микола, ни офицерской любовницы, был сарай, охатка соломы и сын на руках — белый сверток с красным личиком, маленьким, круглым. Она с испугом подумала, что могла во сне выпустить ребенка, и крепче прислонилась к стене. Снова ее охватила дремота.

Непрерывным потоком поплыли смешанные обрывки воспоминаний. Орет приказчик... Но как же это может быть, ведь его убили тогда, он упал мертвым от удара колом, и вдруг он стоит и орет, а мимо проходят красноармейцы, но среди них нет Микола, среди них Кудрявый. Кудрявый машет рукой, он несет большую штуку полотна. Полотно разворачивается, разворачивается в бесконечную дорогу, тянущуюся через село, и по этой узкой белой дороге семенит ножками недавно родившийся сын.

— Смотрите, он уже бегаёт,— удивилась Федосья Кравчук. Олена так удивилась, что снова очнулась от дремоты.

В горле жгло, мучительно хотелось пить. Язык одеревянял, шершавый и колющий, он лежал во рту, словно чужой. Губы потрескались, она притронулась к ним рукой, и на пальцах остался след крови. В ушах был шум, кости ломило, безграничная слабость поднималась откуда-то изнутри. Она посмотрела на ребенка, коснулась его лобика, он показался ей холодным, как лед, но она поняла, что это ее сжигает лихорадочный жар. И опять задремала. Ей снилась вода, вода, вода без конца, текла река, разливалось озеро, а у нее были дырявые ведра, и она не могла набрать воды. Она стала на колени и яснее, чем наяву, увидела прорубь. Края были зеленоватые, темная вода переливалась, двигалась, как живая, булькала, вырываясь на свободное пространство, и снова исчезала подо льдом, бежала в свой дальний путь. На льду толстым слоем лежал снег и в одном месте сыпался тонкой струйкой в воду, словно мука из отверстия жернова. Упав в воду, снег вдруг зеленел, сбивался в комок, плясал в проруби. Олена хотела поймать этот снег, поднести к пересохшим губам, но вода унесла его под лед, и он исчез.

Вдруг вокруг проруби появились длинные трещины, лед стал с треском ломаться. Олена почувствовала, что он колеблется, что под ней открывается водная пропасть. Она огнулась, не в силах поднять голову. Слышала спокойное, ровное дыхание ребенка. Да, ему-то ведь не хотелось пить. Но найдется ли в ее груди молоко, когда ему захочется. Она так давно ничего не пила, целую вечность. Нельзя же считать двух-трех горсточек снега, которые ей удалось схватить губами на глазах у немцев. Ах, как ей хотелось пить, как нечеловечески хочется пить. Болели губы, болел язык, горло, болезненная судорога сжимала гортань. Внутренности судорогались от мучительной икоты. Она задремала, и сразу же снова посыпался белый песок, белый, как летом над рекой, летучий, как пыль, сыпа-

лась белая мука из-под жернова, весь мир был в облаках летучей белой муки, печем было дышать, рот набит белой пылью, а тут надо идти по пыльной дороге, во что бы то ни стало идти, торопиться, она знала, что нельзя потерять ни одной минуты. Ноги взирут в песок, беспощадно жжет солнце, горят хаты,—оказывается, в селе пожар. Надо во что бы то ни стало вынести из пламени ребенка, между тем дует ветер, искры сыплются со всех сторон. У нее уже тлеет юбка, платок. И зачем было в такую жару надевать полшубок, платок? А теперь уже нет времени сбросить все это с себя, надо бежать, скорей бежать, пока пламя не охватило маленькую головку. Ах, да это ведь горит мост, высокое пламя поднимается вверх, с треском падают вниз балки... Видимо, она опоздала, не убегала вовремя, и вот теперь все валится на нее. В отчаянии она ищет ребенка — он выпал у нее из рук, его заваляло бревнами, охватило огнем. Из лесу было видно, как вокруг горящего моста беспомощно суетятся немцы, размахивая руками и крича что-то.

От этого крика она и проснулась. Над ней, толкая ее сапогом, стоял немец.

Она сразу пришла в себя. Немец жестами приказывал встать. С трудом преодолевая слабость, она стала на колени, с трудом приподнялась, прижимая ребенка к груди. Он толкнул ее прикладом, направляя к воротам. Белый заснеженный мир, открывшийся ее глазам, ослепил ее. Она послушно шла впереди солдата, шагая, как пьяная. Она понимала, что ее опять ведут на допрос.

Вернер с отвращением взглянул на нее. Она была страшна. Лицо, желтое пчеловеческой, отгалкивающей желтизной. Из растрескавшихся губ вытекла струйка крови и засохла на подбородке. Под глазом расплывался огромный кровоподтек, черный, красный, лиловый. Казалось, один глаз сдвинулся вверх. Растрепанные, слипшиеся пряди волос висели по обе стороны опухшего лица. Опухшие босые ноги почернели.

Вернер забарабанил пальцами по столу и кивнул солдату, чтобы подал женщине стул. Она удивилась, но села тотчас, не дожидаясь разрешения и напряженно глядя в водянистые глаза под белесыми ресницами.

— Сын или дочка? — неожиданно спросил он, кивнув на ребенка.

— Сын,—ответила она сдавленным, охрипшим голосом. Он бросил какое-то приказание, и солдат принес кружку воды. Олпе показалось, что она снова бредит. Она схватила кружку и жадно, стремительно, захлебнувшись холодной водой, шумно глотнула,

чувствуя влагу на наболевших губах, на пересохшем языке, в горящем горле.

— Довольно,—сказал Вернер. И солдат выхватил у нее кружку.

Она взглянула ей вслед дикими, полными отчаяния глазами. По воды уже не было, вода стояла на краю стола. Поверхность ее еще колебалась, она была тут же, близко, свежая, холодная вода в кружке. Губы болели еще больше. Но в горле она чувствовала освежающую влагу, от которой пить хотелось еще больше, чем раньше, если только возможно было больше хотеть пить.

— Значит, сып...—протянул капитан. И Олена напрягла все силы, чтобы слушать, понимать происходящее.

В этой комнате притаилось что-то страшное, здесь ее подстерегала какая-то опасность, в которой она не отдавала себе отчета. И эта вода, несколько глотков которой ей позволили проглотить, и этот поданный ей стул, и человеческий вопрос капитана — все это внушало ей такой страх, что она задрожала. Быстрая мелкая дрожь пронизала все тело, охватила каждую жилку, каждый мускул. Она напряженно смотрела в лицо капитана.

— Значит, сына родила...—еще раз сказал он.—Здорового, живого сына...

Она выжидала, что будет дальше.

— Ну, теперь, я думаю, ты станешь умнее. Теперь уж дело не только в тебе. Теперь ты можешь спасти или погубить сына. Так ведь? Спасти или погубить,—он сказал это протяжно, с подчеркиванием.

Она инстинктивно прижала ребенка к груди. Он пристально всматривался в нее, наблюдая каждое ее движение, каждое изменение в выражении лица.

— Вчера ночью тебе хотели передать хлеб. Кто это был? —спросил он мягко, словно не придавая своему вопросу никакого значения.

— Не знаю!

— Как же так, не знаешь?

— Не знаю,—повторила она, глядя ему прямо в глаза, и так убежденно, что он поверил. Она ведь действительно могла не знать.

— У кого из твоих соседей есть дети?

— Дети? —она даже удивилась.—У всех есть дети. Как же без детей?

Да, да. Дети были у всех, у всех, кроме нее. А теперь вот и у нее есть ребенок, сын, сыночек. Он спит себе у нее на руках, завернутый в материнскую рубашку, в немецкой комендатуре. Он и не знает, что такое немцы. Нет, он еще не знает.

— А как ты думаешь, кто мог передать хлеб? Кто мог послать мальчика, лет этак десяти-одиннадцати?

Она мысленно перебрала всех соседей. Конечно, не затем, чтобы ответить. Нет, ей хотелось самой для себя знать, кто хотел ей помочь в ее самый тяжелый час, кто кинулся под немецкие пули, чтобы паковать ее. Но у всех были дети, и у скольких были мальчики десяти-одиннадцати лет! Нет, ей и для самой себя не угадать.

— Не знаю. В деревне мальчиков много. В каждой хате дети...

Вернер нахмурился, поняв, что она действительно не знает.

— Ну, ладно... А скажи-ка, где сейчас может быть Кудрявый?

Олена похолодела. Опять начинается то же самое. По она чувствовала под руками теплое тельце сына, и от этого маленького тельца в ее сердце вливались сила и бодрость. Теперь она уже не одна под перекрестным огнем немецких вопросов. Теперь с ней сынок, рожденный в муках на голом глиняном полу сарая, ее дитя, которого она ждала двадцать лет и, наконец, дождалась.

Он был с ней и тихонько спал, под ее руками мелко и часто билось маленькое сердце, словно сердце птицы. Круглое красное личико, едва заметные бровки, носик пуговкой, самый красивый, самый чудесный из всех, какие ей приходилось видеть. Она почувствовала безграничное спокойствие, полную уверенность, что теперь-то никто ничего сделать ей не может — сынок с нею.

— Где он теперь может быть? — повторил Вернер спокойно, предостерегающе.

Она отрицательно покачала головой.

— Не знаю я...

— Не знаешь... А где они были, когда ты вернулась в деревню?

— Не знаю... В лесу...

— В каком лесу?

Она пожала плечами.

— Лес...

Этот ответ ничего не давал. Белая равнина, расстилающаяся вокруг деревни, всюду упиралась в леса. Леса простирались на восток и на запад, на север и на юг. Только эта часть района была их лишена, и благодаря этому его отряд так спокойно сидел в селе. Но остальные непрестанно подвергались всяческим неожиданностям, поэтому командование так настойчиво требовало хоть каких-нибудь сведений, которые помогли бы добраться до места, где укрывался с отрядом Кудрявый.

— Лесов здесь много... С какой стороны ты пришла в село?

— Не помню, не знаю... Снег везде, меня вывели на дорогу, только и всего...

— Так... Это на какую же дорогу?

— Не помню...

— Так скоро забыла? Ведь всего четыре дня, как ты пришла в село.

Она с удивлением вспомнила, что ведь и правда, этому всего шесть дней. О двух днях Вернер, значит, не знает. Шесть дней, а казалось, что с тех пор, как она потихоньку собралась и ушла из землянки в лес, прошла целая жизнь.

Вернер медленно сворачивал папиросу. Потом поднял глаза и взглянул на желтое, открытое сипьяками лицо.

— Послушай, ты ведь мать...

Опять эти слова. Но теперь это правда, теперь у нее на руках сынок, крошечное дитяtko, рожденное на полу сарая, завернутое в материнскую рубашку.

— У тебя есть сын.

Желтое лицо просияло улыбкой, всплывшей с самого дна души. Да, у нее есть сын, есть сын...

— Ты хочешь, чтобы он был жив и здоров, хочешь, чтобы он вырос?..

Да, да, ах, как она отела, чтобы он был жив и здоров!.. Чтобы он рос... Он начнет подниматься, вставать на маленькие ножки. Будет семенить по избе, переползая через порог, хватать крохотными пальчиками ложку со стола. Он будет бегать за кошкой, за собакой, за телятком. Пробрется в огород, выдернет себе морковку. Потом он станет больше, пойдет в школу, возьмет сумку с книжками, важный, торжественный. А потом? Нет, она не могла себе представить что будет потом, не могла себе представить, что крохотное существо, которое она держит на руках, вырастет, женится, у него - самого будут дети...

— У тебя есть возможность спасти его. Есть возможность сохранить жизнь и себе, и своему ребенку. Я даю тебе эту возможность. Не будь дурой и используй ее.

Олена молчала. Она не совсем понимала, к чему клонит немец, что ее снова охватило беспокойство, по телу пробежала дрожь. Чего он хочет? Почему говорит так спокойно, тихо и убедительно, словно на самом деле пощипывает ее и хочет поговорить по-человечески?

— Тех мы все равно найдем. Днем раньше, днем позже, это не имеет значения. Подумай, ведь все в наших руках. Красная армия разбита, все копчено, к чему это глупое упрямство? Те сидят в лесу и ничего не знают. Они же окружены со всех сторон, у них нет выхода, нет спасения. Не сегодня — завтра они попадут в наши руки и будут наказаны. А тебе я готов простить совершенные вместе с ними преступления. Тебя уговорили, обманули. Ну и сына у тебя тогда еще не было... Мы забудем даже о том, что

ты взорвала мост. Будешь спокойно жить в селе, воспитывать ребенка...

Она внимательно слушала, не сводя с него глаз.

— Не думай, что я зверь какой-то или изверг. Что же поделаешь, служба!.. Я делаю то, что мне велит долг солдата, обязанности по отношению к родине... А тебя мне жаль. И твоего ребенка жаль. Себя не жалеешь, пожалей хоть сына. Ты дала ему жизнь, ты не имеешь права отнимать ее у него.

— То есть как — отнимать? — спросила она машинально, словно думая о другом.

Вернер нетерпеливо постучал папиросой о стол.

— Ты же понимаешь, ты прекрасно понимаешь, что, отказываясь отвечать, приговариваешь к смерти своего ребенка. Подумай, подумай немного, я подожду. Подумай, а потом ответь. Будешь ты давать показания или нет? Но я думаю, что ты будешь благоразумна и ответишь. Тем все равно ничто не поможет, а ты спасешь себя и ребенка.

Он достал из ящика табак и бумагу и принялся медленно сворачивать новую папиросу. Олена смотрела на его пальцы, узловатые, поросшие рыжими волосами. Глаза бессмысленно следили за сыплющимися крошками табаку, за морщинками на белой бумаге. Блеснул огонек спички, пошел синий дымок, кольца поднялся к потолку.

— Ну?

Она пожала плечами.

— Ты не будешь отвечать?

— Я ничего не знаю.

Он встал и, опершись руками о стол, наклонился к ней. Злоба искривила его лицо.

— А, ты так? Я с тобой, как с человеком, а ты... Подожди, я тебе покажу!.. Ганс!

В дверях показался солдат.

— Идите сюда.

Вошли двое с винтовками. Она узнала их: это были те самые, которые сторожили ее в сарае, те самые, которые со смехом смотрели, как она рожает.

— Подержите-ка ее. Байстрюка давайте сюда.

Солдат выхватил у нее из рук ребенка, прежде чем она поняла, что происходит. Она рванулась, но железные руки держали ее с обеих сторон. Олена не сводила обезумевших глаз с ребенка. Солдат неловко взял его в руки, и она испугалась, что он уронит.

— Положи на стол!

Ребенок лежал теперь на столе между пюи и пемцем. Солдатские лапы тяжело впились в ее плечи, и она понимала, что ей не вырваться.

Ребенок лежал на столе, небольшой свер-

ток с красным личиком, еле виднеющимся из-под покрывающего голову полотна рубашки. Вернер с отвращением смотрел на спокойно спящее крохотное существо. И вдруг маленькие веки дрогнули. Блеснули два маленьеньких озера, мутные, спящие, как у елва прозревших щенят. Подбородочек задрожал. У Олены мучительно сжалось сердце — маленький заплакал жалким, беспомощным плачем поворожденного. Маленький ротик хватал воздух, лобик покраснел еще больше, брови выделились на нем светлыми, почти белыми линиями. Она рванулась к нему, но тяжелые руки еще крепче придавили ее к столу.

— Я с тобой больше няпчаться не буду, — сказал охрипшим голосом Вернер. — Ну, будешь ты говорить?

Она смотрела не на него, а на ребенка. Он скулил, как щечок. Ах, взять бы его на руки, прижать к груди, укачать, успокоить, убаюкать...

— Ты слышишь, что тебе говорят? Будешь говорить? Последний раз спрашиваю!

Она оторвала глаза от ребенка и отчетливо прошептала:

— Ничего, ничего я не скажу...

Капитан рванул завязки сорочки. Маленький сыночек, голенький, со вздутым животиком, со стиснутыми кулачками, с поджатыми к животу ножками, лежал на столе и плакал. Вернер схватил ребенка, как щенка за шиворот, и двумя пальцами поднял вверх. В воздухе затрепыхались маленькие ножки, крохотные пальчики с прозрачными, розовыми, как цветочные лепестки, ногтями.

— Ну?

Он медленно-медленно поднимал револьвер. Олена окаменела. Руки и ноги стали ледяными глыбами. Комната росла, увеличивалась, вытягивалась и вырастал перед ней немец. Теперь за столом напротив нее стоял уже не тот, кто говорил с ней раньше, а какой-то небывалых размеров великан, достоявший головой до туч. И во всей этой разлявшейся огромной, необозримой пустоте, одинокий, крохотный, трепетал ее сыночек, розовый, голенький, повисший между землей и небом. Натянутая кожа, видимо, душила его. Он перестал плакать и не издавал ни звука. Только ножки судорожно двигались, да сжимались и разжимались, ловя воздух, маленькие ручки.

— Ну? Покажи, кто ты — большевистская стерва или мать?

Олена очнулась. Капитан перестал колыхаться огромной горой между землей и небом. Комната снова приняла обычные размеры.

— Отвечай.

— Я мать, — ответила Олена, называя себя тем именем, которым ее называли там, в лесу, которым ее благодарили за заботы, за доброе слово, за сваренный обед или выстиранные рубашки.

— Значит, скажешь, где они?

Она не смотрела на своего мальчика. Она смотрела прямо в водянистые глаза, окаймленные белесыми ресницами.

— Ничего я не скажу, ничего, ничего не скажу...

Дуло револьвера приблизилось к маленькому личику. Она видела это, не глядя.

— Это твой единственный ребенок, а? — спросил Вернер.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет...

Рука с револьвером застыла в воздухе.

— Как? У тебя есть еще дети? Сыновья? Дочери? Где? Здесь, в селе?

Сияющая улыбка вдруг заиграла на опухших, растрескавшихся, пересохших губах.

— Сыновья... Одни сыновья... Много, много сыновей... Там, в лесу... Кудрявый... все, там, в лесу...

Грянул выстрел. Прямо в маленькое личико. Запахло порохом и дымом. Солдаты, держащие Олену, вздрогнули.

Капитан встряхнул мертвое тельце.

— Вот, мать...

Маленькие ножки безжизненно повисли, повисли крепко-крепко стиснутые кулачки. Личика не было — вместо него зияла кровавая рана.

— Вот что ты сделала со своим ребенком, — сказал Вернер.

Она покачала головой. В этот миг она была далеко-далеко отсюда, в лесу. Что они теперь делают в лесу? Сидят у костра или лесными тропинками подкрадываются к немецким отрядам? Окружают дом, где помещается немецкий штаб? Или отступают в лес, унося своих раненых? Солдаты с суевренным страхом смотрели на нее. Капитан заметил, что из тела ребенка каплет на пол кровь. Он вздрогнул от отвращения.

— Вынести это!

Солдат заколебался.

— Ты еще что? — зловеще зашипел капитан, и часовой торопливо схватил тельце.

— Ну, последний раз спрашиваю, будешь говорить или нет?

Олена не отвечала, даже не слышала. Она смотрела в окно на мечущуюся по полю выюгу.

— Если ты не ответишь, сейчас покончат и с тобой.

Она не слышала, не отвечала. Ведь все, все было кончено. Не было больше сыночка, не было маленького мальчика, которого она

ждала двадцать лет. Сердце утихло, в нем была мертвая пустота, без страха, без тревоги, без дрожи.

Олена пустыми глазами взглянула на капитана. Равнодушно, словно на неодушевленный предмет, словно на кусок дерева или камень.

— Увести ее и копчить! — распорядился капитан. — Только не возле дома, хватит здесь этой падали. Лучше всего в реку!

Она послушно пошла, куда ее подталкивали приклады. Да, это было село, где она родилась, где выросла, где вышла замуж и напрасно ждала ребенка, который появился, наконец, чтобы побыть с ней несколько часов, и вот его уже нет. Она сама, сама отдала его на смерть, сама своими глазами смотрела, как наклоняется, приближается дуло револьвера, и не сказала слова, которое могло отстранить это дуло, оттолкнуть его от маленького личика. Нет, она не сказала этого слова.

— Не могла я, сынок, — шептала она, словно мертвое дитя могло ее услышать. Она взглянула — солдат нес трупик с отращением, пеловко, головка свисала вниз. Олена протянула руки. Конвоир на мгновение заколебался, но нести мертвого ребенка было так неприятно, что он решил на свою ответственность отдать его матери. Она прижала мертвое тельце к груди. Оно было еще теплое, ручки и ножки еще не окоченели. Если бы не то страшное, что осталось вместо лица, можно было бы подумать, что ребенок спит.

Олена шла между конвоирами, не думая о том, куда ее ведут. Выкрикнутого по-немецки приказа она не понимала. Знала, что теперь наверняка конец, но это ее не мучило. Все для нее кончилось со смертью сыночка.

Дул ветер, неслась снежная пыль. Олена взглянула на замерзшие окна хат. Нигде не видно ни души. Одинокая, шла она своей последней дорогой, дорогой к смерти. Ни из одних дверей никто не выглянул, нигде не показался ни один человек. Хаты словно вымерли. Кое-где суетились немцы, но они не обращали на арестованную никакого внимания.

Удар приклада столкнул ее с дороги на тропинку. Слегка удивленная, она пошла, куда ее толкнули. Она думала, ее ведут на площадь у церкви, где вешали людей, уличенных в преступлениях против немецкой власти. Но тропинка, минуя хаты, спускалась вниз и углублялась в овраг. Ветра здесь почти не было, он дул поверху, в овраге было тихо. Олена шла по обледевшей тропинке, словно по битому стеклу. Босые ноги за эти четыре дня покрылись сплошными ранами.

нарывами, обратились в кровавое мясо с висящими лоскутками кожи. По этой тропинке женщины носили воду, и вся она была покрыта ледяной корой. Израненные ноги скользили по льду, мелкие льдинки впились в опухшее тело. Олена споткнулась и с этого момента стала спотыкаться уже на каждом шагу. Невыносимая боль разрывала низ живота. Она почувствовала, как теплые струйки крови стекали по ногам.

Внизу извивалась речка. Ее сковало льдом, засыпало снегом, замело вьюгой, и от нее не осталось бы и следа, если бы не прорубь, откуда послали воду в этот конец села. Олена издали увидела темное пятно ежедневно возобновляемой проруби. Она не понимала, куда ее ведут. Дальше, в овраге, лежат убитые, которых немцы не позволяют хоронить. Неужели ее хотят расстрелять там? Ее, простую деревенскую бабу, рядом с красноармейцами, с теми, кто погибли в бою?

— Эй, куда лезешь?

Слова были непонятны, но удар прикладом она поняла и послушно свернула вниз. Солдаты, один впереди нее, другой позади, направлялись прямо к черной дыре проруби.

— Давай щенка! — заорал один и протянул руку к ребенку. Она испуганно прижала мертвое тельце к груди, словно они еще могли ему что-то сделать, словно ему могло еще что-то угрожать.

— Давай! — грозно повторил конвоир и рванул ее за руку. Маленькое тельце полетело на снег. Олена упала на колени около него. За дорогу уже посинели пальчики рук, посинели малюпкие ноги, исчез розовый оттенок кожи. Кровь на том, что еще час назад было личиком, почерпела и застыла темными сгустками.

Прежде чем она успела поднять трупик, солдат поддел штыком его и подбросил вверх. Ребенок упал у самой проруби. Подбежал другой, снова поддел крошку на штык и снова подбросил. На этот раз метко — вода хлопнула, на темной поверхности проруби закипели пузыри, и течение унесло трупик под лед.

Олена замерла на коленях. Теперь она узнала свой сон. Узнала место, темную дыру проруби. По срезу лед был зеленоватый, темная вода переливалась, двигалась, как живая. Она клокотала, вырываясь на небольшое свободное пространство проруби, и снова исчезала под льдом, уносясь в свой дальний путь, в дальние края. На берегах, на льду замерзшей речки толстым слоем лежал снег. С одного края проруби, там, где упало тельце ребенка, осталось красное, отчетливо, как печать, оттиснутое пятно.

Олена мертвыми глазами смотрела в тихо всплескивающую темную воду. Вог и забрала вода маленькое тельце, вот и нет больше сыночка. И единственный знак, единственный след того, что он существовал, — это кровавое пятно на снегу, печать, оттиснутая на белой пелене. Теперь вода несет его подо льдом, несет своими неведомыми, дальними путями. Несет поло льдом, сталкивает вниз, бьет о камни, выталкивает на поверхность, рапит об лед! Нет, нет, Олена знала, знала твердо, как если бы своими глазами видела сквозь снег и лед, — родная река несет маленькое тело бережно, ласково. Охраняет, как мать, окутывает мягкой, нежной волной. Смывает с него кровь, пороховые ожоги, прикосновения немецких лап. Своя, родная река, чистая вода родной земли. Вода приняла, открыла объятия маленькому, что не прожил и одного дня. Родная вода родной земли.

Солдаты совещались между собой, о чем-то переговаривались, осматривали прорубь, что-то отмеривали. Олена не шевельнулась. Глаза ее прильнули к мелкой волне, вырывающейся из-под льда и исчезавшей под льдом... Теперь уж он хорошо спрятан, теперь его никто не найдет. Лед простирался толстым пластом, сверху его еще прикрывала перина снега. Далеко, насколько глаз хватал, лежал глубокий-глубокий снег, и вода неслась невидимым путем, подснежным, подледным, хорошо укрытая от немецких глаз. «Куда она несется?» — озабоченно подумала Олена и вспомнила, что на восток. На сердце стало радостно: сыночек поплывет к своим, сыночек поплывет к свободной земле без немецких оков. Может, и всплывет где-нибудь, может, и там есть проруби, наверняка есть проруби. Люди увидят, догадуются, что случилось. Посмотрят на разрозненную пулей головку и поймут. Похоронят, как полагаются, похоронят маленького, похоронят в родной земле. А может, нигде не всплывет, и только весной, когда растает лед и речка разольется по лугам буйной водой, люди найдут маленькое тело?

Конвоиры о чем-то спорили между собой; они отошли на несколько шагов, снова обмеривали что-то. Один ударил прикладом в край проруби, отколол большой кусок льда. На снегу обрисовалась длинная темная трещина. Лед соскользнул в воду, закачался на ней, зеленый край проруби стал блестеть теперь немного дальше.

На тропинке послышался скрип шагов. Солдаты обернулись. Сверху спускался капитан Курт Вернер. Они вытянулись. Олена даже не повернула головы. Она все стояла на коленях, как зачарованная, глядя на воду, на поблескиванье мелкой волны.

Капитан толкнул ее ногой. Она подняла к нему лицо с невидящими глазами.

— Эй ты! Сейчас ты сохнешь, понимаешь? Говори, где партизаны?

Он трясся от глухого бешенства. Едва он отправил Олену с солдатами, как ему позволили из штаба. Во что бы то ни стало, любой ценой добыть какие-нибудь сведения о местонахождении партизан. У штаба имеются данные, что большинство отряда составляют жители того села, где стоит отряд Вернера. От него категорически требовали, чтобы он дал необходимые сведения. А эта проклятая баба, которой стоило сказать несколько слов, чтобы требование штаба было выполнено, молчала, молчала, как заколдованная. Капитан был вне себя оттого, что, сказав последнее слово, отдав приказ, он принужден был опять идти сюда, к реке, брести в эту вьюгу по морозу и снова спрашивать, снова смотреть на это печеловеческое, желтое и синее, опухшее лицо. Доведенный до отчаяния, он готов был просить, умолять эту упрямую, озлобленную бабу. Но он знал, что и это не поможет. Легко им там в штабе говорить «категорически требуем!» Легко было категорически требовать! «Всеми средствами». Уж он, кажется, пустил в ход все средства, уж сама судьба, кажется, послала ему самое лучшее средство — поворожденного ребенка! И ничего не помогло...

— Где щенок? — обратился он к солдатам.

— Мы бросили его в прорубь, — ответил со страхом младший. Что могло случиться, почему капитан сам пришел сюда, почему он спрашивает о ребенке, которого четверть часа назад сам велел убрать? Солдат испугался. А может, что не так, может, они не так поняли приказание?

Но Вернер махнул рукой.

— Слушай, ты! Где партизаны?

Олена не ответила. Так же внимательно, как прежде на воду, она смотрела теперь на лицо капитана. Она видела все до мельчайших подробностей. Светлые брови, один волосок длиннее других и смешно торчит на лбу. В углу губ прилип обрывок папиросной бумаги, маленькое белое пятнышко. На щеках есть красноватых жилок, глаза моргают белыми ресничками. Одно ухо капитан отморозил — оно было опухшее и больше другого.

— Чего смотришь? Я тебя спрашиваю, где партизаны?

Он понял, что вопрос не дошел до нее, что она не слышит, что ему ничего не добиться. Капитана охватила дикая непамять. Он пожалел, что не может еще раз получить в свои руки ее ребенка, — слишком быстро и просто он с ним покопчил. Надо было на

ее глазах сдирать с него кожу, отрезать ему уши, выколоть глаза. Может, тогда бы она, наконец, дрогнула, может, это убедило бы ее. А он вот поторопился, и завтра опять будут звонить из штаба, ведь он — какое легкомыслие! — дал туда знать, что поймана партизанка. Кошечко, там никто не поймет, что из бабы невозможно ничего выжать. А милые приятели с удовольствием подставят ему ножку, с превеликим удовольствием постараются довести до сведения начальства, что капитан Курт не умеет обращаться с арестованными, не умеет добиться показаний, что он, видно, слишком мягок, слишком либерален по отношению к местному разбойничьему населению...

Он закусил губу и первым движением вырвал из рук солдата винтовку так неожиданно, что тот в испуге отскочил. Олена уже не смотрела на капитана. Ее глаза снова устремились на воду, на ее поблескивание, на непрестанную текучую жизнь.

Вернер отступил на шаг и изо всех сил воткнул штык в спину стоящей на коленях женщины. Она упала лицом на край проруби. Задетый при падении снег узкой тонкой струйкой посыпался в прорубь. Как мука из отверстия жернова. Олена смотрела, почти касаясь лицом темной поверхности. Снег, упав в воду, позеленел, сбился в комок, зашлясал на поверхности проруби.

Капитан с усилием вытаскивал штык и воткнул еще раз. Женщина вздрогнула и растелилась, вытянулась на покрытом снегом льду. Пряды растрепанных волос свисли вниз, коснулись воды. Вода подхватила их, залила волной, и они заплывали в ней, как живые.

— В воду ее! — скомацодвал капитан.

Солдаты подскочили и стали прикладами стаскивать тело. Прорубь была мала, голова упала в воду, но руки торчали по сторонам, словно сопротивляясь.

— Вы что, с одной бабой справиться не можете? — заорал капитан вне себя от бешенства.

Солдаты торопливо бросились к мертвой. Они выламывали ей руки, силой зажимали ее под лед, в воду. Она погрузилась по грудь, потом по живот. Теперь они стаскивали ее сапогами, прикладами, торопясь под взглядом капитана. Наконец вода хлюпнула от падения тела. Теперь из проруби торчали только синие опухшие ноги, уже совсем непохожие на человеческие. Они были прикладами по этим ужасным, изуродованным культикам. Наконец вода еще раз хлюпнула, застопала, вздулась. Тело исчезло. Журчащая мелкая волна вырывалась из-под льда и снова исчезала под льдом, убегая в дальний путь, в дальние-дальние края.



Капитан выругался и пошел обратно, скользя по обледевшей тропинке. Солдаты покорно шли за ним, стараясь незаметно для него опираться на виптовки.

Внизу, в проруби, журчала темная вода, отливая зеленою, поблескивали края проруби. На истоптанном снегу были далеко видны следы солдатских сапог. И только с одной стороны на белом снегу остался красный след — там, куда первый раз упало тело ребенка. На белой поверхности осталось красное пятно, яркое, отчетливое; казалось, оно никогда не исчезнет, останется здесь навсегда, до весенних солнечных дней, когда растопится лед, потечет ручьями снег и свободная река понесет свои буйные воды по далеким равнинам, в далекое необъятное море, родное море родной земли.

## VI

Пуся мылась. Федосья Кравчук в мрачном молчании носила воду, подливала кипяток из горшка. А та, сидя в корыте, мылила худенькие плечи. Она не стыдилась своего немца, который тут же на лавке курил папиросу за папиросой. Будто пельзя помыться в кухне. Куда там! Такая барыня — и в кухне! Нет, ей надо показать своему немцу свои тощие кости, обязательно надо забрызгать весь пол, чтобы было что подтирать да прибирать.

Пуся нежилась в теплой воде, но поминутно искоса поглядывала на Курта. Весь вечер он был мрачен и молчал.

— Курт...

Он очнулся от задумчивости.

— Что?

— Ты все молчишь, не обращаешь на меня внимания, будто меня и на свете нет...

— Я устал, — ответил он сухо.

— Я весь день ждала, а ты даже не зашел.

Она выжимала воду из губки и смотрела, как белые струйки мыльной воды стекают по ее грудям.

— Как раз было у меня сегодня время заходить, — буркнул он, не переставая думать о звонке из штаба. Придется утром сообщить, что от этой бабы не удалось ничего добиться. Майор взбесится. Иггересно, чего бы он сам добился? Ему всегда и все кажется легко и просто... Хуже всего то, что Вернер в ближайшее время ожидал повышения, а эта дурацкая история с партизанами может все испортить. И партизаны-то ведь допекают не его, а их, ну и искал бы сами следов, добирался бы до их тайников... Так нет, они там сообразили, что легче спихнуть все на Курта, переложить на него ответственность. Он проклинал собственное легкомыслие. За-

чем было уведомлять их о поимке этой Костюк, когда он еще сам не знал, удастся ли от нее чего-нибудь добиться?

Он что-то обдумывал. Пелагея почувствовала на себе его взгляд.

— Что ты?

Он неторопливо курил.

— Послушай, — начал он, видимо, колеблясь.

Пуся ждала, высоко подняв выщипанные брови.

— Не поговоришь ли ты со своей сестрой, а?

Она резко повернулась, так, что вода выплеснулась на пол. В этот момент вошла Федосья с ведром.

— А вы тут не вертитесь, — буркнул он сердито.

Женщина пожала плечами. Он встал и тщательно запер за пей дверь.

— Поговорить с сестрой?

— Ну да, ты же слышишь! — рассердился он.

— По зачем мне с ней говорить? — она широко раскрыла круглые глаза, своим обычным движением большой обезьянки склоняя набок голову.

— Ты должна мне помочь. Ну да, помочь. Что тут непонятного? Ты должна поговорить с этой учительницей. Она, видишь ли, знает много нужных мне вещей.

Пуся машинально мочила и выжимала губку.

— Она же мне ничего не скажет...

— Это уж твое дело так поговорить, чтобы сказала... Объясни ей, что эти игрушки кончатся плохо: я пока смотрю сквозь пальцы, но когда у меня лопнет терпение...

— Какие игрушки?

— Ну и дура! — вспыхнул он.

Она обиделась и, надув губы, принялась старательно намыливать ноги.

— Растолкуй ей, что для нее лучше будет, если она начнет работать с нами. Ведь она не так глупа, чтобы надеяться, что они еще сюда вернутся, а?

Она не ответила, и он только теперь заметил ее обиженное лицо.

— Ты чего, собственно, куксишься?

— Я же дура, что я ей могу растолковать?

— Обиделась? Послушай, я в самом деле устал. У меня был очень тяжелый день. Не капризничай, это же глупо. Ну как, поговоришь с пей?

— Она не захочет со мной говорить.

— Почему?

Она взглянула на него и пожала плечами.

— Разве ты сам не видишь, что тут со мной никто не разговаривает? Будто прока-

женная... По тебе все равно, ты целыми днями оставляешь меня одну...

— Ты опять свое... Оставь это, я говорю с тобой серьезно.

Пусю испугала морщинка на его лбу.

— Ну хорошо, но о чем же мне с ней говорить?

Он оглянулся на дверь.

— У нас, понимаешь, есть данные, что она связала с партизанами. Нужно, чтобы она сказала, где они скрываются, понимаешь?

— Она не скажет.

— Зачем же заранее предрешать вопрос? Если умненько возьмешься за дело, скажет.

Вода уже остыла. Пуся вытиралась медленно, старательно. Потом протянула руку и взяла со стула ночную сорочку. С наслаждением ощутила мягкость шелка. Сорочка была голубая, с ручной вышивкой. Вернер привез ее из Франции, не успел передать по дороге жене, и теперь ее носила Пуся. Шелк ложился мягкими складками, она ощущала его прикосновение, как ласку. Куханье утомило ее, ей хотелось спать.

— А ты почему не раздеваешься?—спросила она капризно.

— Как раз время мне спать... Видишь ли, о партизанах надо непременно узнать...

Пуся присела на скамейку возле него и прижалась щекой к его мундиру.

— Курт...

Он нетерпеливо отодвинулся.

— С тобой вообще невозможно серьезно разговаривать.

— Ночью не разговаривают,— сказала она, падув губы, и заложила за ухо волосы. Но, заметив, что он начинает сердиться, поспешно поправилась: — Ну хорошо, а откуда ты знаешь, что ей что-то известно?

— Знаю, не беспокойся. Этим ты лучше не интересуйся. А ей можешь намекнуть, что я все знаю и что если она не расскажет, я прикажу ее арестовать.

— О-о-о!

— А ты что думаешь, если она твоя сестра, значит, может вести здесь против нас работу, а мы будем спокойно смотреть на это?

Пуся пожала плечами.

— А мне вообще безразлично. Арестуй, если хочешь. Мне-то что? Поговорить я, конечно, могу. Только она меня на порог не пустит, вот увидишь.

— Во всяком случае попытайся.

— Попроюсь,— сказала она примирительно, думая, что во всяком случае это будет завтра, а сейчас незачем ссориться с Куртом.

— Ложись спать...

Он встал и споткнулся о полное корыто.

— Где эта баба? А ты, право, могла бы помыться в кухне.

— В кухне? У нее? — Пуся даже вздрогнула от отвращения.

Вернер махнул рукой. Федосья, сжав губы, уносила ведра, рывком отодвигала корыто, вытирала залитый водой пол. Пуся, уже лежа в постели, с удовлетворенным взглядом на нее. Сказать разве сейчас о Васе? Нет, пусть эта старуха еще помучится, пусть пождет, случай всегда найдется...

\* \* \*

Дверь закрылась. Вернер спинал мундир, шумно сбросил сапоги. Лампа погасла. Федосья слила грязную воду в ведро и пошла выливать ее. Ветер ударил ей в лицо, часовой оглянулся, но, увидев в ее руках ведра, ничего не сказал. Она обошла дом и свернула за хлев, к навозной куче. Вода хлюпнула, и в ту же секунду она услышала прощипывающий шопот:

— Мать!

Она покачнулась и уронила ведро. От снега почь была светлой, и за хлевом, на фоне белого сугроба, она увидела какой-то силуэт. Знакомая шапка. У Федосьи перехватило дыхание.

— Кто тут? — шепнула она, хотя уже узнала. Со стоном опустилась она на колени, протянула руки, ощупала грубое сукно шинели, ремель пояса. Ясно увидела на сером меху шапки пятиконечную звезду. Рыдания сдавили ей горло. Красноармеец испугался.

— Что с тобой, что ты?

— Это вы... это вы... это вы... — шептала она захлебывающимся, безумным шопотом. Казалось, что она бредит, что ей снится сон, сердце колотилось от счастья.

— Это вы, вы...

Он нагнулся к ней и потряс ее за плечо. В слабом отсвете снега он увидел залитое слезами, сияющее улыбкой лицо.

— Что с тобой?

— Ничего, ничего... — Федосья изо всех сил старалась сдерживать волнение. И вдруг вспомнила о часовой. Она схватила красноармейца за рукав.

— У меня в хате немцы! В селе немцы!

— Я знаю. Мне бы поговорить с тобой, мать. Ты здешняя?

— А как же — здешняя, здешняя...

— Надо узнать у тебя, что и как...

— Слушай-ка, сынок, там у хаты часовой, если меня долго не будет, он потащится искать. Ты положи здесь, я побегу лямой, у меня там есть лазейка, я сейчас же прибегу, а ты пройди дальше, в сарайчике за хлевом — солома, не так дует, как здесь.

Он пристально взглянул на нее с вие: проснувшимся подозрением. Она попяла.

— Что ты, сынок? Я ведь здешняя, из колхоза... У меня там, в овраге, сып лежит, красноармеец... Месяц лежит, не дают похоронить, собаки... Обобрали догола...

Не столько ее слова, сколько чувство, звучащее в ее голосе, было так убедительно, что парню стало стыдно.

— Сама знаешь, мать, разпо бывает...

— Так ты иди, а я сейчас...

Дрожащими руками она схватила ведра и направилась к хате. Мимо часового она прошла, с трудом подавляя первый смех. Ходи, ходи, притопывай ногами! А наши уже в селе! Вон там за хлевом стоит красноармеец, а ты, ничего не зная, караулишь офицерскую любовницу, офицерскую постель... Карауль, карауль, скоро конец тебе...

Она тщательно заперла дверь в сени, передвинула скамью в кухне, делая вид, что собирается спать. Из горницы доносился хрип немца. Федосья тихонько выскользнула в сени. На чердаке в одном месте вынималась доска. Она пролезла в отверстие и стала осторожно спускаться по углу избы. Длинная юбка мешала ей, она подумала, как смешно — старая баба карабкается, как кот, и в душе засмеялась. Ветер шелестел в соломенной крыше, и часовой по ту сторону хаты не мог ничего услышать. Она спустилась и с колышущимся сердцем секунду-другую прислушивалась. Нет, ему и в голову не могло прийти, что здесь что-то происходит. Ведь здесь позади была глухая стена, и он топтался спереди, под окнами. А как раз отсюда-то и можно войти в хату, осенила ее вдруг счастливая мысль.

Кошачьими шагами она прокралась за хлев и похолодела — там никого не было. Сарайчик был пуст. Неужели все было сонным видением, бредом, порожденным тоской и страданием? Нет, этого не может, не может быть...

— Где ты? — спросила она осторожным шопотом.

Солома в сарайчике зашевелилась. Федосья просияла. Ну, конечно, он здесь. И не один. Их было трое, трое, — радовалась она, заметив еще две фигуры. Они присели на корточки у входа в сарайчик. Федосья подседа к ним.

— Уж мы ждем, ждем! Уж мы дьями и почамы вас выглядяем! — причитала она шопотом, поглаживая рукав шинели. — Ох, дождалась я, дождалась...

— Ну, будет, будет, мать, надо поговорить...

— Что ж, поговорить, так поговорить... А вы есть не хотите? — спохватилась она.

Красноармейцы рассмеялись.

— Нет, неохота... Мы сюда не есть пришли.

— Тогда спрашивайте.

— Ты из этого села?

— Как же, из этого, откуда же еще? — удивилась Федосья. — Из этого. Здесь родилась, здесь и жила...

— Нам узнать бы, как и что... Где немцы расположились? Где у них что есть?

Она умоляюще сложила руки:

— Пойдут наши на село?

— Пойдут, пойдут... Только надо сначала все разузнать...

— Сейчас... — она уперлась руками в колени. — Село у нас большое, триста дворов. Здесь две дороги, крест-накрест. На перекрестке площадь, там церковь была раньше, сейчас остатки стоят.

— Подожди-ка, мать.

Они вынули карту и наклонились над ней, прикрыв шинелями. Блеснул свет электрического фонарика.

— Так... Верно, перекресток, посредине площадь...

— На площади, у церкви, они поставили пушки.

— Пушек много?

Федосья залумалась:

— Подождите... Одна, две... три... четыре... Ну да, четыре! Около церкви направо большой дом. Раньше был сельсовет, теперь там у них штаб... И тюрьма, сейчас пять заложников сидят.

— Где еще немцы?

— Ближе к площади, так там, можно сказать, во всех домах. Тут, с краю, где моя хата, их меньше, но тоже есть. Пушки у них еще под липами, как итти из села, по там другие, поменьше...

— Зенитки, может?

— Может, и зенитки, кто их знает... Вверх задраны, тоненькие такие...

— Так, так. Пулеметов не видала?

— Как же, есть пулеметы... Все с того краю, отсюда итти прямо, а потом налево. Там в домах, в стенах прорубили дыры, и в каждой дыре пулемет.

Красноармеец, согнувшись над картой, напосил на нее карандашом крестики и кружочки.

— Из этих домов людей они повыгоняли, а сами хозяйничают. Погодите, сколько же это будет? Одна, три, в пяти хатах... И еще в одной, как отсюда на площадь итти...

— Немцев много?

— Не сообразишь... Уходят, приходят, только этот капитан как сидел, так и сидит... Говорят, человек двести есть...

— Часовых много?

— Э, таскаются ихние, воп как и перед моей хатой. Какое уж там,— по печам бояться, далеко не отходят, и все по-двое. Днем-то они смелее, а уж ночью боятся, хоть и есть приказ, чтобы, как стемнеет, никто из жителей не смел из дому выходить. Как увидят, не спрашивают — кто, сразу стреляют...

— Мостики какие есть по дороге?

— Мостики? Не-ет... Дорога, как дорога...

— Лесочков нет?

— Лесов у нас нет. Только и деревьев, что в садах, да и те эти мерзавцы почти все на топливо порубили. Тепло любят. За площадью у дороги есть еще несколько лип. А лесу нигде нет, и далеко вокруг все равнина голая. В овраге кусты растут, а больше ничего. С дровами у нас беда, кизякам топим.

Она беспокоино оглянулась.

— Что там?

— Ну-ка я выгляну, погляжу, не угораздило ли часового посмотреть, что делается во дворе.— Она тихо вышла и прислушалась. Ветер уныло стонал, бился в овраге, шуршал соломой на крыше. Когда он на минуту затихал, слышались тяжелые, мерные шаги часового за домом, скрип снега под его саногам. Федосья вернулась.

— Ничего, все ходит...

Красноармейцы складывали карту.

— Ну, надо собираться, спасибо, мать.

— Что ж меня благодарить? Мой Вася тоже в Красной Армии. Здесь под селом его убили...

Фонарь погас.

— Когда же вас ждать?

— Так увидим... Как решит командир, как удастся...

— Чего же не удастся! Только вы поторопитесь, пора... целый месяц дожидаемся, все глаза проглядели...

— Не так-то это легко, мать...

— Знаю, что тяжело, да ведь и нам тяжело... Вы уж постарайтесь, ребята, возьмитесь как следует...

Вдруг она что-то вспомнила.

— Стойте! Есть еще одно дело...

— Что такое?

— У меня в избе их главный, командир вроде... И никого нет, только часовой перед домом. Он там спит, как убитый, со своей девкой. Часового можно убить, а нет, я вас потихоньку впусти в избу через крышу. Вы его и покроете, как куронатку.

У младшего из красноармейцев даже глаза сверкнули.

— Ну-ка, ребята...

— А ты подожди. Надо сообразить.

— Что тут соображать? Вытащить его, прохвоста, за шиворот, только и делов!

— Как раз... Наглумить всегда легче всего! Ну, ты прикончинишь его, а дальше? Наутро подымется шум, дадут знать в штаб, и их сюда столько привалит, что и не справишься...

— Пожалуй, это верно...

— Хорошая вышла бы разведка! Сейчас-то они сидят себе спокойно, как у Христа за пазухой, сам видишь, капитана один часовой караулит. А напугаешь их, все и испортишь.

— Эх, хотелось бы приволочь фрица...

— Подожди, в другой раз. А теперь тихо-тихо домой!

— А где же это у вас дом? — заинтересовалась Федосья.

— Это у нас так говорится, мать. Дома наши далеко, а на войне дом — это своя часть. Ты вот расскажи, как лучше пройти. Сюда-то мы шли, чуть не потонули в снегу...

— Я вам покажу, тут прямо в овраг и вдоль речки, вдоль речки. Только там наши лежат непохорошевшие, так вы поосторожней... А там вас речка на равнину выведет, там села Охабы и Зеленцы, только там тоже немцы:

— Это-то мы знаем. Главное, тут па кого-нибудь не наткнуться.

— А тут идите спокойно, тут только у моей хаты часовой, а больше никого нет. Потихоньку идите, как ветер стихнет, останавливайтесь, а то снег скрипит, фриц услышит.

Три пригнувшиеся тепл следовали за ней, тотчас останавливаясь, когда останавливалась она.

— Вот и овражек, тут прямо и спускайтесь, только осторожно, а то скользко.

— До свиданья, мать. Спасибо за все. Хороший ты человек.

— Будьте здоровы, ребятки. Только поторопливайтесь, поторопливайтесь...

— Уж постарайся! А ты иди-ка домой, холодно!

— Ничего, я привыкла.

Федосья стояла на краю оврага и смотрела вниз. Они быстро двигались по тропинке, их силуэты в белых плащах все труднее было различать на снегу. Наконец они совсем растаяли во мраке, исчезли в почной тьме, в снежной вьюге, несущейся над землей. Пропали, словно их никогда и не было. Федосья шла домой медленно, шаг за шагом. Ей казалось, что она на минуту вырвалась из тюрьмы, минуту свободно подышала полной грудью, а теперь добровольно возвращается

ся на цепь. С ненавистью глядела она на темные очертания своей хаты, где спал немец с любовницей, куда приходится идти, чтобы слушать его ненавистный храп.

Да, он все еще храпел, посвистывал носом, что-то бормотала сквозь сон его девка. Федосья усмехнулась с мстительной радостью: скоро вам конец. Вот придут красноармейцы, зайдут прямо в горницу и стащат тебя с перинны.

Услышит она, Федосья, когда они будут подкрадываться, или ее разбудит только их появление в хате? Но нет, она твердо знала, что не уснет, что не будет теперь спать до самого их появления, до освобождения села.

Снег поскрипывал под сапогами часового, посвистывал посом Вернер. Все было так же, как вчера, как позавчера. И все же было совсем иначе. Первый раз за весь месяц, первый раз с того момента, как погиб Вася, она чувствовала радость в сердце. Эта радость пылала, светила, грела, вздымалась высоким пламенем. Федосья зажимала руками рот, чтоб не закричать на весь мир от огромного счастья. И знала об этом одна она — больше никто, больше никто во всем селе. Она одна знала, что теперь уж можно ждать не так, как раньше ждали, — с непоколебимой верой, но без определенного срока. Теперь она могла высчитывать, когда это случится. Сегодня, завтра, послезавтра? Сколько надо идти тем троим, чтобы привезти свою часть? И сколько времени нужно их части, чтобы добраться до села? День, два, три? Она знала, чувствовала, что это не может продлиться больше трех дней. Не может случиться такая жестокая, глупая вещь, чтобы пятеро сидящих в комендатуре заложников погибли.

Вернер назначил трехдневный срок. И Федосье вдруг показалось, что этот срок относится не к заложникам. Это три дня, в течение которых черная бездна раскроется перед немцами. Немцы взглянут в неумолимые лица красноармейцев, взглянут в глаза неизбежной смерти.

В селе триста хат, и в каждой хате, кроме тех, откуда немцы выгнали обитателей на снег, в каждой хате люди мучились, ждали, плакали, утешая себя непоколебимой надеждой, волшебными словами, которые придавали силы: наши придут. И только она, единственная во всем селе, знала наверняка не только то, что они придут, — в этом она никогда не сомневалась, — нет, она знала, что они уже идут, что немецкой банде уже подписан неумолимый приговор. Она не дождалась, но те пятеро в комендатуре дождутся. Не может быть чтоб не дождалась.

Староста в эту ночь поздно засиделся в комендатуре. Он кропотливо подсчитывал по колхозным книгам, кто сколько хлеба должен сдать. Ему помогал фельдфебель, бухгалтер по профессии. Гаплик потел, ежeminутно ошибаясь в подсчетах. Коптила лампа. Солдаты сонными глазами смотрели на сидящую за столом пару. Староста вычитал, складывал, множил, поминутно ошибаясь и вызывая этим сердитые замечания фельдфебеля.

Староста старался сосредоточиться, но это ему не удавалось. Он не мог отделаться от мысли, что все эти цифры и подсчеты могут оказаться ненужными. Скорее всего оно так и будет. На бумажке написать легко, и прочитать легко, даже вручить каждому точный подсчет того, что с него следует немецкому государству, даже это сравнительно легко. Но ведь этого мало — бумажки не удовлетворят ни капитана, ни штаб, требующий поставок. Кроме бумажек, нужен хлеб, а Гаплик очень сомневался, пожелает ли кто-нибудь доставлять хлеб немцам. А отвечать в конце концов придется ему, Гаплику. Капитан угрожал очень убедительно, и староста знал, что немец в любой момент может привести свои угрозы в исполнение.

Выдумка Гаплика с заложниками тоже пока не дала никаких результатов. Люди сидели под замком, а в комендатуру что-то никто не являлся, никто не приходил сообщить что-либо о маленьком преступнике. За это тоже придется отвечать ему. Капитан должен найти виновника, ему нужен виновник, чтобы доказать штабу свою исполнительность. И виновником, конечно, окажется староста.

— Что вы там записываете? — крикнул фельдфебель. — Опять весь столбец перепутали, опять начинай сначала. О чем вы, собственно, думаете?

Гаплик подобострастно улыбнулся. О чем он думает? Нет, этого фельдфебелю нельзя сказать. Он еще ниже склонился к бумаге, еще усерднее закрипел пером.

Наконец подсчеты были закончены. За окном стояла черная ночь. Прозвительно выли ветер. Староста медленно застегивал полушубок.

— Проводил бы меня кто до дому, — говорил, наконец, он. Там, перед его домом, стоял часовой, но чтобы попасть под надежную охрану его винтовки, надо было пройти в эту выюжную черную ночь порядочное расстояние по селу. Фельдфебель пожал плечами.

— Что же, вы один до дому не дойдете? Не могу я посылать солдата без распоряжения капитана.

— А вы? — робко предложил Гаплик.

Фельдфебель стукнул кулаком о стол:

— Что вы, в самом деле, думаете? Тут каждую минуту могут позвонить из штаба, а я брошу пост и буду вас водить, как пьянка! Да чего вы боитесь? Тут ночью никто не смеет нос за дверь высунуть. — Староста притих и, не говоря уже ни слова, выскользнул из комнаты. На пороге он приостановился. Со света ночная тьма показалась непроглядной, густой, как деготь, осязаемой. Он постоял с минуту, и только тогда освоившиеся с мраком глаза различили очертания деревьев по другую сторону улицы, контуры крыш и дорогу. Подняв воротник полушубка, он двинулся вперед. Конечно, с ним обращались, как с последней собакой, — горько размышлял он. Всякий имеет право кричать на него, всякий может сорвать на нем гнев и раздражение. Капитан, фельдфебель, любой солдат считает себя выше его, а он должен работать, как лошадь, и беспрестанно рисковать жизнью. Он пугливо оглянулся по сторонам.

Приказ приказом, а в этом проклятом селе все может случиться. Фельдфебель сам боится выйти, дело не в телефоне, просто фельдфебель трусит. А Гаплик безо всяких выгнал в эту ночную тьму, где опасность подстерегает на каждом шагу.

Он старался идти тихо, бесшумно проскользнуть по селу, но снег скрипел и скрежетал под ногами, а ветер, как на зло, минутами стихал, и его шаги паверняка были слышны всему селу. Вдруг ему показалось, что на повороте кто-то стоит. Замерев от ужаса, он остановился. Тень не шевельнулась. Гаплик с трепетом ждал, что будет. У него мелькнула мысль повернуть обратно, перепочевать в комендатуре. Ну, в крайнем случае просидеть там на стуле до утра. Но он боялся повернуться спиной — тогда тот бросится и...

С решимостью отчаяния он двинулся вперед. И тогда оказалось, что это был придорожный куст. Как он мог забыть об этом кусте! Сколько раз ему приходилось проходить мимо него днем!

По тут Гаплик поскользнулся и в ту же минуту почувствовал, что происходит что-то страшное. Он задыхался, что-то застопило ему глаза, заткнуло рот, обмотало голову. Он хотел крикнуть, но крепкий удар свалил его наземь. Гаплик почувствовал, как чьи-то руки поднимают его, несут и он покачивается в воздухе. Скрипел снег, слышалось тяжелое дыхание. Потом скригнула дверь. Его грубо бросили на пол, он почувствовал прикосновение чьих-то рук и понял, что его вяжут.

Накопец тряпка, обматывающая его голову, упала. Он заморгал глазами. Лампочка слабо освещала внутренность хаты и находящихся в ней людей. Он узнал хромого Александра, узнал смуглое лицо Фроси Грохач. В нем все задрожало, лысая голова затряслась, и он никак не мог справиться с этой дрожью.

— Садись, Александр, — скомпановала вся сморщенная, низенькая баба, которой он не знал. — Ты грамотный, надо все записать, чтобы было как следует, по порядку.

Они сели за стол. Прислонившись к стене, он с ужасом смотрел на них. По лицам мелькали тени, снизу на них падал красноватый свет копящей лампочки.

— А ты встань, раз находишься перед судьями, — сказала коренастая баба и энергично высморкалась на пол.

Он с трудом поднялся.

— Тут стап, урод! Ну, чего крутишься? Стой, как человек!

— Многого от него захотела, Терпилиха, — заметила Фрося.

Терпилиха не поняла.

— Должен стоять как следует. Суд так суд. Его бы надо прикончить еще там, на дороге. А мы — пет, мы его судим, как полагается. Так пусть и он поступает как следует.

Гаплик похолодел от страха. Вот он стоит в хате, которой до сих пор не знал, но которая находится под боком у немецкой комендатуры, в селе, уже месяц занятом немцами. Стоит со связанными руками, а за столом сидят бабы и хромой колюх. Объявляют себя судьями и будут судить его, старосту, назначенного немецким командваннем. И это не было страшным сном, это было явью.

— Ну, как твоя фамилия, прохвост? — спросила Терпилиха.

Гаплик хотел ответить, но голос замер в его глотке, и он издал лишь странный писк.

— Ты чего это пишешь? Младенцем притворяешься, что ли? Гляньте-ка на него. Ты дурака не валяй, а говори! Есть когда нам со всяким дерьмом пяньчиться! А ты, Александр, пишывай, все пишывай! Ну, как твоя фамилия?

— Вы же знаете, — пробормотал он угрюмо.

— А я тебя, гадина ты этакая, не спрашиваю, знаю я или не знаю! Суд так суд, раз я спрашиваю, должен отвечать!

— Как фамилия?

— Гаплик, Петр.

— Ишь ты, Петр! У меня отца Петром звали... Нашли тоже кому человеческое имя дать...

— Да подожди ты, тетка Горпина, надо ведь записать...

— И пиши, пиши, все записывай по порядку... Что там дальше?.. Ага! Сколько тебе лет?

— Сорок восемь!

— Сорок восемь... И как только земля сорок восемь лет такую пакость носит... Пиши, пиши, Александр.

— Давно записал. Спрашивай дальше.

— Ага... Что там еще? Да... Староста, а?

— Староста,— подтвердил он мрачно.

— Староста. Пишь ведь чего ему захотелось... А раньше кем ты был?

Он молчал, глядя в землю.

— Что ж ты молчишь, стыдно сказать, что ли? Небось, еще чем похуже старосты?

Он не отвечал, упрямо уставившись на носки своих сапог.

— Эй, ты! А то как дам тебе по уху, сразу заговоришь! Ну, отвечай!

— Подождите, Горпина, я спрошу,— вмешался Александр.

Она уже открыла рот, чтобы возразить, но раздумала и махнула рукой.

— Ну, спрашивай, посмотрим, что у тебя выйдет.

Копюх внимательно рассматривал старосту. Потом тихим, спокойным голосом спросил:

— В дашей тюрьме сидел?

Староста не отрывал глаз от своих сапог.

— Долго сидел?

— Долго...

— Ну, а сколько, примерно?

Молчание.

— За что сидел?

Опять молчание.

— Ты из каких, из крестьян, из рабочих или из господ?

Терпилиха уже хотела вмешаться, но староста неожиданно ответил:

— Из крестьян...

— Ага, кулак?

— Кулак, значит! — с торжеством объявила Терпилиха.— Пишь, захотелось опять мужицкой крови попить!

— Погоди ты, Горпина...

— Чего мне родить? Суд здесь или не суд? Имею такое же право, как и ты! А то и больнее! Кто все время говорил: не удастся! А вот и удалось.

— Верно, верно... Только подожди, я еще хотел спросить...

— Да мне не жалко, спрашивай.

— Так, значит, кулак... Ну, а из тюрьмы когда сбежал?

— Как только война началась.

— Так. Домой пробирался, а?

— Да.

— Где ж это?

— Под Ростовом...

— Так, под Ростовом... А немцев где встретил?

— Там, под Ростовом.

— Там тебя и завербовали?

— Там.

— Погоди-ка, Александр, надо еще спросить, за что он в тюрьме сидел.

На лице обвиняемого появилось выражение непреодолимого упрямства.

— Не скажешь, за что сидел?

Молчание.

— Ты ведь еще до раскулачивания сидел?

— Да.

— Вот как... У Петлюры был? — неожиданно огоршил его Александр.

— Был...

Терпилиха всплеснула руками.

— Вы подумайте!..

— Все ясно,— начал Александр.— Кулак, бандит, петлюровец. С самого начала был против советской власти, а?

— С самого начала,— тихо подтвердил Гаплик.

— И, наконец, пошел на службу к немцам...

Терпилиха выскочила из-за стола.

— Из-за него Левонюка повесили, из-за него пять человек в комендатуре сидят, казни ожидают. Он с немцами ходил, коров из хлева на веревке выволакивал, у меня последнюю увел, а детишки пусть с голоду умирают! У Каласюков, у Мигоров, у Качуров последнюю скотину забрал!

— У Лисей тоже, у Смоляченко,— прибавила Фрося.

— Вместе с немцами все село ограбил и до сих пор грабит!

— Да что тут долго разговаривать, все ясно!

— Тише вы, бабы! — вмешалась Терпилиха, которая шумела больше всех.— Суд так уж суд, надо все говорить.

— Да что же еще говорить-то? Знаем ведь, что и как, каждый день видим, каждый день из-за него люди пропадают, каждый день кровь и слезы льются...

— Ну, так какие же будут предложения? — торжественно спросила Терпилиха.

— Прикончить гада!

— Прикончить!

— Так что, товарищи, поступило предложение прикончить гада. Кто за?

Все руки взметнулись вверх.

— Кто против? Кто воздержался?

— Таковых нет.



— Так что, товарищи, ясно. Александр, запиши и прочитай.

Копюх долго скрипел пером по бумаге. Все молча ожидали. Наконец он поднялся.

— Суд в составе Александра Овсея, Терпилихи Горпины, Грохач Фроси...

— Евфросинья,— поправила она, и Александр наклонился над столом.

— Грохач Евфросиньи, Лемеш Наталья и Пузырь Пелагея, допросив обвиняемого Петра Гаплика, кулака, преступника и немецкого старосту, единогласно постановили приговорить его к смерти.

Гаплик побледнел и вытаращенными глазами оглядел присутствующих.

— Ну, значит, все в порядке,— провозгласила Терпилиха.

— Подождите-ка,— вмешалась Фрося,— приговорить приговорили, а как же мы его кончать будем?

Они ошарашенно поглядели друг на друга.

— А ведь верно, как?

— Повесить бы его,— сказала Пелагея Пузырь.

— Где ж ты его повесишь? Здесь, в хате?

— Пустое ты говоришь. Дать колом по голове, вог и все.

— Застрелить его не застрелишь, не из чего...

— Еще чего нехватало! Чтобы на шум все немцы сбежались...

Гаплика начало трясти. Говорили о нем, обсуждали, каким способом его казнить, будто его здесь и не было, будто он был неодушевленной вещью. Его охватил мучительный страх, он почувствовал приступ тошноты и упал на колени.

— Люди, люди добрые, пожалейте меня! Грешил я против вас, больше никогда не стану!

Он ползал на коленях, колотясь головой об пол у ног женщины. Они отскакивали, как ошпаренные.

— Отвяжись! Ишь, гадина!

Гаплик заплакал. Слезы лились по лицу, оставая на нем грязные полосы.

— Люди добрые, заклинаю вас, детьми вашими закидаю!

— Детми! Из-за тебя, собачье семя, и гибнут наши дети, из-за тебя!

— Меня заставили, силой заставили,— отчаянно всхлипывал, причитал Гаплик.

— А ты не вой, а то вот дам поленом по банке... Ишь ты, заставили его, несчастнейшего... А сам аж до Ростова пер их искать, а?

— Пожалейте, помилуйте...— хрипел он, катаясь по полу.

Они с отвращением смотрели на него.

— Тьфу, глядеть противно, ни тебе жить

не уметь, как человек, ни умереть, как человек не может! — возмутилась Пелагея.

— Слушайте, бабы, печего с ним тут возиться столько времени, а то дождемся, что он нам своим воем накачает немцев на шею.

Александр подошел сзади и накинул на шею лежащего веревку.

— За святое дело,— сказал он и поплевал на ладони. Фрося взвизгнула.

— Тише!

Пальцы Гаплика искривились и впились в глиняный пол. Ноги вздрогнули и вытянулись. Староста был мертв.

— Помогите-ка... Фрося, помоги.

Он ухватил труп подмышки, Фрося взяла за ноги. Терпилиха осторожно выглянула во двор.

Но всюду было тихо, только ветер выл, вздымая тучи снега.

— А ну, давайте поживей, в колодец его...

Во дворе был старый колодец, высохший уже много лет назад. Теперь он был до половины засыпан снегом. Туда и бросили тело. Оно упало мягко, беззвучно. Александр лопатой набросал на него снегу, потом смахнул снег с краев колодца.

— До весны полежит, весной придется вытащить. К утру все снегом занесет и следов не останется.

— А как же теперь домой?

— А вы подождите, незачем по почам таскаться. Раз удалось, второй раз может и не удастся,— возразил Александр.— Место у нас есть, поспите до утра, а утром потихоньку по домам.

Они устроились, как смогли, на скамьях и на полу. Но уснуть было трудно.

— Ты, Александр, смотри, протокол-то хорошенько спрячь, придут наши, надо будет сдать.

— Уж я спрячу, не бойся, никто не найдет.

— Видишь, Александр, вот и удалось,— еще раз подчеркнула Терпилиха.

— Чего ж не уdatься,— пробормотал он, уже засыпая.

## VII

Дверь хлопнула. Федосья вздрогнула и уронила ведро. Вода широкой струей разлилась по глиняному полу кухни.

— Что у вас руки дырявые, что ли? — сердито заорал Вернер, подскакивая, чтобы грязная вода не попала на его начищенные до блеска сапоги.

Она не ответила. Сердце бешено колотилось в груди. Она подтирала тряпкой воду, но руки у нее дрожали, и она по нескольку раз принималась тереть сухие места, оставляя лужи-

цы в углублениях пола. Нет, сегодня она не могла ничего делать. Каждый звук, каждый шорох заставлял ее вздрагивать, как от удара кнута. Вся она была одно напряженное ожидание. Ведь они уже идут, они каждую минуту могут быть здесь.

Ее невыносимо тяготило, что знает только она, единственная во всей деревне, и больше никто. Конечно, оно и лучше, что никто не знает, но как тяжело одной ждать! Сердце замирает, перехватывает дыхание — ведь в любой момент, в любой момент могут прийти...

— А ты подумай, как это устроить, — бросил через плечо Вернер лежащей еще в постели Пусе. Он вышел, еще раз хлопнув дверью, и Федосья опять вздрогнула.

Пуся лежала, закинув руки за голову и прикусив губу. Каким тоном он сказал это! Словно она его раба, которая обязана оказывать ему всевозможные услуги. Он не может найти партизан, хотя у него есть и солдаты, и телефоны, и все на свете, а от нее, с которой никто в селе разговаривать не хочет, требует, чтоб нашла их она. Пуся рассердилась. Слишком много забрал себе в голову. Что же он, думает, что за шелковые рубашки, за эти несчастные чулки имеет право орать на нее!

Она отлично знала, что из разговора с сестрой ничего не выйдет и не может ничего выйти. Они не разговаривали друг с другом еще до войны. Ольга несколько раз приезжала в местечко на какие-то там съезды, учительские курсы и даже не заходила к ней. Видно, считала, что Пуся недостойна посещения. Конечно, это такое преступление, что она не работала, не уродовала рук стиркой, не мыла полов и не сидела над изучением трактора. Ольге хочется, чтобы все было похоже на нее. Она забывает о своем лошадином здоровье и о хрупкости сестры. Ольга не заботилась о том, чтобы быть красивой, кое-как обвивала вокруг головы свои толстые косы. Зимой руки у нее трескались от мороза, летом она загорала, как цыганка. Пуся потянула руку к висевшему над кроватью зеркальцу и стала внимательно рассматривать себя, свои узенькие, выщипанные брови, черные локоны, круглые глаза под черными ресницами, тонкие губы, за которыми виднелись треугольные острые зубки.

Нет, она не годилась для такой работы, какую выполняла Ольга. Да и не было надобности в этом. Сережа служил в армии и получал деньги; на то, что можно было достать в местечке, вполне хватало. А Ольга этого не понимала. Она считала, что Сереже плохо живется. А чем плохо? У него была жена, которая умела хорошо одеться даже в

те жалкие тряпки, какие удавалось достать, она была красиво причесана, ухаживала за руками и выглядела лучше всех этих местечковых дурочек, которые бегали, торопились и вечно что-то делали. А что у них не было детей, что Пуся этого не хотела? Так вот не хотела, и все. Детей и так достаточно. Сережа женился на ней, а не на детях, и когда женился, о детях он ничего не говорил. А Ольге всего этого было достаточно, чтобы относиться к сестре, как к чужому человеку. Так как же она к ней сейчас отнесется? И чего он, собственно, хочет от Пусе?

От Сережи не было никаких вестей с тех пор, как он пошел на фронт, уже целых пять месяцев. Он или погиб, или в плену, ведь не может же быть, чтобы за пять месяцев не дошло ни одно письмо, ни одна открытка. Кто знает, сколько времени продлится война? Что ж, ей ждать год, два или сколько там еще и, в конце концов, подохнуть с голоду? Нет, она поступила вполне благообразно. А что Курт немец, — так что ж такого? Немцы теперь здесь хозяева, немцы управляют и будут управлять. Большевики кончились, это совершенно ясно. И все было бы хорошо, если бы Курт не стал за последние дни таким раздражительным, злым. Он так грубо с ней обращается. Теперь вот требует этого разговора с Ольгой. Пуся знала, что не решится даже попробовать повидаться с сестрой. Но как выпутаться из этой истории? И кто ему сказал, что Ольга ее сестра? Недовольная, она медленно одевалась. Этого еще не хватало, чтобы Курт предъявлял ей требования. Кажется, у него есть разведчики, шпионы, целый аппарат.

Пуся небрежно прикрыла постель одеялом и взяла со стула куртку Вернера, чтобы повесить ее в шкаф. В кармане зашепестела бумага. Пуся оглянулась на дверь и торопливо вытащила бумагу. Это было письмо в длинном голубом конверте, с немецким адресом. Она не умела читать по-немецки, но все-таки вынула письмо из конверта. Этот голубой конверт показался ей подозрительным.

Четыре странички голубой бумаги были исписаны мелким, ровным почерком. Вверху первой странички был приклеен засушенный цветок. Пуся поднесла бумагу к лицу. Она издавала легкий запах каких-то незнакомых ей духов. Не могло быть сомнений — письмо от женщины. Пуся до крови закусил губу. Курту писала женщина, женщина оттуда, из Германии. На хорошей почтовой бумаге мелким, ровеньким почерком. Конечно, письмо могло быть, например, от матери, но цветок?

Ах, чего бы она не дала, чтобы прочесть письмо, чтобы узнать, что пишет Курту эта

незнакомая женщина! Она взглянула на дату. Письмо было написано совсем недавно. Да, письмо пришло, видимо, вчера. На Курте была другая тужурка, и он забыл письмо в кармане. До сих пор она не видела у него никаких писем, никаких фотографий.

«Никаких?» — она задумалась. Ведь у него есть еще бумажник, с которым он никогда не расстается и к которому не позволяет ей прикасаться. Что могло находиться в этом бумажнике? И ведь почту ему приносят не на дом, а в комендатуру. Он может хранить письма и фотографии в том ящике стола, который, уходя, всегда так тщательно запирает на ключ. Что она в конце концов о нем знает? Только то, что он сам о себе говорит. Еще вначале, когда она согласилась уехать с ним из местечка, он дал ей торжественное обещание, что возьмет ее с собой в Дрезден и там они поженятся. Здесь и правда негде обвенчаться, она отлично понимает, что надо подождать. Да это и не так важно.

До сих пор она была совершенно спокойна, — она же чувствовала, что правится Курту. И вот только теперь это резкое требование разговора с Ольгой пробудило в ней иные мысли, заставило ее увидеть некоторые вещи в ином свете. Почему он теперь так редко говорит о Дрездене, так неохотно поддерживает этот разговор, когда она сама начинает его? Почему у него никогда нет времени, почему он так сердит и раздражителен? Она ведь не изменилась, она такая же, какая была вначале, когда они познакомились в занятом немцами местечке, когда Курту отвели комнату в ее квартире. Это Курт теперь другой, Курт изменился, а теперь еще это письмо...

Она вспомнила, что напрасно сидит так, с письмом в руках. Прочсть его она все равно не может. А если войдет Курт, будет скандал. Он вечно твердил ей, чтобы она не трогала бумаг, никаких бумаг.

Пуся вложила голубой листок в конверт и повесила куртку в шкаф. Она решила внимательно следить за Куртом. Она непременно узнает, кто ему пишет и действительно ли его резкое обращение с ней объясняется переутомлением и первичностью, или это что-то другое.

Федосья в кухне гремела посудой, и эти звуки невыразимо раздражали Пусю.

— Вы бы потише! — крикнула она высоким, срывающимся голосом.

Федосья заглянула в открытую дверь, и Пуся поймала очень страшный взгляд. Нет, это не была та холодная ненависть, презрение, какое она до сих пор видела в глазах крестьянки. Теперь в этих глазах светилось торжество, какая-то радость, они блестели,

как никогда. Пуся рассердилась. Чему это она обрадовалась? Наверно, подслушивала у дверей и слышала, каким тоном говорил Курт. Вот Курт, — даже эта баба заметила, даже она уже злорадствует!

Она вспомнила, что может отомстить старухе. Она еще не сказала Курту, что сын Федосьи лежит убитый в овраге. Дня два она молчала сознательно, чтобы помучить Федосью, а потом просто забыла, когда Курт стал приставать к ней и требовать разговора с Ольгой. Но теперь заговорила злость.

— Подождите, сегодня я скажу мужу, как только придет, скажу, — пригрозила она.

Федосья рассмеялась злым смехом и, упершись руками в бока, сверху вниз глянула на нее.

— А мне-то что! Скажи, скажи «мужу»! — дерзко ответила она, с издевкой подчеркнув слово «муж». — Скажи, я и сама могу сказать, а то у тебя что-то не получается. Скажи, хоть сто раз скажи! Одевайся, беги в комендатуру, да поскорей!

Пуся смотрела на нее широко раскрытыми, изумленными глазами.

— Да вы что?

— А я ничего! Чего ты так удивляешься? Ты хотела сказать, вот я и говорю, — скажи, мол. На то ты ведь и живешь, чтобы шпионить, чтобы немцам лбедничать! Ну и беги, говори, что знаешь!

— И скажу, так и знайте, скажу.

— Я и говорю — скажи. Что ты все грозишь да грозишь? Меня этим не напугаешь.

— А его у вас заберут.

— Пусть забирают. У меня уж его забрали месяц назад. Больше не могут отобрать.

— Зачем же вы ходите туда каждый день?

— Хожу и хожу. Мое дело. А заберут — не буду ходить.

— Курт велит вас арестовать, вы отлично знаете, что туда не разрешают таскаться.

— Вот напугала! Боюсь я вашего ареста! Так прямо и тряусь со страха...

Федосья вошла в комнату. Она уже не смеялась. Темные глаза смотрели грозно.

— Ты бойся, ты! Слышишь? Ты дрожи ты плачь от страха!

Пуся съежилась на скамье.

— Что с вами? Мне-то чего бояться?

— Всего бойся! Людей бойся, они тебе не простят! Воды бойся: захочешь в нее броситься — она выкинет тебя! Земля бойся: спрятаться в нее захочешь, она тебя не примет. Моему Васе лучше там в овраге лежать, Левонюку лучше в петле висеть, Олене было лучше голой по морозу бегать под немецкими штыками, всем лучше, чем тебе будет! Ох, позавидуешь ты им еще! Кровавыми слезами будешь плакать, что ты не на их месте! Ст

раз пожалеешь, что не тебя задушили на виллице, что не тебя штыками закололи, не тебя расстреляли!

Она задохнулась от гнева, ненависти и дикой радости, что свои уже идут, уже приближаются, что, быть может, в эту самую минуту, когда она кричит это прямо в побелевшее лицо изменницы, у околицы уже раздаются выстрелы.

— Уходите отсюда, — задыхающимся голосом прошептала Нуся. — Немедленно уходите! Федосья еще раз издевательски рассмеялась.

— Могу выйти, не велика мне радость на твою рожу глядеть. Ты еще припомнишь, как меня из моей собственной хаты гнала!

Она выпла, так хлопнула дверью, что с белеющей стены посыпалась известка.

— А ты беги, жалуйся своему, что я кричу на тебя! — ворчала она про себя, подкладывая щепки в печь. — Недолго ему о тебе думать, недолго! Придется подумать кое о чем другом. Может, даже нынче.

Но Курт вовсе и не думал о Нусе. Взбешенный, он шел в комнату, и солдаты, видя его скатые губы и складку на лбу, вытягивались больше, чем обычно. Фельдфебель вскочил из-за стола.

— Из штаба звонили?

— Так точно, господин капитан.

— Почему же не дали мне знать?

— Не приказано было, господин капитан.

— Как, не приказано?

— Сказали: не надо.

— Зачем же тогда звонили?

— Спрашивали, дала ли уже арестованная показания.

— А вы что сказали?

— Доложил, что она никаких показаний не дала.

— И еще что? — В голосе капитана зашипели ядовитые потки.

Фельдфебель поблдеел:

— Так точно, и еще... Еще доложит...

— Ну, что еще доложил?!

— Еще... Доложил о казни арестованной...

— Кто вам разрешил это докладывать? Кто разрешил уведомлять? Кто вам это поручил, а? Я, может, я?

Наклонившись вперед, он маленькими шагами приближался к вытянувшемуся перед ним человеку. Фельдфебель не посмел отступать.

— Я вам это приказывал, поручал?

— Никак нет, господин капитан!

Тяжелая рука обрушилась на его щеку: капитан размахнулся наотмашь и ударил изо всей силы.

Фельдфебель качнулся, но продолжал

стоять, вытянувшись и глядя прямо в глаза Вернеру.

— Кто приказал, кто позволил? — шипящим голосом спрашивал офицер, снова замалчиваясь.

На щеке фельдфебеля проступило красное пятно. Белый отпечаток пальцев быстро плавился кровью, темнел.

— Где староста? Приходил сегодня?

Фельдфебель, не моргая, напряженно глядел в глаза капитана.

— Еще не приходил.

— Сколько хлеба принесено?

— Никак нет, хлеба нет. До сих пор никто не явился.

Вернер выругался.

— А по делу мальчика?

— Никто не явился, господин капитан.

Капитан яростно двинул стулом, сбросил со стола промокательную бумагу. Фельдфебель быстро наклонился, поднял ее и положил на стол, на то же место, где она лежала.

— Ищите за старостой! Немедленно!

— Слушаюсь, господин капитан!

Щелкнув каблуками, фельдфебель вышел. Вернер открывал ящики, стремительно выбрасывал из них бумаги. Глаза застилал красный туман бешенства. Проклятая баба не сказала ни слова, и не сказала бы, хоть год веди следствие. Сто раз бы подохла, а не сказала. Но там, в штабе, решат, что он поторопился, поступил легкомысленно, что он выпустил из рук единственный след, который мог бы довести до неуловимого, как ветер, таинственного партизанского отряда, нападающего на села в районе действия штаба. А этот идиот не выдумал ничего умнее, как поспешно уведомить, что с бабкой покончено. Ну, и ясно, те даже не велели звать его к телефону, просто поговорили за его спиной с его подчиненным. Конечно, там роют ему яму и ведут интригу во-всю! А тут, вдобавок, до сих пор нет хлеба. Прошли почти сутки, а никто не пришел, никто не признался, где спрятано зерно. Этот идиот староста уверял, что они испугаются... Вот тебе и испугались! Хорошо им там в штабе говорить — староста, староста, а староста оказался совершенно бесполезным человеком, ничего не умеет сделать, ничего не добился, не имеет на село никакого влияния.

Фельдфебель снова щелкнул каблуками у дверей.

— Ну!

— Господин капитан, разрешите доложить: старосты нет!

— Как нет? Я же сказал — послать за ним!

— Разрешите доложить: я сам там был — старосты нет.

Капитан пожал плечами:

— Куда же он ушел?

— Разрешите доложить — неизвестно.

Вернер вскипел:

— Да ты что, белены объелся? Я тебе его буду искать?

— Господин капитан, разрешите доложить: мы уже всюду искали. Вчера вечером староста долго сидел здесь, мы с ним подсчитывали предполагаемые запасы зерна в деревне. Около двенадцати часов почти староста пошел домой. Домой он не приходил, и никто его больше не видел.

— Всюду спрашивали?

— Так точно, господин капитан.

— Сбежал?

— Так точно, господин капитан, вероятно, сбежал.

— Ну, вот тебе, — мрачно сказал Вернер, остолбенело глядя на телефон. — Что же теперь будет?

— Разрешите доложить: не знаю.

— Идиот! — заорал капитан. — На что он нам был нужен, этот староста? В чем он нам помог? Что он сделал? Что устроил? Ну?

— Действительно, господин капитан...

— Ага, действительно... Садитесь и пишите рапорт в штаб, что староста бежал. Пусть присылают другого, может, найдут поумней.

Фельдфебель вышел в другую комнату и взял бумагу. Он писал рапорт о бегстве старосты и донос на капитана, который хотел скрыть от штаба казнь арестованной Олены Костюк.

— Заузе!

Он вскочил, на ходу ловким, привычным движением сбросив в ящик начатый донос.

— Кто патрулировал эту ночь в деревне? Допросите их всех.

— Я уже допрашивал, господин капитан, никто ничего не знает.

— Нечего сказать, хорошие порядки! Окачивается, можно разгуливать взад и вперед, выходить из деревни, а наши посты «ничего не знают». Этак нас в один прекрасный день вырежут, как барапов, со всеми нашими постами! Как они могут ничего не знать? Ведь не по воздуху же он улетел, а ушел из деревни! Что они делали? Спали?

— В такой мороз спать невозможно. А вьюга страшная, человек, хорошо знающий местность, может проскользнуть. Надо бы расставить посты вокруг всей деревни.

— Я вас не спрашиваю, что надо, чего не надо! Кого это вы будете расставлять? Где у вас столько солдат? А сами-то вы куда глядели? Что, вы не знали, что старосту надо держать под особым присмотром?

Фельдфебель внемлил, что староста просил проводить его домой. Он, видимо, боялся ходить по почам. Так что, пожалуй, и бежать

ночью побоялся бы. Но он предпочел не говорить об этом капитану, чтобы не разъярить его еще больше. Фельдфебель чувствовал себя виноватым — надо было все-таки проводить этого Гаплика.

— Воюй тут с вами! Банда идиотов! — ворчал капитан.

Фельдфебель, вытянувшись, ожидал у порога.

— Ну, что же вы? Пните, пишите, обрадуйте их, пишите! Хорошего мне помощника подобрали, нечего сказать!

Фельдфебель вышел и припился торопливо приписывать к доносу новые замечания, матерпал для которых дали слова метавшегося в бешенстве Вернера. Он то и дело прикладывал руку к красной, горевшей огнем щеке.

— Дежурьте у телефона, я пойду пройтись.

— Осмелюсь доложить, господин капитан, страшный мороз...

— Без вас знаю, ведь я шел сюда, — буркнул капитан и поднял воротник.

Ветер притих, но мороз еще усилился. Снег скрипел под ногами. Солнца не было, но снег резал глаза ослепительным блеском. Вернер остановился у порога и с печавностью взглянул на село. Оно лежало, словно в луховой перине, в снежных сугробах, тихое, спокойное на вид. На крышах толстые шапки снега. Лишь кое-где ветер обнажил соломенные кровли. Ни следа жизни. Тут и там суетились пемешкие солдаты, и больше ни звука, ни движения — мертвая тишина. Даже собаки не лаяли. Впрочем, солдаты перестреляли их в первый же день. Собаки бросались на них, не пуская в хаты. Собаки были такие же дикие, как и люди.

Затаенной угрозой поваяло на капитана от этого с виду спящего села. Нет, уж лучше было на фронте лицом к лицу драться с врагом. И это пазывалось отдыхом — сидеть здесь и паводить порядок в занятом селе. Хорош порядок — уж месяц, как отогнали большевиков, а до сих пор сделать ничего не удалось. Решительно все, все планы, все распоряжения разбивались о негнибаемое, упрямое, молчаливое сопротивление. Чего собственно добиваются эти тупые люди, неужели они не понимают, что в конце концов припуждены будут сдать, что, если бы даже пришлось истребить их всех до последнего, все равно все пойдет своим чередом, все пойдет по заранее обдуманному пемцам ппапам? Нет, этого они не хотят понять. Повидимому, они действительно верить в победу большевиков.

Откуда-то издадека допесся звук мотора. Капитан опустил воротник и прислушался. Летел самолет. Рокот мотора звучал в чистом

воздухе тоненько, как жужжание комара. Но звук парастал, усиливался. Капитан, заслонив рукой глаза от сверкания снега, всматривался в небо.

— Вот там, господин капитан, — решил показать часовой у дверей комендатуры.

Вернер обернулся туда, куда ему показали. Да, вот он летит, комар, потом муха, растет, увеличивается в глазах.

— Наш? — спросил капитан тоном полувопроса, полуутверждения.

Часовой прислушался:

— Должно быть, нет, господин капитан. Другой мотор.

Вернер забеспокоился. Уже месяц в окрестностях не появлялся ни один неприятельский самолет. Неужели они опять зашевелились?

Из дому вышло несколько солдат.

— Большевикский, — сказал один из них.

Улица уже не была пустой. Слово из-под земли появились люди. Перед хатами стояли женщины, высыпали гурьбою дети. Все, закрывая глаза руками, смотрели вверх.

— Мама, наш! — пронзительным голосом закричал Саша.

Малючиха схватила его за плечо:

— Наш?

По ни у кого уже не оставалось сомнений. Самолет летел низко, совсем низко. И в ярком блеске снежного дня все увидели безошибочный знак — красные звезды на крыльях.

Малючиха опустила на колени. Вслед за ней все бабы, как одна, попадали на колени. Дети, забыв обо всем, выбегали на середину улицы, задирали головы, махали руками.

— Наш! Наш! — радостно пиццали они. По сосредоточенным, торжественным лицам женщин текли слезы. Над селом летел самолет, свой самолет, несущий на крыльях братский привет и весть с востока, знак свободы — красную звезду. Первый свой самолет за весь месяц. Первый самолет, который не был мрачным воем смерти — прерывистым, одышливым воем немецкого мотора, первый, на крыльях которого не было черной свернувшейся змеи — свастики.

Капитан услышал крики детей. Он взглянул на дорогу и увидел зрелище, какого не видел за все время своего пребывания в селе. Всюду было полно народа. Перед хатами стояли на коленях женщины, на дороге, словно стая воробьев, прыгали дети, старики махали руками несущейся в вышине птице. Он задрожал от гнева.

— Разогнать эту баню! — заорал он солдатам. Те не поняли. Вернер выхватил револьвер и выстрелил в толпу детей. Щелкнул выстрел, за ним другой. Но капитан промахнулся. Рука дрожала от досады. Дети рассыпались, как стая воробьев от внезапно бро-

шенного камня. Женщины кинулись за ними. В одну минуту всех точно ветром сдуло, все исчезло. Двери торопливо захлопывались, и не успел капитан оглянуться, как село опять опустело, словно вымершее. Нигде не было ни души.

— Что же вы, болваны, не слышали, что я сказал? — накинулся он на остолбеневших солдат, взбешенный тем, что все видели, как он стрелял и промахнулся, промахнулся с такого близкого расстояния. — Стойте и преспокойно смотрите на враждебные демонстрации. А что же с зенитками, где зенитки?

Как раз в этот момент загредело зенитное орудие. Спаряд темным облачком разорвался далеко позади самолета. Другой еще дальше. Самолет поднялся немного выше и исчез вдаль.

— Тоже во-время собрались! Соли ему на хвост насыпать... Заснули, что ли? — заорал он на подбегающего унтер-оффцера.

— Господин капитан, разрешите доложить: мы думали наш... А потом...

— Все бабы в деревне узнали чей, только вам что-то показалось! Да я вас всех...

— Первый самолет, господин капитан, — пытался оправдаться унтер-оффцер.

— Молчать! Тебя не спрашивают! Первый самолет! Вот как он спустит вам бомбу на батарею, будет тогда первый самолет! Дураки!

Капитан отвернулся и, кипя от негодования, направился обратно в комендатуру. В нем все дрожало от бешенства. Проклятый день, проклятые дни!

— Ну что, староста не нашелся?

Испуганный фельдфебель вскочил из-за стола.

— Господин капитан, не было приказания продолжать поиски...

Вернер гневно фыркнул и сел. Ну, конечно, идиот на идюте, никто ни о чем не думает... А ответственность ляжет на него одного, уж приятели в штабе постараются услужить ему.

Тут ему пришло в голову, что если неприятности начнутся, то могут быть дополнительные неприятности и из-за Пуси. Это прибавят к его либеральному обращению с населением.

«Надо будет сплавить ее», — нехотя подумал он.

Ему ничего не хотелось делать. Его, боевого офицера, нагружают хозяйственными заботами, заставляют наводить порядок в этой проклятой деревне. Что тут можно сделать? Груды бумаг, бумажек, бумажонок, из которых выкарабкаться невозможно. Староста с фельдфебелем без конца рылись в колхозных книгах, но из этого тоже ничего не вышло. Армия требовала хлеба, мяса, жиров. Но хит-

рые большевики угнали колхозные стада еще осенью, а тех немногих коров, которые остались во дворах, едва хватило для своего отряда. Ну, а хлеб либо вывезен, либо так спрятан, что его никакими силами не раздобудешь.

— Ну, как заложники?

— Сидят, господин капитан.

— Есть им дали?

— И-нет... Никак нет, господин капитан.

— Пить?

— Тоже нет,— еще тише буркнул солдат.

— Это хорошо, это очень хорошо... Ни крошки хлеба, ни капли воды! Они не хотят нам дать есть, и мы им не дадим есть... Хотят подышать, пусть подышают. Невелика потеря...

Нет, он не мог высидеть в хате. Он снова вышел. Подумал было — не зайти ли домой, но при мысли о Пусе его охватила скука. Он повернул к позициям, где стояла артиллерия. Артиллерия была его слабостью, хотя он не был специалистом в этой области. Теперь он решил дать себе разрядку, устроить небольшое учение оружейной прислуге.

Несколько минут спустя на площади уже слышался его резкий голос, выкрикивающий команду и ругательства по адресу солдат.

— Бесится,— заметил один из солдат в комендатуре.

— Как же ему не беситься... Хлеба нет как нет, да еще староста сбежал...

— Ловкач...

Фельдфебель подозрительно взглянул на горювшего.

— Что это, ты вроде завидуешь старосте?

— Чему завидовать, господин фельдфебель? — спросил солдат, невинно глядя в голубые глаза фельдфебеля. — Далеко не убежит, наши его поймут.

— Если он бежал в тыл,— прибавил другой.

— А если вперед — большевики с него шкуру сдерут. Нет, уж ему-то завидовать нечего.

— Если его попросту мужики где-нибудь не кокнули.

Фельдфебель вздрогнул.

— Что ты болтаешь? Как мужики могли его кокнуть? Он до поздней ночи сидел здесь, а домой вообще не вернулся.

— По дороге, например...

— Ночью тут никто не ходит. Был ясный приказ! — резко прикрикнул фельдфебель.

Солдат искоса взглянул на него, но промолчал. Не мог же фельдфебель за одни сутки забыть, что, несмотря на приказ, несмотря на патрули, какой-то мальчик прокрался к сараю, а потом, как это ни страшно, труп этого мальчика исчез необъяснимым обра-

зом, хотя, как известно, трупы сами по себе с места на место не переносятся.

— И вообще, что это за разговоры? Делайте свое дело! — рассердился фельдфебель.

Солдаты притихли. Фельдфебель умел дупить по морде не хуже капитана. А так как ему сегодня попало,— на его щеках еще виднелись багровые следы пальцев,— то он в любой момент мог сорвать злость на ком попало.

— Где Нейман?

— Пошли искать мяса.

Фельдфебель пожал плечами.

— Искать мяса... Что, они не знают, где коровы?

— Коров уже почти нет, господин фельдфебель, ведь господин капитан десять голов отправил позавчера в штаб. Они пошли кур искать.

Фельдфебель пожал плечами и углубился в бумагу, ожидая, не позвонят ли из штаба. Он тихо злорадствовал. По морде-то бить легко, а вот достать хлеб, которого требует штаб, труднее. И нащупать, где находятся партизаны, тоже нелегко. Он знал, что капитана ожидают крупные неприятности. И хотя, работая вместе с ним, он отлично понимал, что здесь никто бы не мог ничего сделать, но все же радовался, что Вернер сломает себе шею на этом деле. Слишком уж он задира лос, слишком мало думал о службе и слишком много о своей похожей на крысу любовнице. Теперь ему за все придется расплачиваться.

Глухая злоба нарастала в сердце фельдфебеля еще с того дня, когда, войдя в местечко, они с капитаном ворвались в квартиру, откуда стреляли из окна во время отступления красных. В квартире они никого не застали, но фельдфебель нашел в шкафу чудесную серую меховую шубку. Как раз на другой день можно было отправить посылку — Мицци так просила шубку. Но капитан отнял ее у него для своей обезьяны. А теперь вот они сидят в селе, где тут взять шубку? Ничего, кроме вопочих полушубков, нет. Мицци мерзнет в плохоньком пальтишке, а канигчская любовница разгуливает в шубе. Фельдфебель не мог вспомнить об этом без злобы и постоянно придумывал, что бы еще сообщить в штаб о капитане. Там Верпера тоже не любили за то, что он задира лос, считал себя лучше всех. А чем он лучше? Фельдфебель Заузе никогда не забывал о том, что сам фюрер был в свое время фельдфебелем. Лучи фюреровой славы падали и на фельдфебеля Заузе, и он не простит ни отнятой у него капитаном шубки, ни пощечины, которую, впрочем, он получал не в первый раз.

Капитанские окрики доносились от церкви

и сюда, и Заузе злобно усмехнулся. Кричи, кричи, так тебе это и поможет!

По селу шумели солдаты. Они толпой ходили по хатам. Они бы страшно возмутились, если бы кто-нибудь упрекнул их в трусости. И все же даже среди бела дня им было не по себе в этом проклятом селе, и они предпочитали ходить кучками.

Грохачиха отворила дверь на стук, угрюмо, но смело оглядела лица солдат. Девочки спрятались в углу хаты.

— Чего?

— Кур, кур давай!

— Кур нет, вы уже все сожрали.

Не понимая слов, они поняли смысл их, но не поверили. Они разбрелись по двору, заглянули в курятник, в пустой хлев, разбросали солому в пустом сарайчике, будто там могли сидеть куры. Она пожимала плечами, глядя на их суетню.

— Ничего нет,— сказал солдат, порывшись в соломе.

Они пошли дальше, от избы к избе, от избы к избе.

— Кур, кур давай!

Единственная курица, которую Банючиха прятала под печкой от реквизиции, не вовремя закудахтала на свое несчастье. Немцы с торжеством извлекли ее из-под печки. Она вырвалась из рук и в испуге вскочила на око, колотясь крыльями о стекло.

— Заходи, заходи с той стороны!

Курица с пронзительным криком бросилась в сени и вылетела во двор. Солдаты кинулись за ней. Она неслась с распростертыми крыльями, взбивая сыпкий снежок. Один из солдат выхватил револьвер и выстрелил. Простреленная, превращенная в кровавый комок, птица осталась на снегу. Солдат схватил ее за ноги и победоносно потряс ею в воздухе.

Они переходили от избы к избе. «Кур, давай кур!» — раздавался то тут, то там требовательный, назойливый голос.

Их замечали издалека. Кто успевал, поспешно прятал все, что можно было спрятать. Кур совали под печку, под кровать, под перины, на чердаки. Немцы искали, прищипывались, как голодные собаки. Но добыча была очень небогатая. Наконец они решили, несмотря на отсутствие соответствующего приказа, вывести из хлева одну из немногочисленных оставшихся в селе коров. Локутиха заливалась слезами и ломала руки. Ее оттолкнули так, что она чуть не упала.

— Пеструшка! Пеструшка!

Корова смотрела кроткими, влажными, как только что очищенные каштаны, глазами. Ее тащили на веревке, но она упиралась. Сверкающий снег слепил ей глаза. Не желая преступить через высокий порог, корова при-

пала на передние ноги. Один из солдат рванул ее за хвост, и она жалобно замычала.

— Стельная же корова, стельная,— кричала Локутиха.— Люди милые, что ж это делается на белом свете! Стельная корова!

— Не кричите, мама,— мрачно сказал ей старший сын, десятилетний Савка, исподлобья глядя на немцев.

— Да что же я вам есть дам, детки мои родные, да чем же я вас прокормлю! Ничего не осталось, одна Пеструшка, да и ту уведят! Ох, помрут мои дети, с голоду помрут.

— Да не кричите же, мама,— еще суровее одергивал ее Савка.

Корова переступила, наконец, через порог. Ее толкали, тащили, осыпали ударами. Локутиха бежала рядом, стараясь хоть еще раз коснуться вздутого бока своей кормилицы.

— Пеструшка, Пеструшка!

Корова оглянулась на хозяйку большими влажными глазами и жалобно, протяжно замычала.

— Родимая ты моя! Скотинка, а понимает, что делается! Пеструшка!

Она бежала, путаясь в длинной юбке, красная, заплаканная, забыв о немцах, обо всем окружающем, пока, наконец, ее не толкнул кто-то, да так, что она со стоном упала на снег. Савка широким мужским шагом подошел к ней.

— Говори я вам, мама... Поможет вам это, что ли? Встаньте, мама, встаньте, разве можно! Мороз-то какой!

Она уткнулась лицом в снег, захлебываясь от рыданий. Слабыми детскими руками Савка пытался приподнять ее.

— Что теперь будет, что теперь с нами будет?

— Да тише вы,— рассердился оп.— Сколько коров позабирали, а никто такого крика не поднимал, как вы.

— Да ведь пятеро вас у меня,— оправдывалась она.

— У других и по восьмеро...

— Да не учи ты меня, Христа ради. Как ты с матерью-то разговариваешь?

— Идите, идите-ка лучше в избу. Вон там Пюрка орет, чуть не зашлась.

— Орет, говоришь?

Шедесть обмерзшим подолом юбки, она кинулась к хате. Савка тяжелой походкой уставшего мужчины двинулся за ней.

Толпа солдат, подгоняющая корову, исчезла за домом сельсовета. Там, в сарай, немцы устроили нечто вроде небольшой бойни. Через несколько минут обгоревшая дымящаяся туша уже висела на поперечной балке потолка.

Тем временем на площади Вернер успел уже устать от собственного крика и вернулся к себе.



— Господин капитан, разрешите доложить: реквизировали корову, — отпартовал фельдфебель. Капитан махнул рукой. Эти хозяйственные дела смертельно надоели ему. Сегодня корова, завтра корова, но что будет через несколько дней? Командование отдало строгий приказ, чтобы части снабжались в деревнях, где стоят. Не прошло и месяца, а деревня опустошена дотла. Съедены уже все гуси, куры, утки, все свиньи. Осталось еще несколько несчастных коров. Что же будет дальше?

— Ну, как там, какое-нибудь продовольствие прислано?

— Вино и шоколад, господин капитан.

— А кроме вина и шоколада?

— Ничего кроме, господин капитан. Позавчера нам еще раз напомнили о приказе, чтобы снабжаться из местных ресурсов. Вино и шоколад послать вам на квартиру?

— Пошлите, только чтоб по дороге не сожрали.

— Никак нет, все в запечатанном ящике.

Вернер застегнул шинель и медленно скручивал папиросу, о чем-то размышляя.

— Да, вот что, Заузе...

— Слушаю, господин капитан!

— Снабжение производится без всякого порядка. С сегодняшнего дня за снабжение отвечаете вы.

— Слушаюсь, господин капитан, — сказал фельдфебель. Его лицо искривилось от злости. Вернер был уже в дверях.

— Господин капитан!

— Ну, что еще?

— Вы разрешите реквизировать в соседних селах?

Тот пожал плечами.

— Не валяйте дурака! Те села назначены другим частям. Вы это прекрасно знаете.

— Здесь уже ничего нет, господин капитан.

— Легче всего сказать — ничего нет! Нет, так надо поискать, понимаете? Поискать надо! Будете хорошо искать, не беспокойтесь, найдете!

Он вышел, хлопнув дверью.

## VIII

Пуся вышла из дому и решительно огляделась по сторонам. Она чувствовала, что это не имело ни малейшего смысла, но Курт настаивал, настаивал все резче и грубее.

— Ведь это твоя сестра. Неужели ты не сумеешь столковаться с родной сестрой? Ты просто не хочешь! Что ж, придет время и я чего-нибудь не захочу...

Пуся испугалась. Ведь, она была в зависимости от Курта. А что если ему вздумается

бросить ее в этом селе, где все смотрят на нее, как на врага?

Засунув руки в рукава шубки, она медленно шла по улице. Предстоящий разговор был совершенно безнадежен. Не могла же она сказать Курту, что уже говорила раз с сестрой, если можно назвать разговором тихий скандал, происшедший между ними дотчас после Пусиного приезда в деревню. Ведь Ольга просто плюнула ей в лицо, а единственное, что Пуся узнала, были вылетевшие в гнев слова о Васе, лежащем в овраге. Ольга хотела оскорбить ее, унижить тем, что она живет в хате женщины, сын которой погиб в бою. Какое отношение это имеет к ней, Пусе? Но Ольге казалось, что имеет. Ольга покричала и ушла. Вот и все. Ну как теперь к ней идти, как разговаривать с ней?

Ветки придорожных деревьев серебрились от инея, снег искрился и переливался на солнце, утомляя глаза резким блеском. Пуся вздохнула и подумала о Сереже. Нет, Сережа никогда не кричал, никогда не сердился на нее, разве только вздохнет и задумается. Но теперь нечего вспоминать Сережу, теперь ее муж Курт.

Ее охватила гнев. Как он смеет? Но она знала, что смеет и что ей ничего не поделать. Она относилась к Курту совершенно так же, как и к Сереже. Значит, это не ее вина, — они оба совсем разные, непохожие друг на друга.

Уже близко хата, в которой живет Ольга. Еще несколько шагов. Что делать? Постучаться и войти? Нет, это невозможно. Пуся постояла с минуту в нерешительности, но мороз, несмотря на теплую обувь, больно щипал пальцы ног, и она повернула обратно. Пусть Курт делает, что хочет, пусть кричит, пусть злится — нет никакого смысла еще раз выносить злые, презрительные слова Ольги. Если бы еще это могло к чему-нибудь привести, но ведь ничего, решительно ничего не выйдет из этого разговора. Она прошла несколько шагов и слова заколебалась. Что делать, как поступить? Уж лучше бы они убили Ольгу, как убили Олену. Не было бы всех этих хлопот и скандалов.

Пуся оглянулась на хату, где жила сестра, сердце ее неприятно вздрагивало — из дверей кто-то вышел. Она затопталась на снегу, словно пойманная на месте преступления, и искоса посмотрела. Нет, это была не Ольга, а ее хозяйка. Женщина стояла у дверей и, заслонив глаза от солнца, пристально вглядывалась вдаль. Потом она приоткрыла дверь в хату и что-то крикнула. Тотчас вокруг нее образовалась группа людей, все они заслоняли глаза от ослепительного блеска снега и солнца и смотрели в одном направлении.

Федосья Бравчук тоже вышла, заметив движение на улице. Она взглянула туда, куда глядели все. Сердце у нее на минуту остановилось и вдруг заколотилось, бешено, стремительно, как язык набатного колокола. По дороге, медленно приближаясь к деревне, шли люди. Они шли сомкнутыми рядами, на солнце поблескивали штыки.

— Немцы идут! — заговорили у хат.

— Мало их тут было, новых нам надо...

— Уж не думают ли они, что найдут у нас жратву?

— Это не немцы, — натянутым, как струна, срывающимся голосом сказала вдруг Бабочиха. — Родные вы мои, да посмотрите же, это не немцы!

— С ума ты сошла, что ли, кто же кроме них может быть?

— Наши, боже милостивый, наши идут...

— Смотрите хорошенько, бабы, как же наши могут так идти? Среди бела дня, прямо по дороге?

— Мама, да ведь звезды на шапках, звезды! — тонким голоском крикнул Гриша Бабочих.

— Что ты говоришь? Ты видишь, хорошо видишь?

Яркий блеск слепил глаза и мешал смотреть. Они отчаянно напрягали зрение, пытаясь разглядеть подходоивших.

— Наши? Немцы?

— Какое там наши, — почудилось Гришутке... Смотрите, немцы спокойно стоят на постах и не думают стрелять...

— А Гриша прав, — объявил вдруг Александр, — шанки наши...

— Наши?

— Только радоваться-то печему, приглядитесь-ка, теперь видно.

По дороге шел отряд красноармейцев. Собственно не шел, а тащился по снегу, а рядом двигались вооруженные немецкие конвоиры.

— наших пленных ведут, — пропесня отчаянный шопот.

— наших ведут...

На улице собиралось все больше народу. Толпа широко раскрытыми, полными ужаса глазами смотрела на приближающуюся группу. Уже ясно было видно, что люди идут с трудом, с мучительными усилиями. Сопровождавшие их солдаты грубо покрикивали на них.

— Боже милостивый, я раненых ведут...

— Валенки у них забрали, босиком идут...

— Весь в крови, смотри, Сося...

Проходивший мимо немец свирепо заорал на толпившихся перед хатами людей, но они не обратили на него внимания и продолжали сосредоточенно глядеть на приближающееся шествие.

— Боже милостивый...

Те уже вошли в село. Теперь можно было вблизи рассмотреть измученные, смертельно бледные, поспевшие лица пленных. Красноармеец во втором ряду едва тащился, шатаясь, как пьяный.

— Эй ты! — кричал на него конвоир, и раненый выпрямлялся, пытаясь идти, как другие. Кто-то из его товарищей осторожно поддержал его, когда он сильнее покачнулся. Но тотчас же на поддерживающую руку обрушился внезапный и быстрый удар приклада. Рука безжизненно повисла вдоль туловища, как сломанная ветка.

— Боже милостивый...

Они с трудом волочили израненные босые ноги, оставляя на снегу кровавые следы. Они падали и тяжело поднимались, опираясь на руки. На них сыпались удары прикладами.

Пуся стояла и смотрела, как и все. Она увидела бледные, странные лица с лихорадочно горящими глазами. Застывшую рыжую кровь на перевязках, сделанных из первых попавшихся тряпок. Почерневшие обмороженными ногами. Обычная бессмысленная улыбочка застыла на ее губах.

— Не смейся! — услышала она над самым ухом и в испуге отскочила. Это была Ольга. Со стиснутыми губами, со сжатыми кулаками, с бровями, сошедшимися на переносице, смотрела она на проходивших пленных. И вдруг сквозь красный туман, застилавший ее глаза, она разглядела узкое, бледное лицо сестры, блеск сережки над меховым воротником и улыбочку, прилепившуюся к накрашенным губам.

— Не смейся!

Пуся отступила. Перед самыми глазами она видела большие, расширенные от гнева глаза Ольги и ее дышащие гневом губы.

— Я не смеюсь, — ответила она невольно.

— Смеешься, — сказала Ольга и изо всех сил ударила по этой застывшей бессмысленной улыбочке, по этому бледному лицу, по лицу офицерской любовницы. Пуся взвизгнула, как щенок, съезжилась и вдруг, разразившись слезами, пустилась бегом домой, спотыкаясь, путаясь в полах длинной шубы, хватаясь руками за голову.

А те все шли. Вот они поровнялись с толпой. Лихорадочные, горящие глаза устремились на стоявших перед хатами женщин.

— Хлеба, — сказал один из них. Удар приклада обрушился на его голову. Но тотчас отозвался другой:

— Хлеба... Мы неделю не ели...

— Господи, господи милостивый, — простонала Бабочиха.

И все бросились по избам, кинулись в чуланы, дрожащими руками доставали из узел-

ков, из горшечков, из тайников за образами все, что у них еще оставалось из еды.

— Давай, давай, о боже милостивый, скорей, скорей же!..

Первая выскочила Банючиха. Не обращая внимания на конвой, она бросилась к рядам. В руках у нее была темная краюха хлеба, последняя горбушка, которую она прятала для детей.

— Прочь! — заорал немец, но она ничего не слышала и не видела. Она оттолкнула солдата и хотела супуть хлеб раненому красноармейцу.

— Прочь! — еще раз крикнул солдат и с размаху ударил ее в грудь.

Банючиха без стопа опустила на снег. Немец ногой оттолкнул в сторону упавший хлеб. Горбушка отлетела далеко в ров. Один из исхудалых призраков рванулся за ней. Щелкнул выстрел. Пленный свалился на краю дороги.

Женщины даже не взглянули на потерявшую сознание Банючиху. Они бежали за пленными, стараясь бросить им, сунуть в руку ломоть хлеба, испеченную в золе лепешку. Из комендатуры высыпали солдаты.

— Прочь! — бешено орал фельдфебель.

Они бросились на женщин, избивая их прикладами. Бабы, заслоняя руками головы, падали на колени, пытались подбросить хлеб под ноги идущих. Один из пленных наклонился за ним. Снова загредел выстрел, и убитый свалился к ногам товарищей.

— Не пужно, граждане, не рискуйте собой напрасну, не падо! — высоким, срывающимся голосом, громко, на всю улицу, сказал молоденький раненый, с трудомковылявший в рядах. — Отойдите, женщины, отойдите, матери наши. Все равно они не дадут нам взять ни кусочка, зачем зря людям гибнуть?

Они и без него видели, что тут не поможет. Двое убитых лежали на дороге. Банючиха с трудом поднималась с земли, а они стояли с хлебом в руках и горестно глядели на красноармейцев, безнадежно смотревших на хлеб.

— Саша, — окликнула Малючиха сына, — тут ничего не сделаешь! Собери-ка ребят, надо наперерез бежать за поворот, бросить хлеб там, на дороге, и ходу! Немчура не заметит, а наши, может, хоть кусок какой подберут.

Детей, словно ветром, сдуло с улицы. Женщины отошли к дверям своих хат. Они плакали, кусая концы головных платков, качали головами в безмолвном горе.

— Ну, как ты? — заботливо спрашивала Фрося Грохач, подавая воду Банючихе и растирая ей снегом виски.

Та присела и, закрыв глаза руками, разрылась коротким, мучительным рыданием.

— Что, очень больно?

— Нет, нет... Что ты, Фрося...

— Не плачь, ничего, полежишь — пройдет.

— Да что ты, глупая, разве я о том, потопнило немного, пройдет, ничего не будет... Слушай, Фрося, я вот думаю, если мой Петро так... Слышишь, лучше пусть бы в первом бою погиб, пусть бы его бомба разорвала, пусть бы его танк задавил, слышишь?

Страстным, сдавленным голосом она шептала прямо девушке в лицо. Фрося сжала ее руку.

— Успокойся, успокойся...

— Слышишь? Если уж иначе нельзя, пускай лучше пулю себе в лоб пустит, гранатой себя взорвет, только бы не так, не так, не так!

— Ну, ясно... А ты встань-ка, я тебе помогу, а то замерзнешь тут...

Банючиха тяжело поднялась, опираясь на плечо девушки, и с трудом перешла в хату. Гриша большими испуганными глазами смотрел на мать. Она со стоном повалилась на кровать. У нее все болело, к горлу подступала тошнота. Но она не думала об этом.

— Гриша, поди сюда!

Мальчик подошел к кровати.

— Гриша, слышишь, что я тебе скажу?

— Слышу, да ведь вы еще ничего не говорите...

— Слушай, Гриша, если тебе когда-нибудь, не дай бог, придется выбрать — смерть или немецкий плен, выбирай смерть!

— Да что ты, спятила? — возмутилась Фрося. — Мальчику пять лет...

Перепуганный мальчик плакал.

— Что ты пугаешь ребенка? Ничего этого он еще не понимает, а пока он подрастет и немцев не будет...

Банючиха задумалась.

— А может, и правя? Какая же справедливость была бы на свете, если бы за эту войну все собачье семя не вырезали бы до последнего!

Она застонала, хватаясь за живот.

— Ой, Фроська, меня, кажется, рвать будет...

— Оно и лучше, пусть вырвет, сейчас я тебе холодной воды принесу.

Она сустила, мочила в ведре полотняные тряпки. Банючиха, следя за ней, тихопокло стонала. Вдруг ей бросилось в глаза заплаканное лицо сына.

— А ты тут чего еще? Ишь, какой нежный... Это он в Петра, должно быть...

— Что ты говоришь, он ведь маленький, ты его напугала, вот он и поплакал... Что ж тут такого? А от мужа-то чего тебе надо?

— Ничего мне не надо... А только у меня одно в голове сидит: хватит ли у него ума в случае чего с собой-то покопчить?

— Уж он сделает, как надо.

— А я вот боюсь... Он у меня, знаешь, какой: сам ни до чего не додумается, всегда приходится ему советовать, что и как... А кто ж ему, бедняге, теперь посоветует?

— Теперь он в армии, ему дадут приказ и все,— сказала Фрося, прикладывая мокрую тряпку к животу жепщины, на котором широким синим пятном расплылся след приклада.

— Приказ, это верно,— сказала Бапючиха.

— Иди-ка, Гриша, я тебя умою, смотри как ты вывозишься! А плакать не надо. Видишь, мама лежит, немец ее прикладом ударил, а она не плачет.

Мальчик стоял, глядя большими глазами на мать. Пальцем левой руки он ковырял в носу.

— А ты, сынок, выпул бы палец из носу,— рассердилась Бапючиха.— Отец красноармеец, а он в носу ковыряет! — Она снова застонала.

— Ох, Фрося, ни кусочка, ни корочки хлеба ни один не получил... Перемрут, бедняги, наверняка перемрут... Подумать только, по своему селу шли, а никто им помочь не смог, никто ни крошки дать не смог, ни накормить, ни напоить... На своей земле погибать приходится... И куда это их потащили?

— Говорят, в Рудах есть лагерь. Туда, наверно.

— Где там до Руд дойти! Они еле на ногах держатся. До Руд-то сколько верст будет? Нет, не дойдут, да и по дороге их убивают, как тех двоих...

— Ребятишки побежали за околицу разбросать хлеб по дороге. Будут проходить, собирают; может, немцы не заметят, не догадываются...

— Только бы они разбросали как следует... Посреди дороги, наши-то впереди идут, копыры потом...

— Уж ребята там сообразят, как лучше,— успокаивала ее Фрося.— Ребята у нас — золото! Самп знаете.

Бапючиха кивнула головой. Ей вдруг захотелось спать, по телу разлилась неприятная слабость, ее невыносимо тошнило. По больше всего мучило воспоминание о лихорадочных, глубоко запавших глазах пленного красноармейца, о быстром, жадном движении, когда он потянулся за хлебом, которого так и не получил.

— Ох...

— Больно? — забеспоковалась Фрося.

— Нет, нет... Хоть бы заснуть...

— Спи, лучше всего поспать, тогда пройдет,— сказала девушка.

Бапючиха закрыла глаза. Но и перед закрытыми глазами стояло посеревшее молодое

лицо, отмеченное печатью смерти, с выбившейся из-под шапки прядью волос. Какими безумными глазами глядел он на кусок черного хлеба! Она поняла, что никогда в жизни не забудет этих бредущих по снегу, падающих в снег пленных и молодого красноармейца, которому она не могла подать кусок хлеба.

А в это время задами пробирались по глубокому снегу посланные с хлебом мальчики. Возле хат и сараев было еще полегче, но в открытом поле снег оказался неожиданно глубоким. Осыбка Чечор сразу провалился по самые плечи.

— Сашка! Сашка!

— Не ори, а то немцы услышат, прибегут. Ты еще мал, иди назад!

— Не могу...

— Выкарабкивайся как-нибудь! Ну, ребята, скорей, скорей!

Земля здесь была перовпая, вся в пригорках, ямах, бороздах. Сверху все было засыпано снегом, запесено вьюгой. Ямы были паостоящими западнями. Ноги неожиданно проваливались на ровном с виду месте. Сверху снег смерзся в твердую кору, и минутами не нему можно было идти, но вдруг он ломался, как лед на реке, с хрустом, с грохотом, и мальчики безнадежно увязали в глубоких сугробах. Помогать себе руками было невозможно, руки были заняты лепешками, хлебом, картофелем. А снег был колючий, он ранил, как битое стекло. Ребята стали один за другим отставать. Но Саша и Савка Локут стойко держались впереди. Для того чтобы добраться до места, где дорога сворачивала большим полукругом, надо было миновать село и пересечь широкую равнину.

— Скорей, скорей,— подгопал Саша. Он тяжело дышал, он обливался потом. Струйки пота стекали за воротник, ползли по спине. Пот заливал глаза, в боку кололо до дурноты. Ноги увязали, как в иланстом речном дне, как в затягивающей трясине. Несколько раз он падал, поднимался, ранил себе пальцы об острые пластинки снега. Из пальцев сочилась кровь, и снег быстро розовел от нее. К счастью, он не взял хлеб, как другие, прямо руки, а успел схватить полотняную сумку, в которой раньше, когда еще немцев не было, носил книги в школу. Теперь она пригодилась. Хлеб лежал в сумке, и руки были свободны, можно было опираться на них, выбираться из сугробов. Савка, высунув язык, торопился за ним. Итти по проложенному следу было легче, иначе Савка тоже отстал бы, он был меньше и слабее.

Снежная равнина казалась бескопечной. А ведь весной здесь пасся скот, и этот луг

был вовсе не так велик, можно было быстро пробежать его из конца в конец, по мягкой, короткой траве. Они хорошо помнили это пастбище, ведь они играли здесь с того времени, как пачали ходить. Но теперь оно казалось безграничной пустыней, стало чужим и незнакомым. Куда девались пригорки, которые они сто раз топтали босыми ногами, канавки, через которые они прыгали! Под снегом вздувались какие-то огромные горбы, внезапно обпаруживались коварные и злые раскисины. Напрасно они пытались различить под снегом, где ровная поверхность, где ров, где углубление. Снег молчал, снег не выдавал тайн. Ноги брели и проваливались, снег преглатывал мальчиков по пояс, по подмышки, руки ушибались о края ям, мучительной дороге не было конца.

— Скорей,— задыхался Саша, лоя ртом воздух, проваливаясь в ямы, выкарабкиваясь, отплеывая набившийся в рот снег.

Висевшая на боку сумка промокла и становилась все тяжелее, по это было неважно, они съедят и мокрую лепешку, это ничего. Ноги тоже промокли, насквозь промокли штаны и, когда ему удавалось благополучно пройти несколько шагов по поверхности снежного покрова, мокрая одежда замерзала, хищные когти мороза добивались до самых костей. Саша уже ничего не видел, перед глазами у него мелькали красные и черные круги, кровь стучала в висках, казалось, вот сейчас она разорвет жилы и брызнет на снег.

— Скорей,— хрипел он, и это подгоняло Савку, как удар кнута, хотя Саша уже забыл, что за ним кто-то идет. Он подгонял сам себя, чувствуя, что вот-вот упадет и больше не встанет.

Савка остался далеко позади. Но Саша знал, что он должен, должен добраться до дороги, что он должен оставить там лепешки. Это была последняя возможность доставить хоть чуточку пищи конвоируемым пленным. Если он не успеет, их погонят дальше через сожженную Леваневку в Руды, в концентрационный лагерь, где — люди шопотом говорили об этом — за колючей проволокой сотнями мрут пленные, мрут без куска хлеба, без ложки горячего. Между лагерем в Рудах и пленными красноармейцами был теперь один он, Саша, и мальчику казалось, что его подгоревшие в золе лепешки могут избавить от голодной смерти, спасти их всех.

Еще один небольшой холмик и — все. Скорей, скорей — подгонял себя Саша, чувствуя, что еле вытаскивает ноги из снега, еле плещется вперед. Болеет бок, в голове гудело, во рту он чувствовал неприятный, приторный вкус крови. Скорей, скорей! Он с головой провалился и неловко выбирался, махая ру-

ками, словно утопающий. Почти на четвереньках вполз он на последний пригорок. Здесь уж должна быть дорога.

Да, дорога проходила совсем рядом. А по дороге немцы вели красноармейцев. Саше казалось, что это сон. Он не хотел, не мог верить. Но это было так. Саша не поднялся — он лежал на снегу, опершись на локти, как всползал на пригорок. А они проходили мимо. Раненые шатались, как пьяные, пемцы орали, сзади кто-то упал, его поднимали ударами прикладов, пинками, ругательствами. Саша смотрел, а они все шли, проходили мимо. Он опоздал. Опоздал на две-три минуты. Перед красноармейцами расстилалась пустая белая дорога, и на ней лежал один снег, снег и больше ничего. Лепешки остались в сумке, мокрые, тяжелые. Они лежали в полотняной сумке тут же, в десяти шагах от пленных, а они их не получают из-за того, что он опоздал на две-три минуты, что он недостаточно быстро бежал, что медленно поднимался, что он не смог, не сумел сделать, что следовало. Он подумал о Мишке — да. Мишка бы успел, Мишка бы добежал. А теперь их погонят в Руды, за колючую проволоку, и они будут там умирать на морозе от холода и голода, потому что он...

Вот уже последний остался ряд. Прошли. Удаляются, исчезают. Вот их уже скрыла белизна дороги, равнины необъятного снежного пространства. Саша опустил голову в снег и расплакался горькими детскими слезами. Слезы капали в снег, из носа тепло, лицо было мокрое. Ледяной холод сковал мокрые ноги, в боку невыносимо колело. Нет, он не мог, не хотел подняться. Они прошли, прошли, он опоздал на две-три минуты...

Ох, как холодно, как страшно холодно. Саша плакал по ним, идущим в этот мороз по дороге. По Мишке, похоропешном в сенах, по батьке, что ушел к партизанам, и прежде всего по самому себе, что не смог, не сумел, ничего не сделал...

Ему становилось все холоднее. И пусть, и пусть... Ему вспомнился рассказ дедушки Евдокима о том, как когда-то давно белые кочевали в лесочке и замерзли, все замерзли. Пришли красные, кричат: руки вверх! А те сидят — и ничего. Ни один не шелухнется. И только Евдоким понял, что случилось, и подошел. А они сидят, как живые, и все замерзшие, как камень. Только сюда-то никто не дойдет, кому придет в голову искать его здесь? Он будет лежать, лежать, лежать...

— Сашка, вставай, вставай!..

Он вздрогнул и еще крепче прильнул лицом к снегу.

— Что ты, сынок, вставай, мороз-то какой... Не надо плакать, не надо!

Она присела возле него и ласково гладила его по плечу.

— Ты же мокрый весь... Вставай, пойдем. И мне холодно, вся юбка промокла, пока я добралась, трудно пройти... Ну вставай, вставай...

Она насильно подняла его голову. На нее взглянули залитые слезами, опухшие глаза.

— Ничего не поделаешь, не удалось, — сказала она грустно.

— Опоздал, — прошептал Саша прерывающимся от рыданий голосом.

— Что ж, сынок, не удалось. Так надую, намело, что я еле добралась до тебя. Идем, надо домой идти... — Она тащила его за руку. Саша вставал медленно, неохотно.

— Раз не удалось, другой раз удастся... Не сразу мы сообразили, как оно выйдет... В другой раз, если наших поведут — не дожидаться, далеко никуда не бегать, всем — по избам, а все, что надо, на дороге оставить. А то сегодня сбежались, подняли крик, ну, ничего и не вышло... Да кто же знал-то?

Саша, глядя в землю, медленно шел рядом.

— Прибежал Савка, чуть живой, я его спрашиваю, где ты, а он говорит, что ты в снегу лежишь... Я все бросила и побежала... А ты не плачь, не плачь, выше головы не прыгнешь... Вон, какие ямы... Давно, давно такой зимы не было...

Ей самой было трудно идти, но она старалась разговаривать и помогать идти сыну.

— А ты за мной, за мной, так легче...

Ему подумалось, что теперь они идут по тропинке, которую проложили сначала он с Савкой, потом по ней прошел обратно Савка, потом мать, что теперь это уж совсем не то. А мать говорит, что трудно, что дорога тяжелая. Но хотя тропинка была уже проложена, он едва тащился. Сапоги весили чуть не по сто кило, руки, голова были тяжелые, как чугуц, все кости болели, он чувствовал каждую косточку в ногах, руках, спине, каждая болела острой, назойливой болью.

Когда они вышли на дорогу, он запнулся и чуть не упал. Материнские руки подхватили его.

— Что с тобой, сынок?

— Ничего, — пролепетал он, по весь мир плясал перед его глазами. Голова кружилась. Мать наклонилась и взяла его на руки.

— Что вы, мама! — запротестовал было он, но вдруг, почувствовав под головой ее руку, моментально уснул. Она улыбнулась сонному личику.

— Что это, кума? Что-нибудь случилось? — забеспокоилась идущая с вязанкой хворосту заплаканная Терпилиха.

— Нет... Сморилу мальчонку, до самой дороги бежал по этим ямам, по выбоинам...

— Успел?

— Нет, куда там... Тут взрослому пройти трудно...

Запыхавшись, она замедлила шаги.

— Тяжело вам...

— Конечно, тяжело... Ему ведь уже девятый год пошел, — сказала она и крепче прижала к себе спящего сына. — Вот как уснул, словно в постели. Помоги-ка, Горинна, а то мне дверь в сени не отворить...

Женщина подошла и отодвинула засов. Из хаты повеяло теплом.

— Мама! — крикнула Зина со слезами в голосе. — Что с Сашей?

— Ничего, ничего, Саша спит. Не кричи, не надо будить его.

— Спит? — удивились дети. Они обступили ее и смотрели, как она кладет мальчика на перину, как осторожно стаскивает с него сапоги, мокрые штаны, как растирает его сухой полотняной тряпкой.

— А у вас вся юбка мокрая, — сказала Сося. — Куда это вы ходили?

— Ничего, ничего, сейчас все высохнет. Поставь-ка сапоги к печке.

Зина, сося, потащила сапоги.

— А в сумке что?

— Вынь, там лепешки.

— Мокрые какие...

— Ничего, съедите и такие.

— И мне можно? — спросила Зина, искося глядя на вынутые из сумки отсыревшие коричневые комки.

— Ну да, можно, это же ваш обед. Сося, раздели-ка. И Саше оставьте, проспится, есть захочет.

Зина подошла к пей, держа в кулаке кусок мокрой лепешки.

— Это вам, мама...

— Не надо, доченька, я не голодна...

Она смотрела, как дети едят, старательно подбирая со скамьи каждый кусочек, каждую крошку. Лепешки, которые не дошли до тех, до людей, которых гнали на смерть. У нее сдавило горло. Светлые и темные головки, склонившиеся над лепешками, маленькие пальчики, тщательно подбирающие крошки... Не успел Саша, не успел...

Мальчик дышал спокойно, ровно. Щеки его порозовели. А Миши нет — отозвалось мучительной болью в сердце.

И вдруг она почувствовала, что уже потом, после смерти сына, случилось еще что-то худшее, еще более страшное. Перед ее глазами снова появилась толпа подгоняемых ударами прикладов пленных, ужасные, исхудавшие лица, пожираемые лихорадкой глаза в черных глазницах, окровавленные ноги на снегу, худые пальцы, как когти, тянувшиеся к хлебу, ближнему и недоступному, и эти двое

убитых на дороге... Образ Миши, лежащего на столе с простреленной грудью, побледнел, смягчился перед этой второй картиной.

Она закрыла глаза руками. На кровати спит мальчик, дети едят лепешки, ребятишки Чечорихи старательно подбирают крошки со скамьи. Но что будет, что еще может случиться, когда каждый день несет с собой все более и более черные часы? Где теперь Платон? Увидит ли она его еще в жизни? Миша под землей в сепях, Платон неизвестно где, может, затравлен, как собака, может, уже мертв, засыпан снегом... Олепа, молодой Левонюк на виселице, все, все. И так поверить, что прошел только месяц, что прожит всего только один месяц, когда, кажется, целая жизнь прошла, пробежали годы, много, много лет, столько несчастья и ужаса принесли они с собой. «Месяц!» — изумилась она. Бывало, проходили месяца сева, сенокоса, уборки хлебов, сбора льна и выкапыванья картофеля, и все эти месяцы тихие, со спокойной радостью, проходили один за другим, текли, сливались в годы, проходили неприметно. А теперь всего один месяц — и этот месяц заключал в себе больше, чем вся жизнь, лег на нее огромной тяжестью и оставил после себя раны и рубцы, которые никогда не заживут в памяти, которые будут болеть вечно...

Саша вдруг очнулся. Он с изумлением убедился, что лежит в хате. Откуда он тут взялся? Он не помнил, как мать взяла его на руки, не помнил, как заснул. С минуту он блуждал глазами по потолку. Это был потолок своей хаты. У печки тоненьким плаксивым голоском что-то лепетала Зина. Он отвел глаза и увидел сгорбившуюся на лавке мать. Она неподвижно, упорно смотрела в одну точку. Саша вытянул ноги под одеялом, наслаждаясь теплом. У него немного болели и ныли пальцы, но во всем теле чувствовалась приятная усталость, он с наслаждением ощущал прикосновение теплого одеяла и мягкую подушку под головой.

— Что вы так задумались, мама?

Она вздрогнула и быстро обернулась к нему.

— Ты уже не спишь?

— Нет, мне уж неохота спать.

— А ты полежи, полежи, погрейся как следует... Намерзся, промок...

Она поправила соскользнувшее с мальчика одеяло и словно только сейчас услышала его вопрос:

— А я, сынок, думала о дне, когда наши придут...

Оп посмотрел на нее широко раскрытыми глазами.

— Сюда к нам, в село?

— Ну да, к нам...

— И в Руды придут? — шепотом спросил он, словно доверяя ей тайну.

— И в Руды, а как же, и в Руды... Во все места, до самого Днепра и за Днепр, во все села и города... До грапицы и дальше, всюду, где только люди под немцем умирают, во все края и земли.

— И батька домой придет?

— Придет, сынок... Выйдут из лесу партизаны, вернутся к себе домой.

— И все будет, как раньше?

— И все будет, как раньше, — повторила она. — Да, да, сынок, еще лучше будет, чем раньше.

Она умокнула и подумала, возможно ли, что когда-нибудь снова будет, как раньше? Что хата обрастет кругом подсолнухами, в саду зацветут мальвы, те крупные, розовые, семена которых Лида привезла из города, дети с веселым щебетом побегут в школу, а Зина летом пойдет в детский сад, где мелюзга будет водить веселые хороводы? И в хате будет много хлеба, и молоко в глиняных глечках, а по вечерам все будут сходить в клуб читать газеты.

И все это будет. Несмотря ни на что, несмотря на все пансенные селу раны. Не побежит уже в школу Мишутка, не запоет в поле Митя Левонюк, не сядет на трактор Олепа, девчата не будут засматриваться на Васю Кравчука, но жизнь пойдет своим чередом, мощная, цветущая. С каждым годом будет выше колоситься пшеница на полях, будут давать все более тяжелые плоды молодые фруктовые деревья, все полнее станут паливать молоком ведра колхозные коровы, все больше молодежи поедет учиться в город. И только одно — нужно продержаться, перетерпеть, не поддаться, ни за что на свете не поддаться...

В хате порозовело. Солнце заходило, расцветившая небо всеми красками зари. Фантастические листья на замерзших стеклах зацвели розами, заблестели золотом. Небо быстро угасало, тени сгущались, и не успели еще померкнуть краски на горизонте, как взшел месяц, холодный, как лед, серебряный, как лед, и отправился в свой далекий путь. Свет заката перелился в свет месяца, и на небе выросли светящиеся столбы, искрящиеся, застывшие, неподвижные. Но словно тьма непроглядная легла в этот вечер на все сердца, тьма еще более глубокая и тяжелая, чем все, что было пережито до сих пор. Шаги на дороге не утихли — по селу шли пленные, шествие призраков, худых, черных, сжигаемых лихорадкой и голодом. На снегу оставался кровавый след их босых, израненных ног. Между плетнями носилось, не давая спать, эхо охрипшей, страшной мольбы: хле-

ба! В глаза людей глядели глубоко ввалившиеся, горящие безумием глаза. Глухо били по сердцу удары прикладов, хлестали солдатские окрики, подпопавшие тех.

Гей, заплакали хлопці - молодці.  
В турецькій неволі, в кайданах...

Когда это было? Как это было? Нет, нет, все это было не то, турецкая неволя и турецкие галеры в далеких морях, и кривая турецкая сабля над головой. Нет, это даже не колья от Пезипа до Киева, на которые сажал мужиков пап Потоцкий. Даже не давным-давно забытые татарские набеги на Украину. Больше крови, огня на украинской земле нынче, больше смертей и слез на украинской земле, больше горя на украинской земле, чем во все те времена, о которых песель в песнях, о которых осталась навеки-веков память в народе.

Какая песня расскажет все, что происходит по ту и по эту сторону Днепра, что делается по всей необъятной украинской земле? Какая песня передаст страшные, черные дни, что разразились над этой землей, нагрянули, как мор, как потоп, как злой вихрь, разметавший гвезда? Какая песня впитает в себя и потоки крови, и скрип впесяниц, и стон детей, и смерть тысяч и тысяч, и черный дым над деревнями, и бесконечные могилы, и этих юношей, погибающих в Рудах и в сотне других мест, за колючей проволокой лагерей? И кто, когда захочет петь такую песню, песню, навевающую холод ужаса?

«Нет, нет», — думали бабы, пытаясь отогнать от себя образ идущих по дороге слепых. — «Не будет такой песни. Засучим рукава и сызнова построим дома и хаты. Засеем землю пшепией, чтобы зашумело необъятное поле, волнуясь, как море, на ветру. Прикроем окровавленную землю золотом пшепией, солнцами подсолнухов, смеющейся белизной цветущих садов. Голубым льном, белорозовой гречей, лесом высокой конопля, чтобы не осталось и следа немецкой поги над реками, плывущими в далекое Черное море».

Село охватывал сон, тяжелый, тревожный, не дающий отдыха глазам, не дающий покоя сердцу, не приносящий спокойствия. Малючиха то и дело вставала, подходила к детям. Саша метался во сне, выкрикивал непонятные слова.

— Сынок, сынок...

— Что? — в испуге просыпался он.

— Проснись, проснись, видно, тебе тяжкий сон приснился.

Он смотрел на мать непонимающими глазами, поворачивался на другой бок и моментально засыпал. И снова его мучили кошма-

ры, тяжело наваливавшиеся на грудь, пазойльвые, мучительные.

Банючиха стонала, ворочаясь в постели. Все тело ныло, сосало в животе. Но спать мешало не это, а худое, давно небритое лицо и горящие глаза под окровавленной тряпкой.

В чулане комедаттуры спал только Грохач. Малаша продолжала прясть мучительную нить своих размышлений, упорную, безнадежную. Прошел еще один день, миновал еще один день — и ничто не изменилось. Сухие губы трескались от жажды, перед глазами вставал тот дешь. Ну да, ну да, так оно и было... Там в селе что-то происходило, там жили и умирали люди — днем слышны были выстрелы на улице, не попусту же стреляли немцы — там умирали люди, а она жива. Жива, сидит тут, за толстыми бревнами стен, растит в себе немецкий помет, немецкого байстрюка...

Евдоким вздыхал и ворочался на своем месте у стены.

— Что, уснуть не можешь? — спросила Чечориха.

— Да... не до сна мне... Много ли тут спать! И вам вель не спится...

— А я вот все думаю да передумываю, в кого это они стреляют? Где-то близко стреляли...

— Не поймешь, то ли близко, то ли далеко... Из-за стены может и показаться... По-моему, не ближе, чем за церковью.

— Кто знает...

— Выйдем, узнаем, — тихо сказала Ольга Палапчук.

— Верно, верно, — подтвердила Чечориха.

Девушке, видимо, очень хотелось услышать подтверждение, что они действительно выйдут, что их выведут отсюда не на площадь, не под выстрелы немецкого взвода, а на свободу, в село, где можно будет разговаривать с людьми, как разговаривают свободные люди со свободными людьми. Она вздохнула.

— А вы бы нам, дедушка, рассказали что-нибудь, раз уж все равно не спится. Время быстрей пройдет.

— Что ж я тебе расскажу?.. — раздумывал он. — Да и рассказывать не хочется...

— Спойте, — попросила Ольга.

— Что ты, что ты, здесь нет!

— Что ж тут такого, вы шотихопечку, они не услышат.

Он кивал в темноте седой головой.

— Ну что ж, спою... Старинная песня, мой дед ее пел... А он ее тоже от своего дела знал. Старая песня, старая, как сама Украина.

Дрожащим, старческим голосом он запел:

Ой нема, нема правди на світі,  
Скрізь неправда панує  
Ой, яка душа хоче добре жити,  
Хай за правду воює...



— Ну куда мне деть, это бандуристы с бандурой пели, давно-давно.

— Нет, вы спойте хоть без бандуры... Не так тоскливо...

Ой, пошла господь та добра тому,  
Хто за правду воюю...

— Ой, пошла господь та добра тому, що за правду воюю,— шопотом повторила Чечориха.

Старик дрожащим голосом напевал старинную песню, песню подъяремного народа, родившуюся во мраке суровых дней, во тьме ночей, полных слез, во времена рабства и гнета. Забытую песню, что затихла, ушла, как уходит дурной сон, что замолкла в те дни, когда зацвела подсолнухами свободная Украина и яловая жизнь запела новые песни.

Но теперь, во мраке тесного чулана, в селе, где качался на виселице труп шестнадцатилетнего мальчика, где в яру лежали убитые, где вода несла пою льдом окровавленное женское тело, где смерть раскинула свою паутину над всеми хатами, старинная песня зазвучала той же жалобой, той же тоской, какая читала ее сотни лет.

Ой, пошла господь та добра тому,  
Що за правду воюю...

Старческий голос умолк, затих. Подступала дремота, утомленные головы тихо склонялись на грудь.

## Х

Федосья Кравчук проснулась внезапно, точно кто толкнул ее, и села в постели. Сердце билось так стремительно, будто хотело вырваться из груди. Она ловила ртом воздух и прислушивалась.

Что же ее разбудило? И когда она, собственно, уснула? Ей казалось, что она не сможет, совсем не сможет уснуть, и вдруг получилось так, что она крепко спала. Что-то непонятное вырвало ее из глубокого сна. Что?

Это не был стук — всюду царила глубокая тишина. Даже храп немца не нарушал молчания ночи — видимо, Вернер доздна засиделся, как часто случалось, в комендатуре, и еще не вернулся. И все же она не сама проснулась. Что-то ее разбудило, что-то внезапно прервало ее сон. Потому и колотилось так испуганное сердце.

Она не ложилась, напряженно прислушиваясь. И в хате, и за окном стояла полная тишина. Еще с вечера ветер утих. Ночь снова была ясная, прозрачная. Но небу плыл месяц в светящейся радужной кайме, и на полу резко выделялась тень оконной рамы. Герань в горшечке казалась совсем черной на фоне белых покрытых морозным инеем стекол.

И вдруг за окном раздался шорох. Будто заглушенный стон, оборвавшийся хрип, силою

вбитый обратно в горло крик. Федосья босиком соскочила на пол и сразу очутилась в сенях. Дрожащими руками она искала засов, но он не был задвинут. Вернер, видимо, действительно еще не пришел. Он никогда не забывал тщательно запереть за собой дверь.

Она открыла калитку. Мелькнули черные тепл.

— Кто здесь?

Спрашивала не она. Она-то знала, знала с первого момента, когда очутилась от сна, когда сдерживала руками бешено колотящееся сердце.

— Это я, хозяйка,— ответила она шопотом.— Тихонько, ребята, его нет...

Они были уже в сенях. Она узнала маленького разведчика.

— Не пришел еще, должно быть, в комендатуре сидит.

— Ну, так нечего нам и заходить. В комендатуру, ребята!

— погодите,— лихорадочно удерживала их Федосья,— она-то ведь здесь.

— Кто она? Кто такая? — торопился командир.

— Немцева любовница.

— Ну, стапем мы тут с бабами возиться! Утром посмотрим, что делать с немкой!

— Она не немка, она наша,— сурово сказала Федосья.

— Вон как? Ну, тогда дело другое, где же она?

— Спит в комнате.

Лейтенант недовольно поморщился.

— Что ж, посмотрим... Свет какой-нибудь можете зажечь?

— Часовой увидит.

— Часового уж нет, мать.

— Ну вот и ладно. Так я зажгу лампочку. Дрожащими руками она искала спички.

Пришли, пришли, наконец-то она дождалась!

Маленький разведчик подал ей коробку спичек. Она зажгла лампу, привернув фитиль.

— В комендатуре пятеро наших заперты, заложники...

— Не беспокойся, мать, наши уже там, у комендатуры. Уж они их выпустят. Хотели мы потихоньку коменданта убрать...

— Что поделаешь, не пришел сегодня. Работа у них, видать, спешная.

Осторожно, чтобы не скрипнуть, она открыла дверь. Красноармейцы, стараясь не стучать сапогами, шли за ней. Федосья, высоко подняв лампу, осветила кровать.

Пуся проснулась и, уверенная, что пришел Курт, проросопья что-то пробормотала. Но никто не ответил, и она обернулась, отбросив волосы с лица.

Лейтенант внезапным движением вырвал из рук хозяйки лампу и шагнул вперед.

— Кто это? — спросил он страшным голосом.

— Комендантская любовница, папа, из местечка, — объяснила удивленная Федосья.

Пуся не отрывала круглых, полных ужаса глаз от человека с лампой. Голубая почная сорочка соскользнула с ее плеча, обнажив маленькую грудь. Она поджала под себя ноги и едва заметным, подсознательным движением отодвигалась в угол кровати, словно хотела спрятаться, скрыться, исчезнуть в щели стены. Лейтенант задрожал. В свете лампы блеснули покрытые красным лаком ногти, на мгновение сверкнули треугольные зубы между побелевшими, как бумага, губами.

— Сережа...

Шопот был тише шелеста ветра в листьях, но Сергей услышал, вернее, узнал свое имя по движению губ. Он дрожал. Пуся, словно защищаясь, выставила вперед руку, маленькую слабую руку с ногтями, словно обгаженными кровью. В ее круглых глазах отражался ужас. Кровать показалась огромной-огромной, она пряталась в одном углу ее, как маленькая куколка, с обнаженной грудью, выглядывавшей из голубого шейка, с крохотными ногами под оборками сорочки.

Где-то спаружи грянул выстрел.

— У комендатуры, — сказала Федосья.

Но в ту же минуту защелкали выстрелы и в другой стороне, и в третьей. Пальба раздавалась повсюду.

Сергей поднял револьвер. Не моргнув глазом, взглянул в знакомые черные глаза. Щелкнул выстрел. Пуся дрогнула. Губы полукруглыми, блеснул ряд острых, треугольных зубов. Круглые глаза еще более расширились и, остеклянев, застыли.

— К комендатуре! — скомандовал Сергей, и они, спотыкаясь о порог, о ведра в кухне, выбежали на серебряную, искрящуюся от луны улицу.

В селе кипела борьба. Первый выстрел, который они услышали в хате, был сделан рядовым Завясом, из отряда, который должен был захватить неприятельскую батарею.

В то время как Сергей со своими подкрадывался к Федосьиной избе, чтобы застигнуть во сне коменданта, те ползли в снегу по склону небольшого пригорка, к церкви. Невидимые в своих белых халатах, они ползли по снегу, прячась в тени хат, прокрадываясь по рвам. Впереди, напрягая зрение, полз сержант Сердюк. Так они благополучно доползли до самой батареи. Темные дула орудий четко выделялись на фоне снега и неба. Молчаливые чудовищные пасти торчали высоко над

головами ползущих. Три солдата, разговаривая вполголоса, сидели у орудий. Вдоль батареи мерными шагами прохаживался часовой. Снег поскрипывал под его ногами.

Сердюк, затаив дыхание, ждал. Часовой повернул у самого рва. Сержант увидел его узкую спину, торчавший над головой штык. Он бесшумно вылез из рва и внезапно прыгнул на немца. Оба покатались в снег. Сердюк сдвинул горло противника, прежде чем тот успел издать стон. Но орудийная прислуга заметила внезапное исчезновение своего товарища.

— Эй, Ганс! — беспечно позвал один — и как раз в эту минуту кто-то из красноармейцев неосторожно придавил сухую ветку. Она предательски треснула. Винтовки орудийной прислуги без команды векинулись, и вот тогда-то Завяс не выдержал и выстрелил в первого с краю. Немец ужал навзничь. Дальнейшее произошло так быстро, что они сами были ошеломлены: оказалось, что при орудиях больше никого нет, что батарея в их руках. Одновременно загремели выстрелы со стороны дороги, там, где согласно плану помещалась немецкая комендатура.

— Бегом, ребята! — скомандовал Сердюк, но в ту же минуту перед ним выросли черные тени.

Немцы, видимо, уже поняли, что нападающих немного, и бежали открыто, не пригибаясь. Загремели выстрелы, и Сердюк припал на колени, почувствовал внезапную боль в правой ноге.

— Что случилось?

— Ничего, ничего! А ну по врагу, залпом!

Один из бежавших свалился с ног, но это не задержало остальных. Автоматы были у всех, и залпы слились в неумолкаемый грохот.

— Ложись, ребята, бей с земли!

Они припали за орудиями, беря на предельные темные фигуры, четко вырисовывающиеся на снегу. Сердюк тщательно целился, чтобы не тратить зря патронов. Вдруг он почувствовал страшный холод в лице и подумал, что это от приклада автоматической винтовки. Стыл лоб, нос, деревятели щеки.

Заряжая винтовку, он глянул вниз и увидел на снегу большую черную лужу.

— Бей их! Залпами бейте!

Что же это за лужа, в которую он попал коленом? Брюки на коленях совсем промокли. И это было странно в такой мороз. Будто кто водой полил.

Немцы лежали теперь по другую сторону площади в придорожном рву и равномерно, непрерывно стреляли. Сердюк приподнял голову над снежным холмиком, который защищал его лицо, и оценил положение. Такая

стрельба из-за пушек в ров и изю рва в пушки могла продолжаться бесконечно. А выстрелы гремели по всему селу, и неизвестно, как там идут дела. Его отрядик в пять человек и сам он могли там очень пригодиться.

— Ну, ребята, долго мы будем с ними возиться! Ура! За родину, за Сталина!

Они вскочили, как один. Пригибаясь на бегу, рванулись в грохот автоматов, в пулеметные очереди, как жала, выставив вперед штыки. В несколько прыжков они добежали до рва и сверху — прямо на обалдевших, ничего не понимавших немцев! Со всего размаха, со всего плеча. Придорожный ров умолк. Трупы немцев темными пятнами валялись на снегу, страшно маленькие, съездившиеся и жалкие.

— Теперь куда? — запыхавшимся голосом спросил Завяс.

Но Сердюк не отвечал. Они с удивлением оглянулись.

— Товарищ Сердюк, где вы?

— Что случилось? — недоверчиво спрашивал светлоглазый Алексей, ближайший друг Сердюка.

— Да он бежал с нами или не бежал?

— С ума ты сошел, что ли, конечно, бежал!

— А куда же он девался?

— Здесь он лежит, здесь! — запыхавшись, крикнул самый младший из всех, Ваня.

Алексей кинулся туда. Сердюк лежал на полдороге между орудиями и рвом. Он широко раскинул руки. Одна рука крепко сжимала винтовку.

— Что случилось? — глухо прошептал Ваня.

Алексей взглянул на снег. При лунном свете четко виднелась лужица крови и кровавый след от орудий до самого места, где лежал павший товарищ.

— Куда в него угодило?

Алексей молча показал пальцем. Стопа и часть голени лежали почти под прямым углом к остальной части ноги. Снег вокруг этого места превратился в черную лужу.

— Ногу ему прострелили, как ножом отрезана...

— Гляди-ка, и па чем это он бежал!

— Никогда смотреть! К комендатуре, ребята, там что-то жарко!

Они поспешно двинулись за Алексеем. Мороз резал, как ножом, спирал дыхание в груди.

Когда раздался первый выстрел, капитан Вернер спал на полевой койке в комендатуре. Он ждал звонка из штаба и не мог пойти домой. Он лег одетый, прикрывшись шинелью. У другой стены крепко спал фельдфебель, в следующей комнате, как всегда, вновалку

улеглись солдаты. Капитан ждал долго, но телефон молчал. Его раздражало и сопение, доносившееся из другой комнаты, раздражал хрип фельдфебеля. Койка была жесткая и неудобная. Наконец он уснул. Его разбудил выстрел.

«Опять кто-то шатается по деревне», — раздраженно подумал он. Его сердило это новое доказательство бессилия немецких приказов.

По почти моментально грянул второй выстрел, третий. Капитан стремительно сорвался с кровати.

— Заусе, вставайте!

Фельдфебель был уже на ногах. Его сон мгновенно прошел. Послышался скрип шагов под окнами, и в комнату ворвались солдаты.

— Большевики в деревне!

— Запереть двери! Погасить свет! — командовал Вернер, и они бросились закрывать тяжелый засов, закладывая двери поперечными балками.

Комната, где висел телефон, была самая обширная и больше других годилась для обороны. Хотя Вернеру никогда не приходило в голову, что здесь действительно придется защищаться, все было подготовлено. Мощную дверь из толстых досок Вернер приказал обить жестью и укрепить запоры. Стены были из толстых бревен, на окнах крепкие ставни. Дом строился давно и предназначался, видимо, под склад или амбар. Та часть, где ночевали солдаты и сидели заложники, была пристроена позже, когда в доме разместились сельсовет, красный уголок и библиотека. Там стены были тоньше, и дверь запиралась просто на ключ. Но здесь можно было чувствовать себя, как в крепости.

— Открыть амбразуры!

Они мгновенно откатили лежавшие вдоль степ бревна. Здесь же рядами лежали мешки с песком, а у самого пола были вырезаны узкие щели. Солдаты припали к земле. Сквозь отверстия в теплую комнату хлынул холод, закружился пар. Залазали винтовки.

— Звони в штаб, звони скорей в штаб! Партизаны? — спросил Вернер запыхавшегося часового, который вставлял ленту в пулемет.

— Нет! Армия!

— Много их?

— Не знаю, стреляют отовсюду, видно, зашли со всех сторон.

Вернер выругался.

— Звони, звони!

— Господи капитан, телефон не работает...

Он подскочил к столу, но напрасно кричал в трубку и колотил кулаком по молчавшей коробке. Телефон был мертв.

— Перерезали, мерзавцы.

Он со злостью треснул кулаком по пенужной коробке. Телефон с грохотом упал на пол. Он шнул его ногой в угол.

— Справимся сами! Внимание.

С улицы посыпались выстрелы, слышно было, как щелкают пули о толстые бревна стен. В соседней комнате в дверь грохали прикладами, но слышался только гул, дверь и не дрогнула.

— Колоти, колоти, — пробормотал капитан. В прочности дверей он был уверен.

★ ★ ★

Нападением на комендатуру руководил лейтенант Шалов. Не успели они выломать первую дверь и ворваться в дом, как прибежал отряд, захвативший батарею.

— Где Сердюк?

— Сердюк погиб, батарея взята.

В первой комнате они нашли солдатские постели, беспорядочно разбросанные вещи и ни живой души.

— Ишь, гады, проснулись и заперлись в той комнате.

— Выкурим их и оттуда...

Внутри с шумом отодвинулось бревно, из отверстия в другую комнату посыпались выстрелы.

— Выйти! Будем брать снаружи!

Они рассыпались в цепь вокруг дома, но сразу поняли, что это своего рода крепость. Мощные бревна не поддавались пулям. От них откалывались небольшие щепки, но стены оставались целы. Резко лаяли пулеметы. В отверстиях вспыхивали голубоватые и красные огоньки. Дом изрыгал смерть.

— Патронов они не жалуют, — пробормотал Шалов.

— Видно, подготовились к обороне, товарищ лейтенант...

По всему селу шла стрельба. Повидимому, отдельные отряды осаждали немцев на их постах. Но все заглушал грохот, доносившийся из укрепленной хаты.

— Ну, ребята, надо их брать... До рассвета надо их брать, нечего тут возиться. Утром может случайно подойти ихняя часть, и все пропало...

Они залегли за холмиками, неровностями почвы, в канаве и старались меткими выстрелами разбить высывающиеся из отверстий винтовки. Но огонь не затихал ни на минуту.

У Левонюков немцев захватили врасплох. Ворвавшись в хату бойцы застали их спящими. Солдаты в испуге вскакивали, хватали лежавшие у постелей винтовки, спотыкались о разбросанные пояса.

— Ложись на землю! — крикнул Минченко перепуганный Левонюк.

Она послушно упала, стараясь втолкнуть под кровать свою младшенькую, Ганку. Но не успела еще она толком понять, что происходит, как в хате снова стало тихо. Бойцы выбежали, исчезли, как сон, на полу валялись трупы немцев в белье.

— Ну-ка, Васютка, помоги, надо выкинуть эту палашку из хаты, — все еще дрожа, сказала она сыну, и они вдвоем принялись вытаскивать трупы. Тяжело дыша, они тащили немцев за поги. Васе было всего двенадцать лет, сама она была беременна.

— Потихоньку, потихоньку, куда торопиться? — кричала она на сына.

Но Вася знал, куда торопится. Ему не удалось во время выскользнуть за красноармейцами, и вот теперь мать задерживает его этой глухой работой. Там, на селе, идет пальба, раздаются крики, а ему приходится таскать за ноги убитых немцев, вместо того чтобы бежать туда и собственными глазами увидеть все, что там делается. А может, ему даже винтовку дадут? Кто знает, вдруг дадут?

Тишина, среди которой началось нападение на село, давно была нарушена. Теперь уже никто не крадется, не полз за плетнями, стараясь не отбросить на дорогу даже тени.

— Помните, ребята, ни одна живая душа не должна ускользнуть, ни одна живая душа! — сказал им лейтенант, когда они разбивались на группы, подходя к селу. И они понимали, что от этого зависит успех всего дела.

Немцы в разных местах вели себя по-разному. Кое-где они решили защищаться по хатам, кое-где в переполохе выбежали во двор в одно белье, но с винтовками и запасом патронов. Полуголые, они выскакивали на трескучий мороз, припадали за углами сараев, за плетнями и упорно стреляли.

— Не путайтесь под ногами, не путайтесь! — покрикивал Сергей на баб, которые вдруг появились, как из-под земли, вырастали повсюду, попадая прямо под перекрестный огонь.

— Товарищи, у меня в хате шестеро немцев, шестеро немцев! Скорей! — Пельчариха тащила за шнурел красноармейца.

— Где это?

— Да ты только иди, уж я тебе покажу, хата близенько, тут сейчас, — упрямилась она, будто расхваливая хорошую квартиру.

Они побежали за ней, но тотчас увидели, что дело не так просто. Их встретил убийственный огонь. Здесь тоже были вырезаны отверстия в стенах, и из них вырывалась смерть.

Пельчариха припала к земле вместе с бойцами. Молодой паренек рядом с ней схватил-

ся рукой за грудь и со стоном опустил голову на дуло винтовки.

— Ни к чему это, ребята! — крикнула она. — Этак они вас по одному выбьют, а сами будут в хате сидеть! Подоignite избу!

— Это твоя изба?

— Моя, чья же еще? Поджигайте, поджигайте!

— В хате никого нет?

Пельчариха сжала кулак.

— Ребенок... Старшие-то выскочили, а там... в люльке...

— Ну, так как же? Спятила ты, баба, что ли?

Она схватила красноармейца за рукав.

— Ничего, родимый ты мой, ничего! Не пропадать же вам всем из-за моего ребенка... Я мать, я тебе говорю — поджигай хату!

— Опомнись, мать! Что ты!

— Подоignite хату! Я не жалею, чего же тебе жалеть! Ну вот, видишь!

Второй красноармеец торопливо завязывал платком руку. На платке большими пятнами проступала кровь.

Бойцы не слушали Пельчариху, но она, причитая, все уговаривала, цепляясь за их шинели.

— Да не путайся ты тут, убьют, только и всего! Не видишь, как стреляют?

— Кому надо в старую бабу стрелять...

В одном из отверстий винтовка умолкла.

— Вот видите! Только стрелять как следует и все будет хорошо!

— Эй, ребята, а что, если через крышу? С другой стороны через крышу. Ну-ка, мать, проводи!

— Ну вот, это другое дело! А то подоignite где это? Веди!

Несколько человек остались, продолжая стрелять с удвоенной энергией. Остальные побежали за Пельчарихой. Через мгновение в хате началась свалка.

— Не стреляйте! — крикнула Пельчариха, широко распахивая дверь. — Не стреляйте!

Они вскочили. В хате лежали мертвые немцы, один лицом на пулемете, другие за колотые штыками.

— Смотри-ка, Сережа, прямо в лоб...

Стрелок с гордостью осмотрел свою работу. Да, немец был убит наповал. Пельчариха бросилась к люльке.

— Убили, сказала она мертвым, глухим голосом.

Они взглянули. Маленькое тельце безжизненно лежало на руках женщины, головка была разбита. Люлька залита кровью.

— Должно быть, заплакал оп в люльке, и они его прикладом, сволочи...

Пельчариха стояла с мертвым ребенком на

руках и бессознательно покачивала легкое тельце.

— Вот... А вы не хотели поджигать... Ребенка пожалели... И за ребенка двоих ранило...

— Тише, мать, тише...

— Да ведь я не плачу, родимый ты мой, я не плачу. Ружье вот дали бы вы мне...

Стрельба на селе понемногу стихала. Схватка продолжалась только у комендатуры. Небо уже бледнело, месяц в радужном ободке таял в вышине, таяли и радужные столбы, как триумфальная арка, стоявшие по обе стороны его. Воздух сливался в безграничную голубизну, весь мир был словно стеклянный шар, наполненный льдом. В серебро и голубизну врывались лишь красные огоньки беспрестанно гремевших у комендатуры выстрелов.

— Этак мы не справимся, ребята... Гранаты бы швырнуть в окно, может, ставни не такие уж крепкие.

— А как подойдешь-то? Палят, как сумасшедшие... Действительно, из отверстий в стенах лился поток огня. Непрерывно трещали выстрелы, снег взвивался маленькими облачками в сотне мест сразу.

— Светает, — беспечно сказал Шалов, оглядывая светящееся небо.

Далеко на небосклоне уже виднелась розовая полоса. Борьба затянулась дольше, чем он ожидал. Наступит день, на дороге могут появиться немецкие отряды, подоспеть неожиданные подкрепления. Все, что происходило под покровом ночи, могло остаться незамеченным. День освобождал немцев от страха перед неизвестным, позволял им выходить, двигаться. Если где-нибудь интересуются этим отрядом, а им, паверняка, интересуются, то обратят внимание на отсутствие телефонной связи, пошлют людей, начнут искать. День помогал немцам.

— Ну, ребята...

— Ничего не выходит, товарищ лейтенант... Тут год можно просидеть. Вот если бы гранату бросить!

— Что ж, надо попробовать, — вдруг сказал Сергей.

— Как тут попробуешь?

— Ничего, я попробую...

Он далеко, стороной обошел дом и пополз, подкрадываясь из-за угла, оттуда, где не было отверстий в стенах. Бойцы прервали стрельбу, опасаясь попасть в него.

— Что он выдумал? — возновался Шалов. Но Сергей полз спокойно.

В холодном полумраке рассвета было видно, как там, в темной дыре отверстия, движется дуло винтовки, как оно ищет цель, как безошибочно бьет, сея смерть.

И вдруг Сергей поднялся. Прежде чем они поняли, что происходит, он вырос между ними и изрыгающим смерть отверстием, выпрямился во весь рост и стремительным движением бросил в окно связку гранат. Все зазвенело, загрохотало, заволжлось дымом. Взвился огонь. Человек перед окном словно повис в воздухе. Казалось, что он падает бесконечно долго — его высокая фигура выделялась на огненном фоне. Потом он пошатнулся и медленно опустился на землю.

— Вперед! — скомацдовал Шалов. Они бросились к дому. Пулемет в амбразуре молчал, залитый кровью, молчали пулеметчики. Гранаты сделали свое дело.

— Вперед, ребята!

Они осыпали дом выстрелами и ринулись внутрь сквозь пробитое гранатами отверстие, рана руки о выбитые стекла. Языки пламени лизали толстые бревна.

— Там же наши!

— Там наши! — пронзительно закричала Малючиха.

Только сейчас все вспомнили о заложниках. А они сидели в темной комнате, стояли у степ, приложив к ним уши. Они не спали, когда раздался первый выстрел, и все сразу услышали его, как удар собственного сердца. Они переждали секунду. Но за первым выстрелом последовал второй. Нет, сомнений не было — это не случайный выстрел часового.

— Наши, — высоким, срывающимся голосом сказала Чечориха.

— Наши, — прошептала Ольга.

Одна Малаша не двинулась с места, продолжая стеклянными глазами смотреть во тьму.

— У перкви стреляют, — заметил Евдоким.

— У ихней батареей...

Выстрел раздался у самой стены. Ольга завизжала.

— А ты потише! Здесь они, здесь...

Они сидели, как в западне. Их окружала тьма, ничего не было видно. А за стеной стреляли, бежали, кипела свалка, а они ничего не видели, ничего не знали.

«Пришибут нас немцы, пока наши подоспеют», — подумал Грохач, но ничего не сказал, чтобы не напугать женщин. Он с волнением прислушивался к тому, что происходит за дверью. Но мгновение спустя они услышали, как грохают в дверь приклады, топчут в соседней комнате люди. Грохач стал бить кулаком в дверь.

— Ребята! Выпустите нас! Выпустите нас!

Но за стеной продолжался шум и топот, никто не слышал его криков.

— Ну-ка, бабы, помогите, а то не слы-

шат! До каких это пор мы будем здесь сидеть?

Ольга подскочила и стала упорно бить кулаком в стену. За ней Чечориха.

— Ребята! Выпустите!

За стеной продолжался шум, крики, пальба. Никто не отвечал на отчаянный зов заключенных.

— Крепче, бабы, услышат же в конце концов...

— Что это, неужели в деревне никто им не скажет? Забыли о нас, что ли?

Снова загрохотали кулаки, но одновременно спаружи раздался топот. Повидимому, бойцы выбегали из дома. На мгновение воцарилась тишина. Заключенным показалось, что перед ними разверзлась бездна, что надежда на спасение исчезла.

— Что это? — глухо спросил Евдоким — Наши уходят?

— Ох! — зарыдала Ольга.

— Молчи, глупая! А вы тоже, старый, а глухой! С другой стороны пытаются, не слышишь?

Они умолкли. Шум и выстрелы доносились с удвоенной силой с другой стороны.

— С улицы хотя бы взять...

— Чей это пулемет бьет?

— Немецкий... А теперь наш, слышишь?

Сбившись в кучу, они с волнением прислушивались. Только Малаша сидела неподвижно, словно ее не трогало все происходившее.

— Ох, боже ты мой, боже милостивый, — вздыхал Евдоким.

Грохач оглянулся на него:

— Ты что, молиться собираешься?

— А пусть молится, если хочет, — вступилась за старика Чечориха. — Мешает это вам, что ли?

Евдоким опустился на колени перед дверью и дрожащим, старческим голосом начал:

— ...от глады, труса<sup>1</sup>, мора и вражеского пашествия, спаси господи...

Грохач пожал плечами. За стеной гремели выстрелы, и вдруг послышался страшный грохот. Все задрожало, словно дом падал.

— А-аах! — пронзительно вскрикнула Ольга.

Раздались голоса. Шум усилился. Где-то совсем поблизости раздался страшный женский крик. И почти одновременно опять загрохотали приклады.

— От дверей! От дверей! — скомацдовал Грохач.

Они отступили. Дверь рухнула.

Им показалось, что в темноту ворвался светлый день. Соседнюю комнату уже осве-

<sup>1</sup> Трус — землетрясение.

стал бледный рассвет прорезанный красными языками пламени. Вся запыхавшись, ворвалась Мालючиха.

— Паши, паши! Выходите! — кричала она, плача и смеясь, хватая за рукав Чечориху. — Дети у меня, живые, здоровые... Паши в деревне! Паши в деревне!

— Потяните, бабы! — прикрикнул на них Грохач. — Дайте выйти!

Малаша одним прыжком поднялась с земли и без единого слова выбежала из дому. На пороге сидел молодой боец и перевязывал себе ногу. Уверенным движением она схватила лежавшую около него немецкую винтовку.

— Да ты что? — он протянул руку, но отдернул ее под страшным взглядом полубезумных черных глаз.

— Тьфу, сумасшедшая...

— А ты оставь ей, — вмешался Грохач. — Мало ли тут немецких винтовок?

За домом поднялся крик.

— Удрал! Немец удрал!

Капитан Вернер наполовину задохся от дыма. От беспрепятственной стрельбы в пагучо запертом доме было совершенно темно. Дым душил, ел глаза. Дула винтовок раскалились. Назойливо стопап раненый солдат у стены. Вернеру хотелось обернуться и выстрелить ему прямо в лицо, но он ни на минуту не мог оторваться от своего автомата. В комнате вповалку валялись раненые. Вернер чувствовал, что живым ему отсюда не уйти. Его захватили врасплох, глухо, неожиданно, в момент, когда это казалось ему совершенно невозможным. Да, те, там в штабе, помнили только о хлебе, о сале, этого они требовали без конца. Но обезопасить дорогу в село — им и в голову это не пришло. Они дрожали перед партизанами, постоянно говорили об этих партизанах, но не знали, что делается вокруг, не знали большевистских позиций. Капитан ничего не понимал. — По всем данным фронт был далеко, очень далеко — и вдруг немецкая комендатура окружена не партизанами, что могло бы случиться и в глубоком тылу, а регулярным войском, отрядом Красной Армии. Хлеб, будет вам теперь хлеб!

Раненый стопап все пронзительнее, ему понало в живот. Вот, черт побери, неужели никто не слышит, что здесь делается, не слышит этого крошечного ада, который тут разразился? У него шумело и гудело в ушах, ему казалось, что у него сейчас лопнет голова. До каких пор это может продолжаться? Провода перерезаны, никакой возможности связаться с кем-нибудь. Он слышал, как утихают выстрелы в деревне, слышал, как все шумнее становится на площади у комен-

датуры. Повидному, его отряд уже перебит и комендатура — последняя обороняющаяся позиция.

Вдруг пол под его ногами заколебался, олушительный взрыв потряс черный от дыма воздух. Воздушная волпа отбросила его далеко к стене. Раздался крики. Ставни упали, и он понял, что в окно бросили связку гранат. Взвились языки пламени. Вернер почувствовал болезненный укол в плече. На полу валялись куски мяса, обрывки рук, ног. Нет, здесь больше делать нечего. С быстротой молнии он кинулся в соседнее помещение. Здесь было спокойно. Небольшой чулан имел только одну амбразуру, и пулеметчик без передышки нажимал гашетку, стреляя в пространство, хотя никто уже не отвечал ему — видимо, с этой стороны все ушли. Вернер одним движением выхватил засов. Ставни с шумом распахнулись. Окно вылетело под ударом его кулака. Капитан выскочил на снег, даже не поглядев, нет ли там кого-нибудь, не возьмут ли его сразу на мушку. Он захлебнулся чистым ледяным воздухом, ослепленный утренним блеском снега и неба. Сзади слышались шаги, крики, видимо, красноармейцы врывались в дом. Огромными прыжками он помчался к первому попавшемуся строению, к сараю Мालюков.

Вдруг на его пути, как из-под земли, выросла Малаша. Держа за дуло винтовку, она внезапным движением кинулась к нему. Вернер совсем близко увидел ее смуглое лицо и горящие глаза. Огромные, черные. Растрепанные волосы развевались вокруг этого лица, страшного и вдохновенного. Со всего размаха крепких рук Малаша занесла над головой винтовку. Вернер молниеносно прицелился. Раздался выстрел, и в то же мгновение со страшной силой приклад опустился на его голову. Он застонал и повалился навзничь. Проломлен нос, раздроблены лобные кости, кровь заливала его лицо. Он захлебывался кровью, она заливала ему горло, глаза, густой волной клокотала в глотке. Вернер задыхался.

В двух шагах от него лежала Малаша. Она услышала выстрел одновременно с треском и скрежетом ломающейся кости. Пулю в своем теле она ощутила как счастье. В живот, вот так и надо было, в живот. Больно не было. Нет, это была не боль, это было мненно счастье. Счастливая улыбка появилась на ее губах. Выражение, которое целый месяц накладывало на ее лицо холодную маску старости, бесследно исчезло. Она лежала с раскинутыми руками, лицом к небу, черноглазая, смуглая Малаша, самая красивая девушка в селе. Она еще сжимала в руке винтовку, но все уже было далеко от нее, уплывало

в радужном блеске, в лазури ледяного утра, в искрающемся снеге, на который падали первые лучи солнца.

Эти первые лучи разбудили радугу. Ее бледный полукруг виднелся на небе всю ночь, но лишь в виде беловатой неясной полосы, едва заметной в глубине неба. Теперь солнце насытило ее блеском, теплом, цветом, и она заиграла на небе чистейшим светом, нежными, как цветочный пух, красками. Она переливалась розовыми лестницами, лиловела ранней весенней сиренью, зеленела свежей зеленью салата, играла оттенками фиолетовых колокольчиков, ярким пурпуром розы, золотом лестников горнивета. Ее пронизывал теплый прозрачный блеск, немеркнущий свет.

Глаза Малаши устремились на эту радугу, на сияющий полукруг, высоко раскинувшийся по небу. Уходила жизнь, вытекала из тела вместе с кровью. Костепели пальцы, холодели ноги, застывало тело. А счастливые глаза смотрели на радужный круг, на сияющую дорожку, проложенную из конца в конец по далекому небу. Светлая тропка, ведущая недведомо куда, радостная дорожка во все светлеющей, все более насыщаемой солнцем лазури. Она шла по радужной тропинке, Малаша, красивейшая девушка в селе, лучшая работница в колхозе. Это о ней писали в газетах, для нее зацветали любовью летние ночи.

Не было больше ни снега, ни мороза. Под головой шелестело сено, душистое сено, полное цветов. Журчала вода, где-то совсем близко булькала, била ключом свежая вода. Благоухали луга, издали доносились пение, пели девушки, смеялись ребята, звучала в ночной тиши гармоника. Глаза поискали в небе радугу,— но нет, какая же радуга, ведь это летняя ночь, радостно смеется Иван, вот у самого ее лица его глаза, серые глаза под черными бровями. Образ тускнел, его застилал ночной мрак. А ведь радуга была, только что была радуга. Захотелось увидеть ее еще раз, насытить глаза ее блеском.

Малаша с трудом приподнялась на локте. Дикая нечеловеческая боль пронизала ее, и она снова упала на спел. Почувствовала, что умирает, поняла, что умирает, и ее руки затрепетали в воздухе, пытаясь схватить цветную ленту, раскинувшуюся в небе радугу. Но пальцы поймали уже только тьму. Глаза остеклятели, устремившись в небо. Из-за полуоткрытых губ беснуяли ровные белые зубы, и лицо застыло в странном выражении, в улыбке, полной муки.

Шум за хатами усилился — это бабы вели пойманных немцев. Терпилиха отрыла беглеца в собственном хлеву. Бросив винтовку, он вбежал в открытые двери и спрятался под

охапкой соломы в углу. Его выдали следы на снегу. Терпилиха не стала звать на помощь красноармейцев,— она сама с обеими дочерьми Грохача, вооружившись вилами и граблями, осторожно вошла в хлев.

— Эй, фриц, вылезай! Погоди-ка, Фрося, воп он в солому зарылся...

— Не толкайтесь, сейчас я его пашунаю вилами!

— От степня, от стенки заходи, а то еще выстрелит, сволочь...

Осажденный вояка не понимал слов, но сквозь стебли соломы разглядел запесенные вилы. Он торопливо вылез, отряхивая с себя солому. На нем висели лохмотья порванного мундира, голова была обмотана дамским тряпко ядовито фиолетового цвета.

— Вот так кавалер, поглядите-ка, девушкашки! Ну, двигайся, двигайся...

Испуганный немец поспешно направился к выходу. На пороге он споткнулся.

— Гляди, как он ползет... Выше, выше лапы-то поднимай! Фроська, посмотри-ка, нет ли там винтовки в соломе? Пригодится...

Девушка тщательно обыскала угол.

— Нету, видно, раньше где-то бросил.

— Вот герой. А сапожки-то на нем, фу-ты пу-ты! — заметила Терпилиха.

Ноги немца были обернуты тряпками.

— Ноги-то, видно, отморожены, вон как ташится.

— Никто его сюда не звал, сидел бы дома да грелся у печки, сколько влезет... Так нет, нашей земли ему захотелось!

На улице сбегался народ.

— Откуда ты его взяла, Терпилиха?

— Хо-хо, смотрите-ка!

— А вам что? Не видите, пленного веду?

А вы бы лучше тоже поискали по сараям да хлевам, чем глаза-то таращить. Они теперь расплозились, как тараканы, надо поить!

— Правильно говорит,— заметил хромой Александр.— Пу-ка, бабы, поищем, не забрался он куда.

Все разбежались, схватив вилы, лопаты, топоры.

— Вместе пойдем, вместе!

— Кучей веселей!

— Ого, Ленька бонется, как бы на немца не наступить...

— Коли падо, я так наступлю, что он и не пикнет!

— Пу, пу, бабы,— успокаивал их Александр,— поменьше болтайте.

Они пошли всей толпой от хаты к хате. Перетраховали солому в овинах, заглядывали в хлева. Дети пугались под ногами, лезли во всякий угол, радостно пищали.

Прибежал замыхавшийся Саша:



— У нас в хлеву немец!

Толкая друг друга, все кинулись туда и с гордостью вывели трясущегося от страха фрица. Красноармейцы, которые тоже обыскивали деревню, улыбались, встречая баб, но те знали все углы и закоулки, и поэтому их поиски были успешнее.

— Ну что, ребята, у кого больше пленных?

— У вас, у вас,— смеясь, признавали бойцы.

— Где их комедант? — волновался Шалов.— Поищите, ребята, неужели сбежал.

Они осмотрели убитых немцев. Фельдфебель, солдаты.

— Капитан, ищите капитана!

А Вернер лежал в глубоком снегу за сараями. Один глаз вытек, выбитый ударом приклада. Но другой прямо смотрел в раскинувшееся над головой небо. Невыносимая боль разрывала голову. Казалось, что по ней неустанно бьет огромный молот, так что сыплются красные, рыжие, пурпурные искры. В глазу, которого уже не было, бушевало пламя, в горло струилась кровь. Вернер тропливо глотал, глотал ее, захлебываясь, а она все текла, словцо из неисчерпаемого источника, из какого-то бездонного колодца, и приходилось все глотать, глотать. Он понимал, что иначе она задушит его, зальет эта приторная жидкость. Горло болело, он уже не мог глотать нормально, мучительные судороги гортани сотрясали все тело. Он чувствовал, что замерзает, что неизбежно замерзнет, если его сейчас же не найдут, не помогут ему. И содрогнулся. Кто поможет ему? Мужики, проклятые мужики из этого проклятого села. Его охватил ужас: вдруг он не умрет и попадет на вилы мужикам или в плен к большевикам. Всюду было тихо, стрельба прекратилась. Он не обманывал себя, понимая, что его отряд перебит, что те победили. Отчаяние когтями впилось в сердце. Его, его, капитана Вернера, захватили врасплох эти хамы в серых шинелях. Как это могло случиться?

Он устремил единственный глаз в далекую лазурь, словно ища там ответа. И тут он увидел радугу: огромный полукруг, раскинувшийся из конца в конец горизонта, сверкавшую ленту, связывавшую небо с землей. Сняли мягкие, насыщенные светом краски. В отуманенной голове блеснуло воспоминание, где это он видел такую радугу? Ах, да, перед этой вьюгой... Как тогда сказала баба? Она молтвердила, что радуга доброе предзнаменование.

Капитан Вернер застопал. Радуга смеялась радостным блеском. Она была добрым предзнаменованием — не для него. Радуга радост-

но спяла, но он уже не видел ее, погруженный во мрак.

## Х

Их хоронили на площади у церкви. И тех, что погибли этой ночью, и тех, что уже месяц лежали в снегу в овраге.

Федосья Кравчук сама помогала перепести тело сына. Она поддерживала неподвижную, странно легкую голову, чувствуя на пальцах мягкие волосы. Без боли, без горечи смотрела она в черное, словно вырезанное из дерева, лицо. Вот Вася и дождался. Братские руки выкопали его из снега, братья хоронят его в братской могиле.

Сани медленно двигались по крутому склону оврага. Федосья шла рядом, поддерживая тело сына, чтобы оно не соскользнуло, не упало на снег. Осторожным, материнским движением она поправляла тела тех, других, незнакомых, что лежали рядом с Васей.

— Девушку похоронить вместе с ними,— распорядился Шалов.— Она погибла в борьбе, как боец.

— Она уже женщина, у нее муж в армии,— сказала Малючиха, но когда принесли тело Малаши, Малючихе показалось, что она ошиблась. На снегу лежала девушка, молоденькая девушка. Такая, какой она ее помнила год назад, до того как была сыграна шумная свадьба.

— Красавица,— тихо сказал кто-то из красноармейцев.

Да, это была она, Малаша, красивейшая девушка села. На щеки падала тень от длинных ресниц. Волосы мягкими волнами разметались вокруг лица. Черные брови, как ласточкины крылья, лежали на ровном, чистом лбу. На лице застыла страдальческая улыбка, улыбка, от которой нельзя было оторвать глаз.

Осторожно спяли с виселицы тело Левонюка. Левонючиха чувствовала уже первые родовые схватки, но не согласилась остаться дома. Она осторожно приняла в объятия закоченевшее черное тело сына, которое месяц качалось на виселице среди снега и вьюги.

— Тихонечко, тихонечко,— говорила она, словно он мог еще что-то чувствовать, словно ему еще можно было причинить боль.

Девушки помогли ей. Он был легкий, почти невесом, и его шестнадцатилетнее лицо казалось теперь вырезанным из дерева липом ребенка.

Выкопали могилу, широкую, просторную, и положили их всех рядом. Окоченелые, почерневшие трупы тех, что погибли месяц назад, и растерзанные останки Сергея Раченко и Сердюка, который словно спал, и молоденького стрелка, погибшего у комедатуры, и Малаши. Говорил от имени всех товарищей

Шалов. Суровые и простые слова далеко раз-  
носились в чистом воздухе, неслись к стек-  
ляному небу в радужном поясе.

Все село — жепщины, старики, дети —  
стояли вокруг могилы и слушали, глядя вниз,  
где, один возле другого, рядом лежали бойцы  
Красной армии и Малаша. Никто не плакал.  
Все стояли, строгие, обнажив головы. Фе-  
досья Бравчук отдавала родной земле останки  
единственного сына. Отдавала земле тело до-  
чери старая Шариха. Остальные были незна-  
комые, — по всем казалось, что в могильной  
яме лежат их сыновья, мужья, братья. В этот  
день ни у кого не было более близких лю-  
дей, чем эти погибшие, глядящие мертвыми  
лицами в небо. Это были бойцы Красной Ар-  
мии. Их армии.

— Родина никогда не забудет, — растро-  
ганным голосом говорил Шалов. Да, они  
знали, что никогда не в состоянии будут за-  
быть. Что в их памяти навсегда останутся  
лица погибших и этот день, когда они пре-  
давали их земле. Общая могила соединила  
тех, что погибли, отступая, под ураганным  
огнем неприятеля покидая село, и тех, что  
пришли его освободить и вырвали его из рук  
врага.

Спокойны были взоры людей. Да, это была  
война. Кровью, огнем и железом обрушилась  
она на село. Но здесь, перед ними, лежали  
те, что были символом и знаком непоколеби-  
мой веры, поддерживавшей село в самые  
страшные, в самые черные дни. Вера в то,  
что они придут, что последнее слово будет за  
ними. Шалов наклонился, взял комок смерз-  
шейся земли и бросил в могилу. И все, один  
за другим, стали наклоняться, чтобы бросить  
в могильную яму горсть родной земли. Пусть  
им спокойно спится в могиле. Пусть они чув-  
ствуют на сердце родную землю, свободную  
родную землю. Братские руки выкопали им  
эту могилу, братские руки покрывали их  
тела родной землей.

— Брось и ты, Нюра, брось, — обратилась  
мать к двухлетней девочке.

Ребенок взял горсточку земли и осторожно  
бросил вниз. Детские ручки выкапывали из-  
под снега темную землю и стаскивали ее  
вниз. Бойцы работали лопатами. Наконец, яма  
сравнялась с землей. Над могилой вырос хол-  
мик.

— Весной посадим цветы, — сказала Ма-  
лючиха. — Зеленую траву поседем, — прибави-  
ла Фрося. — Из каждого двора рассады припе-  
сем.

Они медленно расходились. Не было печали  
в сердцах, а лишь торжественная серьезность.  
Они погибли за свою землю. Так и раньше  
бывало, хотя бы и в восемнадцатом году, и  
все это помнили. Мало ли тогда народу по-

гибло и из их села? Таков уж порядок ве-  
щей, что землю защищают кровью и жизнью  
людей, выросших из этой земли и живущих  
на этой земле. И это просто и ясно. Расходи-  
лись в молчании, но уже минуту спустя, в  
селе отовсюду доносился шум и разговоры.  
Женщины танцуют красноармейцев к себе,  
каждой хотелось, чтоб и у нее остановились  
бойцы. Угостить их, накормить, обогреть.  
К Шалову отправилась целая делегация.

— Товарищ командир, у нас к вам прось-  
ба, — начала Терпилиха. — Хотелось бы уго-  
стить своих, а нечем...

Он рассмеялся:

— Что же я тут могу поделывать?

— Да у нас бы нашлось чем, только вы  
нам помогите... У нас все законано, спрятано  
в землю. Когда немцы подходили, мы попря-  
тали. А как же теперь откопать? У нас не-  
чем, земля, как камень. А у вас инструменты  
есть, вы дали бы красноармейцев, они отко-  
пали бы в два счета.

— Что ж, давайте. Эй, ребята, кто хочет  
помочь?

Добровольцев нашлось достаточно. Женщи-  
ны, проваливаясь по пояс в снег, отправи-  
лись в поля.

— Здесь, вот у этого кустика...

— Что вы говорите, мама! Вот с этой сто-  
ропы, с этой!

— А ты не вмешивайся, мал еще! Не  
помню я, что ли?

— Овечку зарежьте, ничего овечка, сва-  
рите в котле, будет что поесть, — уговаривал  
своих постояльцев хромой Александр.

— Да ведь у вас всего одна!

— Одна... Было больше, да немцы поре-  
зали. Только эта и осталась.

— Неужто мы у вас последнюю овцу забе-  
рем? Нет, так не годится!

Он умоляюще сложил руки.

— Сыночки, не обижайте вы меня. Я от  
всего сердца даю, от всей души. Чем я вас  
угощу? Только эта овца и осталась... Вы уж  
не отказывайтесь, не обижайте...

Бабы вытаскивали из тайников, с черда-  
ков, из подпола все, что у них было. Сало  
зарезанных еще осенью свиней, связки чес-  
ноку, которого немцы не трогали, бутылки  
меда, даже семечки. Торопливо доили ко-  
ров, — у кого уцелели, — чтобы отнести мо-  
лока рапеным.

Рапеные разместились в двух комнатах  
сельсовета. Там уже суетилась го всеобщей  
зависти Фрося, которая когда-то окончила  
санитарные курсы. Важничая, она бегала из  
комнаты в комнату в белом фартуке и белой  
косынке, крепко стягивавшей волосы. Жел-  
щины и девушки столпились у дверей.

— А вам чего? — бросил им на ходу мо-

людей веселый врач, который ночью вместе с бойцами брал комендатуру, а теперь как раз закапчивал перевязку.

— Помочь хотим... в лазарете...

— Что ж тут помогать? Все уже сделано, двух девушек я принял, санитары у нас есть...

— Пол бы вымыть, грязно тут...

— Пол? Пол, пожалуй, действительно хорошо бы вымыть.

Они кипулись по домам, и вскоре явились целой толпой с ведрами, тряпками.

— Что это вы, вдесятером пол мыть будете?

Шлопотом, чтобы не помешать раненым, они принялись ссориться между собой. Наконец разделили полы, и каждая стала мыть свой кусочек.

— У раненого одеяло падает, а ты не видишь,— резко сказала Фросе Пызичиха.

— Падает, так поправьте.— огрызнулась девушка, проходя с тазом, полным кровавой воды.

Пызичиха подошла к кровати и медленно, старательно покрыла раненому ноги, расправила одеяло. И так уж не отходила больше от раненых.

— А вы здесь что делаете? — заметил ей врач.

— Одеяла поправляю. Одеяла с них падают,— ответила она с достоинством, поправляя раненому подушку.

Он махнул рукой:

— Ну поправляйте, если вам уж так хочется.

Да, ей очень хотелось. Всем хотелось. Хоть чуточку приложить руки, хоть чем-нибудь помочь им. Подать воды, вымыть кружку, выстирать тряпки, отвести волосы со лба, присмотреть, чтобы кто не оставил дверь открытой, не нанесли холоду.

В комнату робко протиснулась Лида Грохач.

— Тоже хотите помогать? — спросил врач.

Она покачала головой:

— Женщина у нас рождает... Не зайдете ли, вы ведь доктор...

— Вот тебе па! Я же хирург...

— Да это ничего, доктор — это уж доктор. Очень ведь мучается. Утром-то она немцев вытаскивала за ноги из хаты, ну схватки и начались...

— Что ж, делать нечего, надо идти,— весело решил врач.— Новый гражданин рождается, надо помочь. Раненых оставляю на тебя, Кузьма. Ну, где это?

Лида торопливо повела его к хате Левонюков. Потирал озябшие руки, он шел за ней.

— Вы бы варежки надели, такой мороз!

— Да вот, были варежки, а ночью про-

пали... Обронил, что ли. Теперь остался без варежек.

Она робко взглянула на него, потом быстро стащила с рук толстые косматые перчатки собственной работы, вышитые по краям красными и голубыми цветами.

— Что вы, что вы! — защищался он. — С чем же вы-то останетесь?

— У меня есть другие,— солгала она.— Я хорошо спрятала, немцы не нашли, а вы ведь доктор, вам руки нужны.

Заметив, что у нее дрожат губы и она готова расплакаться, он засмеялся:

— Ну, раз вы такая упрямая, давайте!

В сенях у Левонюгов толпились бабы. Они быстро расступились перед врачом. Они уже знали его, знали, кто это.

— А ребенок уже родился,— заметила одна.

— Так что я здесь и не нужен?

— Нет, вы все же загляните к ней, загляните, очень уж долго она мучилась, совсем ослабла.

— Вот, тетушка, я вам доктора привела,— объявила Лида.

— Что ты, что ты, зачем доктор? Такой навилась больная.— Вы вот ребенка посмотрите, а со мной ничего не делается, что я, в первый раз, что ли, рожаю?

Он наклонился над люлькой:

— Мальчик?

— Мальчик, мальчик. У меня только одна девочка, Нюрка, а то все мальчики... Такой уж у нас род...

— Молодец-мальчик. Как же вы его называете, а?

— Да мы уж тут с бабами говорили... Я было хотела Митей назвать, по старшему брату, да, говорят, нехорошо это...

— А что с братом?

— Да ведь его брата, старшего моего, херонили сегодня вместе со всеми... Месяц на виселице висел сын-то мой, а сегодня я его сама сняла,— спокойно объяснила женщина.

Врач смутился.

— Я не знал, что это ваш сын...

— Мой, самый старший, как же...—

К партизанам пробирался, ну, поймали его немцы... Самый старший, семнадцатый год ему пошел. Я и хотела назвать, как и его, Митей. А они не советуют, говорят, не надо, так я уж теперь и сама не знаю, как...

— Назовите Виктором, — посоветовал врач.— Победитель значит. Как раз сегодня родился, вот и назовите победителем...

Она подумала мгновение.

— Ну, если это значит победитель, пусть будет Виктор. Как, Лида, а?

— Раз вам так советуют...

— Что тут долго думать! Во всем селе

ни одного Виктора нет. Пусть будет Виктор. Да вы присядьте, присядьте, посидите с нами.

— Спасибо, мне возвращаться надо, раненые ждут.

— Вы уж всех перевязали, бабы говорят. Посидите минутку. У всех в хатах красноармейцы, а у меня, что я вот родить собралась, никого... А ты, Лида, достань спирт из шкафчика, там стоит бутылочка.

— Вам, может, лучше не пить,— робко пробормотал врач.

Она улыбнулась:

— Почему же это? Вы, как раненых лечить, учены, а бабьего пуга, видно, не понимаете. Стопочка спирту сразу на ноги поставит.

Он не возражал больше. Лида налила спирту в толстый зеленоватый стакан.

— За поворожденного, чтобы рос здоровый...

— Чтобы никогда в жизни немцев в хате не увидел.

— Чтобы с его рождения каждый день обозначался новой победой.

— Чтобы вырос таким, как Митя...

Врач смертельно устал, не выспался, и спирт разлился по его телу волной приятного тепла, ударил в голову. Он сидел на лавке, и ему казалось, что война, борьба остались где-то далеко, далеко. Приятно белели стены хаты, ярко выделялись парисованные на печке цветы и вышитые полотенца по углам. Хорошенькая Лида улыбалась ему. И все было так, словно за несколько хат отсюда не лежали раненые, словно не вырос могильный холм на площади у церкви, словно не было того страшного пути, которым он шел с первого дня войны.

— Лида, покажи-ка доктору карточку, она там за иконой, покажи...

Врач взял в руки выцветший снимок. На него задорно смотрело мальчишечье лицо, простое, обыкновенное лицо деревенского паренька.

— На морозе-то он так изменился, что и не узнаешь. А раньше воц какой был,— спокойно объясняла мать.

И врач вспомнил свою мать. Ее дрожавшие белые руки, когда она прощалась с ним, ее срывающийся голос, ее большие, потемневшие от волнения глаза. Вспомнились ночи, полные тяжелых размышлений, и страх, которого он не мог преодолеть, страх перед каждым новым транспортом раненых, перед кровью, страданием, смертью. «Первы»,— говорил он себе в таких случаях, но это не помогало. Первы оставались нервами и давали себя чувствовать все назойливее. Вместо того, чтобы окрепнуть за время войны, они растатывались все сильнее.

Он взглянул на роженницу. Она лежала, откинувшись на клетчатую, розовую подушку. Гладко причесанные волосы обрамляли спокойное лицо. Целый месяц эта женщина слушала вой ветра, раскачивавшего тело ее старшего сына. Целый месяц она с детьми умирала от голода и страха. Беременная, она несла к могильной яме снятое с виселицы тело шестнадцатилетнего сына, а потом пошла рожать. И вот она спокойно разговаривает с ним, угощает его последними каплями спирта, который ей удалось утаить от немцев.

Бабы из сепей перешли в горницу и расселись по скамьям и табуреткам. Он украдкой рассматривал их. Все они жили под немецким игом, под немецким кнутом. Их мужья и сыновья далеко, на фронте. Ни одна из них не знает, живы ли ее близкие, или их уже нет. Все они пережили морозы этой страшной зимы, голод, который принесли с собой немцы, у многих на теле были кровоподтеки от ударов приклада. Но все это надо было знать, заметить что-нибудь по их поведению было невозможно. Лица были спокойные, ясные, полные достоинства, вытекающего из каких-то затаенных источников, из самой сокровенной глубины сердца.

«Крестьянки»,— подумал он, и это слово приобрело теперь для него какую-то новую окраску, новое значение.

— Был бы еще спирт, мы бы еще выпили, помянули Митю,— тихо сказала Левонючиха.

— Ну, чего там,— резко вмешалась Терпилиха.— Помнить мы его и так будем, и без поминок. Правда, бабы?

— Как же не помнить!

— А на место его Виктор есть. Буде расти, как Митя, и работать как следует, а если понадобится, и жизнь за родину отдаст, как Митя.

Спиртные пары окутывали мозг легким приятным туманом. Хотелось сказать эти женщинам что-то хорошее, приятное, и вместе с тем сердце сжималось от нескончаемой жалости к погибшему на виселице мальчику, к матери, которая сама вынимала его из петли, от жалости ко всем им, пережившим такие муки.

— Ты пьян,— сказал он себе сурово, и это не помогло, и глаза его застлало слезами.

— Что это, что с вами? — забеспокоилась Лида.

— Жалко,— с трудом пробормотал он, стараясь овладеть собой.

Левонючиха внимательно взглянула на темными глазами.

— Печего жалеть, не такое время, чтобы жалеть,— сказала она тихо.— Нет Мити, ест

Виктор. Народ у нас крепкий, из земли вырос... Срубил грушу — оглянуться не успеешь, как из земли новая поросль попрут, к солнцу потянется... Мити пет, и других, но земля осталась, и народ остался. Нам тоже не раз думалось, что, пока дождемся, всех перебьют. А все же дождались... Народ все переберет... Нет, он не по зубам немцам, наш народ.

Туман перед глазами редел, рассеивался. Эта крестьянка отвечала на все трудные, запутанные мысли, которые столько раз мучили врача, отвечала просто, спокойно, по-крестьянски. И ему стало стыдно.

— Да, да...

— А вы молодецкий, вам и тяжело. Ничего, кончится все это, будете жить спокойно, больных лечить, а мы — свое дело делать...

Он вскочил, вспомнив, что засиделся.

По селу раздавались голоса. Где-то на задах, не глядя на мороз, пели девушки. К ним присоединялись мужские голоса. Песня разливалась в ледяном воздухе, в чистой лазури, не тревожимой ни малейшим дуновением ветерка. Песня неслась ввысь, звенела жаворонком, словно в награду за целый месяц молчания, которое гробовым савапом лежало над селом.

Лежить нелюбий на правій рученці,  
Боюсь його пробудити...—

высокими голосами вытягивали девушки. Их поддерживали сильные голоса красноармейцев.

С ранних лет привыкало село к песне. Песней приветствовало зарю, песней прощалось с уходящим днем, с песней укладывалось на ночь. Звенящая песня помогала собирать пшеницу с поля, помогала сгребать нахучее сено, помогала детям пасти коров, мужчинам — молотить. Под звуки песен девушка шла замуж, и песнями прощались с умершими, с отходящими в землю. Песни были радостные и тоскливые, прежние, более старые, чем придорожные лиры, и новые, рожденные из переживаемой минуты. Люди привыкли соединять песню с жизнью и жизнью с песней.

Целый месяц молчали уста, целый месяц ни разу не сорвалась с них, ни разу не звучала песня. Молчали хаты, молчала дорога, молчали сады.

А теперь снова можно было петь. И девушки распелись на все село, на все далекие снежные равнины, распеваали родную, близкую, вырывающуюся из сердца песню. Песни текли одна за другой. И над оврагом, и у дороги, и на площади, и перед сельсо-

ветом, где уже хромой Александр, взобравшись на лестницу, прибывал большую вывеску: «Сельский совет». Дети стояли толпой и, задрев головы, глазели на знакомую надпись, знакомые буквы. Вспутри торопливо убрали следы ночного боя. Заделывали досками отверстия в стенах, прорубленные шемидами, выносили мешки с песком. Бабы, отплеываясь, смывали с пола немецкую кровь.

— Чтоб до вечера и следа не осталось, — сказала одна, и все горячо поддакнули.

Именно этого страстно хотелось всем — чтобы в первый же день, еще до захода солнца, до наступления ночи не осталось в селе и следа тридцатидневного немецкого господства. Кто-то по собственному почину разрушал виселицу на площади, тщетно пытаясь выкопать столбы из замерзшей земли, уже кто-то тащил пилу, чтобы спилить их вровень с землей, уже бабы поспешно белили запущенные хаты, выносили из сеней, лопатами и вилами выбрасывали немецкий навоз. Работа кипела, как во время страды.

— Чтоб и следа не осталось, — говорила бабы, отмывая полы, забеливая стены.

— Чтобы и следа не осталось, — повторяли за ними дети, собирая обломки железа, пустые гильзы, доску немецких мундиров у комендатуры и на батарее.

Красноармейцы, бредя по пояс в снегу, торопливо тянули телефонные провода, лейтенант Шалов устанавливал связь. В помещении школы шел допрос немецких пленных. Людям странно хотелось послушать, но они понимали — дело военное, путаться нельзя.

— Няньчаться с ними, — волновалась Терпилиха, — вопросы, допросы! За сарай бы их — и пулю в лоб!

— Много вы понимаете! Надо же все вы пытаться у них, а то что же это?

— Ну пускай, а потом уж обязательно пулю в лоб!

— Пленным-то? Кто же пленных копчет? Терпилиху словно ножом кольнули.

— Ну и выдумала! Пленные! Ты видела, что они с нашими пленными делают? Пленные! Я бы их в смоле варила, шкуру бы с них сдрала! А мы ничего, вежливоенько заперли их, только и всего!

— Это уж не от нас, — упиралась Пельчариха. — Такой уж военный закон — пленных оставлять в живых...

— Военный закон, военный закон! Какие теперь военные законы? Это, может, в ту войну они были, а не теперь. А это военный закон — детей убивать, людей мучить?

Та вздохнула.

— Что ты мне-то рассказываешь, знаешь ведь сама, что они со мной сделали.

— То-то я и слушаю, что это ты так за

военный закон заступаешься. Военный закон для бойцов, а это разве бойцы? Фрицы вшивые!

Цельчариха не ответила. Она и сама думала так же — так думали все. Но было стыдно делать что-нибудь так же, как немцы.

— Посидит у нас, отбестся на наших хлебах, а потом живой и здоровый поедет домой! Как в сберегательной кассе воину пересядет! — волновалась Терпилиха.

— Лейтенант, уж он распорядится как надо, — вмешался в бабьи споры Александр.

— Да разве я что говорю? Я за лейтенанта распоряжаться не собираюсь...

— Этого только нехватало, — буркнул Александр и заковылял домой, чтобы намазывать еще одну вывеску: «Школа». Конечно, так красиво, как было раньше, ему не намазывать, но это ничего, лишь бы стереть следы немецких лап, лишь бы вернуть селу прежний вид.

И вдруг в звенящий песнями воздух, в чистую ясную лазурь ворвался перекатывающийся грохот. Песня умолкла, словно вбитая в землю. Дети у хат окаменели в неподвижности.

— Что это?

Грохот повторился, оглушительный, гудящий. Небосклон загремел пальбой.

— Пушки стреляют...

— Это в Охабах, в той стороне...

— В Зеленцах...

— Наши стреляют?

Они прислушивались. Гремела артиллерийская пальба, перекатывалось долгое эхо выстрелов. Все притихли.

— Что там еще такое?

— Бой идет...

— Наши орудия бьют, наши...

— А ты откуда так разбираешься в артиллерии?

— Я же слышу, звук оттуда идет, от наших.

Они всматривались в лица красносармеев, но те были спокойны.

— Наши, наши бьют, надо клин расширить.

— Какой такой клин?

— Да вот, мы тут прошли, а сзади и по сторонам остались немцы.

— Ну вот, я сразу сказала — клин! — оживилась Терпилиха.

— Ничего ты, тетка, не говорила.

— Да ты что? Не слышал, так печего и мудрить! Я сразу говорила — клин... Всякому понятно, все ведь знают, что в Охабах еще немцы...

— Теперь только погляди, как фрицы побегут...

— Сюда? — испугалась Ольга Палапчук.

— А хоть и сюда! — Терпилиха воинственно уперлась руками в бока. — Уж мы их здесь встретим, встретим!

— На что им сюда переть? Там есть другая дорога, прямо на запад.

— Если который живой уйдет...

Они слушали. Где-то далеко шел бой, гремели орудия. Расширялся клин, вбитый в немецкие позиции.

Лейтенант Шалов допрашивал немцев. Они стояли перед ним в теплой комнате и тряслись, дрожали мелкой, первой дрожью. Он смотрел на них, худых, оборванных, в парывах, в зловонных гноящихся болячках. В комнате было тепло, и их невыносимо кусали вши, они украдкой чесались, не сводя глаз с командира. Из всего гарнизона капитана Вернера осталось пять человек.

— Надо отправить их в тыл, что тут с ними делать, — решил Шалов.

— Отправить? — поморщился коренастый парень. — На месте бы их, товарищ лейтенант...

— Что ты там болтаешь?

— Жаль им конвой давать, бойцов мучить. Тащись с ними по снегу...

— Пошли ко мне сержанта, — распорядился Шалов, не вдаваясь в пререкания.

Он вышел в сени передохнуть. Он целый час пробыв в одном помещении с пленными, и ему казалось теперь, что по нем ползает вши, что к нему пристала грязь, что форма на нем пропитана отвратительным запахом давно немых, покрытых парывами тел.

Шалов полной грудью вдыхал морозный воздух. Лазурь смеялась солнечным блеском, искрилась от крепкого, упрямого мороза. От дальних хат доносилась песня, и Шалов заслушался звучным напевом, ласковым, задорным, возвращенным ветром далеких степей, шумом буйных вод, бегущих в море, широким простором. В песне звучало далекое эхо казачьего клича над днепровскими порогами, тоска хлопцев-молодцев в турецкой неволе, стук конских копыт по дальним трактам. Девушки пели, и, казалось, поет все село, глядя на ослепительное, золотое солнце на морозном небе.

Красноармейцы вывели из дому пленных. В круг немедленно собралась толпа. Немцы ежились под взглядами баб, втягивали головы в плечи, дрожа от холода.

— Отправляете их? — враждебно спросила Терпилиха.

— Отправляю в штаб, — сказал Шалов, оглядывая кучку немцев в оборванных зеленых шинелях.

— Это тот, это тот, что вешал Леоновка! — закричала вдруг Пельчариха.

Бабы бросились вперед.

— Тот, который, который?

— Вот тот, рыжий, смотрите, все же, все видели! Тот, высокий! — кричала она.

— Правда, он и есть...

Пленных окружали все теснее. Женщины напирали, показывая пальцами на высокого немца с выбивающимися из-под шапки рыжими волосами. Он понял, что говорят о нем и отступил за спины товарищей.

— Ишь, прячется! Товарищ лейтенант, вот этот парня вешал!

— Какой там парень! Митьке не больше шестнадцати лет было! Ребенка вешал, сволочь!

— Эй бабы, чего тут долго разговаривать! Возьмемся-ка за него сами, — командовала Терпилиха.

Красноармейцы неуверенно оглядывались кругом.

— Да постойте, гражданка, что вы тут выделяете? — рассердился Шалов. — Отойдите, прошу вас!

— Товарищ командир, не уйдет он живым отсюда! Прикончим мы его, и все будет в порядке! — настойчиво требовала Терпилиха.

Немец, видимо, понял, в чем дело. Его трясло, зубы у него стучали.

— Порядки здесь навожу я, а не вы, — сурово сказал Шалов.

Из толпы выдвинулась Федосья Кравчук.

— И что ты, Горпина, не в свое дело суешься? Что ты путаешься, куда не просят? Бойню устроить захотелось, мало здесь мертвых было! Думаешь, умнее тебя и судьбы нет?

Терпилиха отступила на шаг и смотрела на Федосью во все глаза, не понимая, чего та хочет.

— Прикончить его хочешь? Легкой смертью, а? Минутка, две — и кончено? За Леоночку, за наших детей, за всех загубленных он двумя минутками расплатится? Нет, пусть поживет, пусть дожидется своей судьбы, пусть до конца ее выпьет, до последней капли! Пусть вернется в свою землю и посмотрит, как им всем придется отвечать за все, за все! Не за одного Леоночку!

— Правильно говорит, — сказала Пельчариха.

— Верно, Федосья! — раздались голоса.

— Одно тебе скажу, Горпина, кто из них сейчас умирает, большой выигрыш выигрывает! Нет, дай ему посмотреть, как их войско назад покатыся, как они будут бежать, полыхать с голоду, валяться в степи, как из-за каждого кустика, из каждого лесочка будут выскакивать на них люди с вилами, с топорами! Как они будут подыхать в канавах и никто им капли воды не подаст! Пусть видит, пусть смотрит, как его города и села

ветер развеет, как на их месте останется одна пепел да крапива! Дай же ты ему дождаться, чтоб его собственная баба прокляла, чтоб от него родные дети отrekliсь! А ты ему хочешь легкую смерть подарить? Глупая ты. Горпина, хоть и старая. Умереть легко, но оп-то пусть живет, пусть сто лет живет! Пусть молит смерть, чтобы она пришла, а она не придет, пусть и смерть отвернется от немецкой палалы!

Она захлебнулась словами и умолкла, прижимая руки к сердцу.

— Правду говоришь, Федосья! — поддержала ее Пельчариха, и круг баб расступился.

Два красноармейца вывели пленных на дорогу. Терпилиха стояла на месте и смотрела им вслед.

— Э-эх! — она отчаянно махнула рукой. — Посмотреть на вас, бабы, можно подумать — пивесть какие лютые, а как у вас быстро злость проходит...

— По-твоему выходит, Федосья Кравчук не лютая?

— Нейопятея мне ее разговор. Я по-своему, попросту.

Она вдруг умолкла и прислушалась.

— Чудится мне, или что в самом деле из пушек стрелять перестали?

Пузыриха тоже прислушалась.

— И верно тихо. Там все уж давно утихло, а мы тут из-за этих пленных такой гвалт подняли, что и не заметили.

— Отчего же это может быть, бой кончился, или что еще? Надо бы расспросить, только кто это может знать?

— Командир наверно знает.

Но не только женщины обратили внимание на внезапную тишину, которая воцарилась там, вдали, где чернели первые леса. Шалов ежеминутно вбегал в комнату, — там не ходил от провода дежурный.

— Звони, звони! Не отзываются?

— Не слышать!

— Пошлите на линию, не испортилось ли что. А ты звони, звони...

Накопец, телефон зазвонил. Красноармеец быстро записывал.

— Ну, что там?

— Наши взяли Охабы и Зеленцы.

Шалов вышел на улицу. Первой, кто попала ему на глаза, была Терпилиха.

— Наши взяли Охабы и Зеленцы!

Она всплеснула руками.

— Потому это там и утихло?

— Потому.

Она подхватила юбку и бегом кинулась вдогонку Пузырихе.

— Слышишь, Наталка? Наши взяли Охабы и Зеленцы! Сам лейтенант сказал... Как толь-

ко телефон позволил, он сейчас вышел и говорит мне: пани взяли Охабы и Зеленцы.

— Взяли!.. — сказала Пузыриха высоким, звенящим голосом.

— Да ведь я тебе сразу говорила, — только затихло, я и говорила, что, видно, бой закончился.

— А как кончился, ты и не знала...

— Чего тут не знать? Как ему еще копиться? Погнали немцев, расширили клин, да все! Понимаешь?

— Больно ты ученая стала в военных делах!

А телефон в доме все звонил и звонил. Шалов громко кричал в трубку:

— Где? В каком направлении?

В селе все закипело. Торопливо сбегались красноармейцы.

— Куда это, куда? — волновались бабы.

— Получен приказ. Двигаемся дальше.

— Куда дальше?

— На запад, мать!

Женщины расстроились. Это показалось им неправдоподобным. Федосья Кравчук подошла к лейтенанту.

— Как же так? Борщ поспевает, вы еще не поели как следует...

— Ничего, мать, я не голоден. Пришел приказ — вперед! А мой борщ другие съедят, сюда идет другая часть, они тут будут стоять гарнизоном, их уж угостите...

Бойцы лихорадочно собирались, оставляя ложку в миске, недодеятельный ломоть хлеба.

— Ох, ребята, погостили бы у нас еще снек-другой, — вздыхали бабы.

— Спасибо! Нам некогда. К вам другие придут, а мы пойдем! Там нас ждут!

— Конечно, ждут, — вздыхали женщины и выходили на улицу, где строился отряд. Прочихать высыпали старые и малые. Женщины вздыхали, некоторые всхлипывали. Сонька Лимаи кинулась на шею молоденькому красноармейцу, со слезами цепляясь за него.

— Ну и Сонька! Пашла себе, успела, — смеялись бабы.

— А парень ничего, брови-то какие!

Лейтенант Шалов поспешно вышел из дощ. Отряд был уже построен.

— Вперед, марш!

— Будьте здоровы! Благополучно вернуться! Воюйте хорошенько! — кричали в толпе.

Снег заскрипел под ногами двипувшегося

отряда. По обочине, стараясь попасть в погу бойцам, бежали дети, спешили женщины, подбывая длинные юбки.

Бойцы, не торопясь, дошли до небольшого пригорка и здесь остановились.

Далеко-далеко на запад тянулась ослепительно белая снежная равнина. Вдали на чистом небе темнела узкая полоска дыма — это догорала несчастная Леваневка, село, которое с четырех концов подожгли немцы. Пожар уже не раз погасал, но огонь вновь и вновь разгорался на пепелище, и тогда чистую лазурь снова заволакивал темный дым.

Лейтенант Шалов с пригорка глядел на запад. Перед ним расстилалась снежная равнина, необъятная земля, украинские степи под немецким ярмом. Туда, на запад, простиралась Украина — в крови, в пламени, с задушенной на устах песней, с грудью, растерзанной немецким сапогом, раздавленная, оплеванная, закованная в цепи. Неустрашимая, борющаяся, негибная.

И вот он увидел, как по небу, ясной четкой дорогой, сияющим путем раскинулась радуга, яркая полоса, переливающаяся светом и красками цветочного духа и бледно-розовым пиновником, и алой розой, бледной сиренью и фиалками. Пылало золото лепестков подсолнуха и дрожала зелень едва распустившихся березовых листьев. И все пронизывал мягкий, ясный блеск. Радуга тянулась с востока на запад, связывая пылающей лентой землю с небом.

Шалов обернулся к своему отряду.

— За мной, шагом... марш!

Ровным, широким шагом они двинулись вперед. Провожавшие остались на пригорке. Все молчали. Отряд уходил по дороге в безграничную даль ослепительно белой равнины, в сияние радуги.

Красноармейцы уходили к видневшимся вдали струйкам дыма над сожженной Леваневкой, к прикорнувшим в снежных сугробах деревьям. Сжимая в руках винтовки, они шли в украинскую землю, растоптанную, задушенную немецким ярмом. Непобедимую, борющуюся, негибную.

Люди молчали, до боли, до слез напрягая зрение, чтобы видеть их подольше, — подольше. Пока боевой отряд не растаял в лазурной дали, в снежном пространстве, в стоцветном, всепоглощающем блеске радуги.



## Баллада о танке „КВ“

Посвящается героическому экипажу танка «Т-111» гг. Тимофееву, Останину, Горбунову, Чернышеву и Чиркову.

По куполу танка ударил спаряд.  
Сквозь щели врывается дым и газ.  
Волосы у бойцов горят,  
От гари — слезы из глаз.  
А танк, развив наступательный пыл,  
В минное поле вступил.

И вот подымается дымный клуб...  
Танк оседает. Толчки коротки.  
Гребень трака зарылся вглубь,  
Кружили впустую катки,  
И танк, одною правой гребя,  
Вертелся вокруг себя.

А между тем наш удар отбит.  
Пехота опять залегла в траве.  
И вот начинается страшный быт  
У танка марки «КВ»:  
Вдруг, оборвав огневой заслон,  
Мертвым прикинулся он.

Мины его обдавали днем,  
Прямой наводкой била картечь;  
Ночью бутылки метали по нем,  
Пытаясь его зажечь.  
Но он стоял среди вражьих троп,  
Величественный, как гроб.

Когда-то была его страшная сталь  
Окрашена пехом под зелень и дым.  
Теперь же, купаясь в пулях, он стал  
Серебряно-седым  
И по утрам исчезал, как во сне,  
Тая в голубизне.

И лишь орудийная маска его,  
Засалив свирепые скулы свои,  
Глядела, как негр, — но не мертво,  
А предрекая бой!  
Так подымался в тапштвенный рап  
Привидение — танк.

По дни проходили. А танк был нем.  
Он стал, как этот пейзаж, знаком.  
К чему же тогда его жечь? Зачем?  
Не лучше ли взять целиком?  
Когда regimenty пройдут вперед,  
Сапер его отопрет.

И мертвый танк пощажен огнем:  
Много ль таких валяется глыб?  
А если кто и остался в нем, —  
Конечно, давно погиб.  
И, давши фото в газетке своей,  
Враги подписали: «Трофей!»

Однако в «трофее» кипела жизнь...  
Окопы наладили радиосвязь;  
Сипел микрофон: «Ребята, держись!»  
«Родимые, выручим вас!»  
Для них лилось Эрепбурга перо  
И сводки Информбюро.

В отеках... в одышке... плывя, как воек...  
До хрящика теснотой измят,  
Одною заботой советских войск  
Жил броневой каземат;  
Но дни эти были для всех пятерых  
Лучшими в жизни их!

Когда ты брошен самой судьбой  
Туда, где дымит боевая тропа,  
И вся страна следит за тобой  
И подвига ждет от тебя —  
Баких садов какой соловей  
Слаще муки твоей!

Был труден мужской железный уют.  
Но страх и грусть не проникнут к ним:  
Но четным они попотком поют,  
Бреются по выходным;  
И каждую почку, приоткрывши люк,  
Вдыхают весенний луг.

Прошло уже более двух недель.  
Весь день ребят клонило ко сну.  
Но чистят они оружейный тоннель  
И смазывают казну.  
И вдруг — одна из германских колонн  
Вышла под их заслон.

Танк безжизнен. Вокруг — ни следа.  
Он мертв. Ползите! Ну-ну, бодрей!  
Ведь вот в яйцевидных оплывах литься,  
Изрытых огнем батарей,

Спокойно гниет дождевая вода...  
Птицы слетают сюда.

Итак, деревню взять на прицел!  
Баварский взвод, внимание... Так.  
И вдруг в тиши услышал офицер,  
Как

засмеялся  
танк,

И чуть ли не маска, влитая в бронь,  
Тихо сказала: «Огоць!»

Действующая армия, 1942

---

ДМИТРИЙ ЦЕНЗОР

## Ленинград

О, город наш, источник вдохновений!  
Здесь Пушкин жил — бессмертный твой поэт,  
Он здесь мечтал, склонясь на паранет,  
И пламенел его чудесный гений.

Здесь четырех советских поколений  
Крылатый труд прославлен и воспет.  
Впервые здесь мы приняли завет,  
Когда простер над нами руку Ленин.

Весенний ветер дует над Невой.  
В рассветной мгле священной тенью Киров  
По площадям проходит, как живой.

И мы встаем на голос Командира.  
Страна моя, спасительница мира,  
Могуч и тверд форпост великий твой.

## Блокада

На нас, на каждого, легла печать.  
Друг друга мы всегда поймем. Уместней  
Быть может, тут спокойно промолчать,  
Такая жизнь не слишком ладит с песней.  
Она не выше, чем искусство, нет,  
Она не ниже вымысла. Но надо  
Как будто воздухом других планет  
Дышать, чтобы пожать тебя — блокада.  
Спаряды, бомбы сверху...

— Все не то.

Мороз, пожары, мрак  
— Все стало бытом.

Всего трудней, пожалуй,  
— сон в пальто

В квартире вымершей,  
с окном разбитым.

Всего странней заметить, что квартал,  
Тобой обжитый,

стал длиннее втрое,

И ты устал,  
особенно устал,

Бредя его сугробною корою.

И стала лестница твоя крутой.

Идешь  
и не дотянешься до края.

И проще,  
чем бороться с высотой,

Лечь на площадке темной, умирая.

Слова, слова...

А как мороз был лют,  
Хлеб легок,  
и вода псыкла в крапах.  
О теневой, о бедный встречный люд!  
Бидоны, санки...  
стены в крупных ранах.  
И все ж мы жили,  
Мы рвались вперед.  
Мы верили,  
приняв тугую участь,  
Что за зимой идет весне черед.  
О, наших яростных надежд  
живучесть!  
Мы даже улыбались иногда.  
И мы трудились.  
Дни сменялись днями.  
О, неужели  
в дальние года  
Историк сдержанный  
займется нами?  
Что он найдет?  
Простой советский мир.  
Людей советских,  
что равны со всеми.  
Лишь воздух был иным.  
Но тут Шекспир,  
Пожалуй, подошел бы к этой  
теме.

## Прокормим!

### 1

По всей Барабинской степи, по всему Омскому простору бушевал бурани. Два старика Нил да Павел, подхватив друг друга под руки, чтоб не раздернул ветер, шагали уличей села. Оба бородатые, оба горбоносые, они тащили под мышками прялки.— будут прясть шерсть на чулки красноармейцам. Мужиковское ли это дело? А ничего не попишешь, времячко такое,— война! У Павла два сына на войне, у Нила — сын да внук.

Изба председателя колхоза Пипы Григорьевны Пикитченко самая просторная. В избе тепло, а на улице такая кутерьма, что вздыху нет: бурани крутит, швыряет снегом и высвистывает и заливается жутким воем, как бабы над покойником.

— Стой! Держись за землю! — и порыв ветра свалил обоих с ног.

Оправившись, они вошли в летнюю половину избы, там три пожилых крестьянина и два подростка мастерили возле верстака аккуратные небольшие ящики.

— Вот добро... Это на фронт, чего ли, отсылать? — поздоровавшись, спросили вошедшие.

— На фронт, на фронт. Завтра бабы пельмени будут стряпать да шаньги печь. Да сальна еще свиного подбросим, шишку. Двести продуктовых посылок только от одного нашего колхоза должно пойти.

— Добро, добро.— подхватили Павел с Нилом и выдрал из бород ледяные сосульки, запягали в зимнюю половину.

Здесь было оживленно. Под потолком горела электрическая лампочка. Вдоль степ по лавкам, на сундуках, на печке и где только можно — сидели колхозники: старики, старухи, молодые женщины. Улыбчивая, с приятным лицом, председательша вела между делом разговоры:

— Вот, товарищи,— говорила она, проворно работая иглою,— доведется нам с весны

впрячься в работу как следует. В прошлом году, сами знаете, урожай был — не палю лучше. И в фонд обороны полной мерой сдали и с государством рассчитались своевременно...

— На оборону доведется, колхозники, еще добавочный клпы вспахать,— подал голос сапожник, дядя Митя.

— А то как! Обязательно добавочный вспашем. Очень просто...— слышались дружные выкрики.

Дядя Митя, поблескивая очками в самодельной оправе, обшивая кожей восьмую пару валеных пимов.

Колхозниками было сработано для фронта сорок пар пимов — три пимоката всю зиму выдывали их. За топорно сколоченными столами сидели и старательно работали: кто шил овчинные жилетки, кто — теплые рубашки; старухи и солдатки вязали шерстяные носки, перчатки, шили теплые на гусином пуху рукавицы с отдельным указательным пальцем,— это чтоб стрелять сподручней было.

Малолетки мотали на клубки шерсть, пряжу, бегали на посылах.

— Эй, у кого пожницы? Дунька!

— Дунька, подай-ка меля сюда!..

— Дратва! Кто дратву у меня стащил? Дунька, пощи!

Маленькая, тшедушная, по восьмому году Дунька, сверкая голыми пятками, шустро бегала взад-вперед, как мышонок в мышеловке. И снова слышалось:

— Эй, Дунька!

Девчонка приостановилась, губы ее задрожали.

— Голяйте кого другого, а то всё — Дунька да Дунька... Тыфу ты! — озлобилась она.

Плешивый дедка Павел, положив прялку с веретеном, слегка щелкнул Дуньку по спине и стал стыпить ее:

— Ах ты, щепачья твоя лапа... Еще она в щель идет... Я те! Мы для кого всей деревней трудимся-то? А? Для себя, чего ли? А?

— Дунька! — закричала старая Максимила. — Беги-ка, девонька, спицу пощи.

— Тьфу ты! Бегу, бегу, — сорвалась с места смирившаяся Дунька.

Рыжий кот, ласково примурлыкивая, ходил по столам, ластился к гостям, по-озорному шевелил шерстяные клубки лапой... вот он вскочил на загорок дедке Нилу и выпустил ему в спину когти.

— Брысь! Изви ты, фашистская твоя морда! — и дед сшиб кота на пол.

Ребятишки засмеялись.

Распахнулась дверь. Вместе с клубами морозного воздуха разманисто вошел в теплую избу огромный широкоплечий дед Андрон и толким басом поздоровался. Он весь был запорошен снегом. Дунька схватила велик, услужливо стала обчищать старика.

— Ой, да и высок ты, делушка, — суетилась она, вприпрыжку очищая его плечи.

Андрон присмотрелся к работе, сказал:

— Чего же вы над всякой ерундой-то ковыряетесь? Надо полушубки шить. Григорьевна! — обратился он к председателю. — Не худо бы тебе распорядиться, чтобы с каждого двора по овчине сюда тащили на фронт-то, либо по две. Оповести село-то. Согласны, жители? Я от себя три овчины подброшу. Надо постараться, жители. Не обидеем. Согласны, нет?

— Согласны, делушка Андрон. Дадим по возможности, — отозвались люди. — Только кто шить-то будет? Шить-то надо с попятнем, чтобы умеючи.

— Я буду шить, вот кто, — сказала Андрон. — Старуху засажу да двух снох. Ну, и вы пособлять будете.

Он сел к двери, закурил трубку, стал доставлять председателю колхоза, сколько он выковал за неделю подков для лошадей, сколько поправил плугов и борон, сколько выткнул шинным железом колес. Для через себя починит хомуты и плечи, а потом за полушубки можно будет засесть. Так-то-ся.

Андрона, этого работящего старика, слушали внимательно. Колхозники относились к нему с большим уважением.

Затем он собрал вокруг себя ребят, стал называть им сказки.

## 2

В Барабинской степи буран валом-валит, на Калининском фронте морозная безветренная ночь и небо в ярких звездах.

Внук дедки Нила, красноармеец Иван Петров все ближе и ближе подвигается к пере-

довому окону фашистов. В дело пошла двенадцать человек, осталось пятеро. Иван Петров за старшего. И случилось так, что крупный осколок мины ударил Петрова в левую руку. Раздроблена кость выше локтя, разорван мускул. Раненый сразу же ощутил режущую боль. В грохоте и визге разрывов истекавший кровью Иван Петров стал быстро терять сознание. Старый Нил вряд ли чуял, что в тот самый час, когда он сбросил на пол рыжего кота-фашиста, его любимый внук Иван умирает среди снежного поля под холодным светом звезд.

Но, к счастью, дело обернулось по-хорошему: Иван Петров очнулся в окопе, в кругу своих. Открыл глаза, осмотрелся и не вдруг поверил тому, что жив.

В городском госпитале, куда он был доставлен, обнаружилось, что, помимо ранения руки, у него перебито два ребра.

## 3

В Барабинскую степь пришло письмо. Оно было оглашено на очередном трудовом вечере у председателя колхоза. Читала внучка дедки Нила — двенадцатилетняя Параня. Девочка крепкая, кровь с молоком, — вся в брата.

Выздоровливающий Иван Петров, посылая поклонны родным и всему колхозу, описывал как и при каких обстоятельствах был ранен. Теперь-то он поправляется, но дело с поправкой идет туго.

Молодой голосок Парани звучал ясно и чисто. Все приостановили работу и слушали внимательно, широко раскрыв глаза и рты. Даже слушал рыжий кот, сидя на краю стола и свесив к полу жалкий, обгрызанный котами хвост. Дед Нил кривил рот и утирал кулаком слезы.

— «Драгоценные родные мои, матушка, делушка, сестренка. И вы все, родные наши колхозники-хлеборобы, — звел голосок Парани. — Так что я получил от советского правительства и от своего высшего командования медаль за храбрость. Порадуйтесь со мною вместе. Я со всей Красной Армией поклялся бить подлого врага всюду, пока не втопчем его каблуками на сажень в землю. Ну, только и вы, родные мои, дорогие мои колхозники, не зевайте. Так что хлеба, хлеба и еще раз хлеба как можно больше для фронта вырабатывайте и всякой продуктовой всячины. Нам всегда внушают, — да мы, бойцы и сами с мозгами, понимаем, — что ежели в тылу разруха, то и армии туго будет, а тыл крепок, то и армия мощна, несокрушима. Так что наша палата в госпитале умоляет вас, дорогие колхозники, как можно усерднее тру-

дяться, чему следует тридцать пять подписей, смотри в конце письма, а тридцать шестая подпись главного врача, он самый умный старик, он с большущей бородой и страсть какой до нашего брата добрый».

#### 4

В труде и заботах дни мелькали за днями, солнце все выше да выше забиралось в небо, проходили месяцы. И вот наступила дружная весна. Весь снег сошло. Барабинская степь побурела, подсохла. Колхозники пустили палы — мальчишки давно ждали приказа поиграть с огоньком — и вскорости степь залилась пламенным потоком. Старики дотла бурьян и сорные травы, зола удобряла плодородный слой земли. Почью было зрелище любопытное: кругом, кругом, — покуда глаз хватал, — широкая степь пылала. Над пожарищем подымалась тяга воздуха, среди тихой ночи сам собой рождался крепкий ветер. И под ударами ветра степь превращалась в огненное море. Ночной мрак, колыхаясь и поднысывая, трепетал над пожарищем и плыл куда-то вверх, вслед за поджаренными, круглыми клубами дыма. Вал за валом катились пламенные волны, вот взмыл вверх осыпанный искрами золотой фонтан — то вспыхнул ворох прошлогодней соломы, — а там опять всолошный взрыв огня.

Иван Петров, лежа в госпитале, вызывал в своей памяти и эту, такую далекую, такую знакомую ему картину. Он вздохнул и подумал: «Что-то там, на родне моей?»

А на его родне... Весна была военная, и все полевые работы были налажены на военную ногу. Все предусмотрено планом, точно намечено, где расставить тягловую и рабочую силу. Каждый, от велика до мала, знал, где, когда и что будет делать в дни военной весны.

Первого мая, в этот праздничный день, началась пахота. Главную работу несли на себе женщины. Старики тоже не отставали, они как живой воды хлебнули — помогали женским бригадам советом и делом. Восьмидесятилетний Нил неустанно шагал по пахоте, давая указания. В первый же день колхозники перекрыли в полтора раза норму плана. Так началась военная весна.

Военная весна! Кто выдумал это хорошее слово? Оно должно веселить сердце воина, вливать в его мускулы силу, давать уверенность в том, что тыл армии крепок, что о войне есть большая забота, что на его родне все в полном порядке. Вот и отлично!

Действительно, в колхозе красноармейца Ивана Петрова был полный во всем порядок. Хорошо работают детская площадка, ясли,

где наши себе уют сосунки, ползунки, ходунки. Бригада школьников, под руководством учителя, трудится на колхозном огороде. Будет капуста, будут огурцы, морковка, всякая овощь; будут и арбузы.

За пахотой начался сев, засеяно было две тысячи гектаров. Из города приехали две агитаторши, — они читали колхозникам свежие газеты, вели беседы, выпускали боевые листки. Комсомольцы, отрывая от короткого сна часок-другой, делали степную газету, веселую, с солью, с перцем. А название газеты — «Все для фронта».

Вот колокольчик зазвенел, почтарь приехал.

— Где председательша? — спросил он у поварихи.

— А Нина Григорьевна к машинам уехала, — и она указала в сторону, где гудели тракторы.

В обед, когда все сошлось в одно место, председательша, поблескивая черными глазами, сказала:

— Письма, бабоньки, получены с фронта. Всем клавяются. И еще они желают нам вырастить хороший военный урожай.

— Да ты читай всем в гул, — раздался голоса.

Краснощекая Параня стала в первую голову читать письмо брата своего. Между прочим, Иван Петров писал:

— «Спасибо, родные мои колхозники. Так что я получил от вас третье письмо, так что знаю, как у вас все хорошо и благополучно протекает касемо работ. Доктор сказал что мне придется еще полежать в госпитале месяца два, а после мы, говорит, пошлет тебя, товарищ Иван Петров, домой на поправку. Вот какой приятный старичок, он прямо таки меня от смерти спас. Так что, дорогие мои, милые мои колхознички и все родные нам с вами предвидится вскорости торжественная встреча».

Два вечера писались ответы на фронт. Над было откликнуться на восемь писем. Все сбрались в стани первой бригады. Гривасты костры горели. Вставала широколобая луна в побледневшем небе мерцал зеленоватый блеск звезд. Справа, среди густых зарослей тальника, над спокойной речкой растекался во все стороны седой туман. В кустах грушипы и боярки бессонные соловьи зачинали плавные посвисты, в болотце прикрывая дергач, под каждой кочкой, в густых межах поросших цветами, выборматывали перепелки свое: «пить пойдем». Над степью веял аромат хлебородных нив, отцветающей смородины и медоносных трав.

Гучкой припилили к высохшей земле полоняные палатки. Но никто еще не ложился

спать. Обступили стол, за которым секретарь комсомольцев, юноша с быстрыми глазами, пишет письма. Со всех сторон сыпались подсказы, что писать.

— Пиши! — Несравнимо с прошлым годом, когда все колхозники были дома, — диктует председательша, — и живого тягла больше было, и тракторов больше, а пшиче всё-таки план сева увеличен на триста гектаров...

— Пиши еще, — протискивается другая теть, — мы дали клятву нашим мужичкам, когда провожали их в Красную Армию, трудиться со всех сил, то и вышли мы, женщины да старики, по всему району на первое место.

И вдруг пропищал голосок непоседы-Дуньки.

— Пиши!

Народ заулыбался, а проворная Дунька так изловчилась бочком-бочком пролезть возле ног тетенок к самому столу. Смущенно теребя худыми ручонками край фартука и поглядывая по-серьезному в лицо писаря, она взахлеб заговорила:

— Пиши: а пестренькая потомушто курочка с хохолком тети Офросиньи в тую пятницу петухом закукарекала, ей потомушто оттяпали голову тогда, другой раз петухом не пой.

— Ха-ха-ха! — всохотали колхозники.

А Дунька обиделась.

— Вот тебе и ха-ха-ха, — передразнила она старших.

Еще сообщали в письмах, что хлеба развываются дружно, а густая рожь колосится и цветет.

Когда все укладывались под звездным небом спать, председательница сказала взволнованным голосом:

— А помните, бабоньки, что пишет нам артиллерий гвардеец Пронип? Мы, говорит, ваши письма с родины перечитываем и в одиночку и всей частью по многу раз. У других, говорит, аж слезы на глазах. Будем же, бабочки, трудиться еще самоотверженней, чтобы снова написать бойцам хороший отчет о наших делах.

## 5

Как говорят в Сибири, — Ивану Петрову «пофартило». На самолете, направлявшемся на Алтай за бухтарминским медом и партней живых баранов, красноармеец прилетел в Сибирь.

В городском садике за кружкой пива встретил он какого-то очкастого. Познакомились. Очкастый сказал ему:

— Я — корреспондент местной газеты, завтра еду на реку Бухтарму к самым вер-

ховьям. Айда со мной, ежели интересуетесь. Алтай увидите.

На утро Иван Петров чисто выбрился и прифрантился: опрятный френч, хорошо начищенные сапоги, на левой стороне груди висит медаль, на правой — красная лепточка с золотом — знак тяжелого ранения. Высок, широкоплеч, в талии тонок, прическа чубастая, волос, как лен, глаза серые с хитрым прищуром. Бренок Иван Петров, а щеки все еще внальые, серые, будто обсыпанные толлоком.

И вот, на легковой машинке он двинулся с очкастым в путь. С каким упоением Иван вдыхал полной грудью воздух широких лугов с цветущими травами, хлебородных нив, хвойных лесов. И где бы он ни появлялся, — он всюду был свой человек, родной и близкий. Пожилые принимали его за сына, девушки — за брата, старики — за внука. Обильно угощали его пахучим медом, вкусной рыбой из горных речек, густой сметаной. Живн — сколько хочешь, поправляйся. Как сказочный богатырь, он с каждым часом наливался соками жизни, мускулы его крепли, щеки розовели.

Он бродил в большом селе по базару. Богатый торг. Из Тарбогатайского района колхозники навезли много мяса, муки, меду, масла. Ну, это ли не радость!

— Да, у нас в Сибири живут пока исправно, — не без гордости сказал газетчик. — Недаром наша Сибирь считается житницей фронта, да, пожалуй, и всей страны.

«Будем сыты, будем сыты», — мысленно твердил красноармеец, и его душу охватывало бодрое предчувствие неминуемой победы над врагом.

Берег. Немудрый мост. Речка Середчиха — бурный приток бурной Бухтармы. Они вышли с очкастым из машины, стали любоваться на сердитую речонку. Вода бьет в каменные щеки, в валуны, на порогах и шиверах вода кипит холодным кипятком.

К ним подошел сутулый старик.

— Вот, сынки, любуйтесь, — сказал он. — По этой речке нынешней весной мы на плотках много хлеба да всякого добра доставили в Усть-Каменогорск. А раньше-то она непроходимая была, речонка-то: на порогах валуны — с корову ростом. Веки-вечные так было. А вот как подошла война, народишко зашевелился, все дно от камней очистил без пороха, без динамита. И теперича по весне прямо смело на плотках кати. Сколько груза сплавили по весне — страсть подумать. На лошадях возить полгода пужно было бы. А лесу в плотках прогнали видимо-невидимо.

Саженьях в ста направо, где берег был пониже, артель вытягивала наверх канатом

бревна. А на самом яру шла стройка. Старик сказал:

— Это семье красноармейца Фетисова партейные да комсомольцы избу рубят. На прошлой неделе беда стряслась: пакатилась из-за гор тучка, кэ-эк молощья осветит, да гром грянет-грянет, изба-то в момент пыхом занялась. Вот и рубят новую. Потому: красноармейская семья — уваженье значит. Наш колхоз, «Красное поле» зовется, отписал на фронт-то, Фетисову-то... Так, мол, и так. У тебя избашка была, как у Бабы-Яги, — на курьих ножках, а теперича пятистенок срубим. Форменно. Только старайся, Миша, немцев колотить. А как выгошим изверга из родной земли, пожалуйте, Миша, любезный наш лейтенант, домой, в домик повестький, и просим милости жениться. А срубили вам избу, дорогой наш известный нам Миша, в один день...

— Как, в один день?! — воскликнул Иван Петров и широко раскрыл глаза.

— Ну да, в один день. Нам чикаться некогда. Сегодня с зарей фундамент заложили, а к темпу — милости просим новоселье править.

Иван Петров, не дослушав старика, поспешил на стройку.

Был четвертый час дня, а стены уже подведены под крышу. Работало человек с полсотни. Два печника с подмастерьями заканчивали печные работы. Стекольщики остекляли рамы, плотники тесали стропильные «поги».

Красноармеец поздоровался с артелью.

— Здравствуйте, очень приятно, — проговорил он и вкратце рассказал, кто оп, откуда, куда путь держит. — А разрешите-ка и мне, Ивану Петрову, совместно с вами плечи поразмять.

— К нам, к нам, Ваня! — стали звать девушки бравого молодчика. — Ведь ты раненый, уж мы тебе что полегче...

Четыре девушки групповали олюфой с охрой оконные ставни и наличники.

Ивану Петрову работать с ними было весело: хохотуны, рослые, ядреные. Особливо Таня Четвергова. Фу ты, чорт...

Объявили короткий паузин. Жевали в сухомятку шанги, калачи. Красноармеец сидел в кругу молодежи, как именинник. Ах, какой милый, какой ласковый народ. Иван Петров прожил на свете двадцать два года, и всего этого как-то не примечал. Шла и шла жизнь. А вот теперь...

Промелькнуло в упорном труде еще несколько часов. На землю легла сутемь. Лысая луна выставила из-за гор свою глазастую голову и видит: изба готова. Да не изба, а целый дом! Но фасату четыре окна. Крыльцо

с навесом, бревна чисто выструганы, пу-прямо загаденье. Все отошли, полюбовались хорошо.

Семья лейтенанта Фетисова — дед, отечать с двумя девочками — растроганные, счастливые, в пояс кланялись артели.

— Желанные наши. Братцы да сестрицы, да доченьки... — и голоса их взволнованно дрожали.

— Что вы, товарищи, — отирая пот с лица, сказал председатель колхоза, партийный человек. — Мы для фронтовиков, в частности порядке — для вашего Михаила — все рады сделать. Поскольку он защищает родную землю, — он наш. До самой глубины — наш.

— Вот что, товарищи, — сказал секретарь комсомола. — В следующий воскресник мы должны сделать столы, скамьи, табуретки и все малярные работы закончить... Понятно? Есть.

Все направились по домам. Иван Петров провожал Таню Четвергову. От всего здесь пережитого он был внутренне взвинчен. Шутка ли сказать — в однодневье избу срубили. И такая чистая работа.

— А это все из-за войны, — сказала Таня. — Народ дружный стал и на работу лют.

— Очень приятно, — проговорил красноармеец, прижимая к сердцу руку девушки. — Очень даже приятно. Я, Тапиша, вскорости уезжаю к себе домой. И поймей в виду: как только войну закончим победоносно, я на тебе женюсь... Да оторвись моя банка с плеч — женьсь! Пойдешь?

— Да уж... Чего тут... Знамо дело. — Таня оглянулась — тишина была, золотые звезды — быстро обняла красноармейца, чмокнула в распаленные губы и, как горная козуля убежала, — ха-ха-ха... Вот чортова девахал!

## 6

На другой день очкастый поехал дальше. Тот же сутулый старик взялся сплавлять красноармейца на лодке до пароходной пристани. Ну что ж, водичкой млыть не млыть, не тряско, лучше и требовать нельзя.

Иван Петров усердно машет лопашными веслами — ура, ура! раненная рука работает на славу, — хоть завтра в бой! Вот только бок болит. На корме примостился на козлей шкуре дед. Чрез вздох и сипоту он рассказывает шершавым голосом разные были-небылицы. Солнце бьет в глаза. Быстрая вода во взмырах вся в бело-огненном пламени, ни сил смотреть. Обнаженные скалы обступили реку справа и слева. Но какая досада: скалы со всех сторон замкнули горизонт.

— Айда, дедушка, к берегу! — командует красноармеец. — Желательно вои на ту скалу



забраться да глянуть во все копцы, что и как.

— Валяй, валяй,— сказал дед.— Только высоко лезть, паря. Ну да ничего, ты дюжипі. А я покамест рыбы половлю да щербу сварганю.

Подъем был труден. Петров уже стал раскаиваться, что пустился в это путешествие, но пытаться красноармейцу не к лицу.

Наконец, он вскарабкался на верх скалы.

А как глянул во все стороны,— замер от восторга.

Перед ним лежал сам хан-Алтай. Так вот он каков этот сказочный Алтай... Горы, горы, хребты, бесконечные гряды, черные провалища, острые пики скал, зеленые сопки и снова огромные хребты. Чудилось, что весь хан-Алтай всколыхнулся, что горные хребты сдвинулись с подножия и бегут, бегут куда-то. У человека замерло сердце и закружилась голова. Но прошло мгновение, еще, еще и — весь Алтай застыл. Человек покачнулся и протер удивленные глаза... Да, Алтай застыл, недвижим. Бескрайняя даль подернута синей пелюшкой. Вблизи, верст на пятьдесят, воздух чист, прозрачен. И все — как на ладони.

Огненное солнце сияет жарким пламенем. Весь мир, все бесконечные просторы, от зеленеющей взбуровленной земли до неба охвачены вечерним светом.

Сколько всюду ярких красок, сколько разноцветных ковров разбросано в долинах между гор. И как буйно поросли горные увалы лесом. А какие цветистые склоны обнаженных скал: то изжелта-белые, то серые с голубизной, то розоватые, то темнокрасные, как густки теплой крови.

Внизу синей ленточкой змется Бухтарма. И почти рядом с человеком — зверушка малая — бурундучок. Привстал на задние лапки, присвистывает, радуясь угревному теплу, и черным, бисерным глазком кротко глядит на человека. С дерева на дерево перепархивают сойки, да чивкают, летают табунками какие-то пичуги.

Человек посмотрел направо. Там плавными линиями чертились на синем небе белоснежные с вечным снегами Уймонские белки. Вечные снега! Петров много слышал о них от отца, от стариков. И вот теперь он весь в тихом очаровании. Он благословлял горный легкий ветер, что ласково обнимал его со всех сторон и шевелил льняные его кудри, он благословлял вечернее солнце, что освещало серебряные шанки далеких гор, где даже в летнюю пору бунную снеговые бури, и куда редко залетают могучие орлы. Он весь обмяк душой, повернулся лицом к своей родине. «Матушка, батюшка, родимая земляшка...» — шептал он, хотел еще что-то сказать, что-то

важное, значительное, но слов не было. Да, да, не было у него слов... Вот ноги его подогнулись, он опустился на колени, и припал лицом к земле, и целовал теплый гранит скалы с благовешным трепетом, как целовал родную мать свою при последней разлуке с нею. Глаза его стали мокрыми.

Не давая остыть сердцу, он обратил взор свой на заходящее солнце, в сторону фронта, в сторону Москвы, и на полный голос закричал:

— Товарищи! Эй, товарищи, друзья. Эй!..

И обступившие его горы прогудели: «Эй».

— Я здесь, товарищи, на горе!.. Я, Иван Петров, аржаной человек, воин русский, сибиряк... Клянусь вам, клянусь!..

И горы, как живые, отозвались: «Баян-путь».

Он короткую, по сверкающую, как молния, произнес клятву вернуться на фронт и, ежели нужно будет, отдать жизнь свою на защиту своего отечества.

Произанный чувством внутреннего света, он, словно на чудодейственных крыльях, спустился с высокой вершины вниз. Он спустился вниз, в гущу повседневности, к дымному костру, к сутулому деду. Грустно взглянул на вершину скалы, где только что был, затем перевел взор на деда, на котелок со щербой из рыбы и тяжело вздохнул.

Он чувствовал, что в его душе накопилось много нового: мало ли он видел на поле битвы — и всякую жизнь, и всякую смерть, и сам был в зубах у смерти. Пет, ему не двадцать два года, ему, пожалуй, полсотни будет, ежели не больше — война многому научила, Иван Петров другим, зрячим стал.

В версте от берега в широкой долине большое село. Надо и там побывать. Идут поляны. Навстречу пожилой крестьянин на деревянной ноге, лицо скуластое, бородатое, рубаха беспоясая.

— Иду да радуюсь,— говорит он, здороваясь со встречными.— Вот пшеница, вот пшеница уродилась! Глядите-ка, солома без малого два метра вышины. А колос-то! Ха! Да пычке по полтораста пудов с гектара соберем. Это уж, как пить дать, вернее верного.— Он сорвал колос, растер между ладонями, сказал: — Доходит. Эх, мои сыны-красноармейцы довольны будут, как огнишу на фронт про урожай!..

— Сколько у тебя их,— двое? — спросил старик.

— Двое осталось, это верно... Двос,— ответил одноногий и, потупясь в землю, глубоко вздохнул.— Да, да, да... Двое осталось, а третий, молодой-то, без вести пропал. Ну, стало быть, убит... Убит, убит, сердяга, сложил за нас голову, за Рассеюнку...

— Может статься, в плену...

— Чего это, в плену?! Наш род не из таковских. Так полагаю, Сергунька мой ни в жизнь не сдастся в плен. Старуху-то я утешаю: в плену, мол, а сердцем-то отцовским чую: убит Сергунька, — оп опять вздохнул, отвернулся, прищмыкнул носом.

Иван Петров, с интересом разглядывая мужественного калеку, спросил:

— А где ногу-то потерял? Не на войне ли?

— На войне, на войне, — оживился загрустивший человек. — На первой германской... У Брусилова генерала в корпусе был... Во генерал, во вояка! Ну да и сибиряки наши, один к одному, — прямо тигры! Помню, два брата Омелянковы, богатыри. Немец густо шел, так они в рукопашном бою, штыками широкую улицу проложили себе: штыком подденут немца, да через себя, подденут, да опять через себя. Вот какие силачи! А как бой кончился, они, оба брата, на сырой земле с час сидели как бы вне ума... Дуже шибко тряслись. И водки не пожелали пить. Еле еле оклемались. А векорости и мне ногу оторвало, тогда в артиллерию я был.

Иван Петров усмотрел огороженное на взлобке место, дом, сарай и за изгородями — несколько комбайнов, корпуса этих огромных степных кораблей были выкрашены в яркий синий цвет.

— Пойдем-ка, дед, туда, — сказал он своему спутнику.

Они простались с однопогим крестьянином и зашагали дальше. И не успели отойти десяти шагов, как услышали:

— Стойте-ка! — и калека, поскрпывая липовой ногой, подошел к ним. — А чего же вы, братцы, не спросили, каковы сыновья-то мои? Старший мой сын Константин — гвардии артиллерийский полковник, — ваше высокоблагородие по-старинному. Награжден боевым орденом, и в газетах про него писали, сколь он храбр да в военном деле сведущ. А другой сын на войне курсы кончил — лейтенант теперь. Вот, родные мои, вот. А я царской службы унтер-офицер, георгиевский крест на мне... — и он с гордостью дотронулся изогнутым большим пальцем до солдатского ордена, который он успел приколоть к бесполосой сибирской рубашке.

## 7

Возле комбайна работала бригада из шести девушек. Здесь была крушая машинотракторная станция. Девушки вопросительно уставились на подошедших.

— Здравствуйте, товарищи-девушки! Очень приятно... Я, Петров, красноармеец.

Девушки были одеты по-мужски, в шта-

пах. Миловидные, стройные, две высоких, две средних, две маленьких.

— А которая же из вас начальница над бригадой? — спросил Иван Петров.

— Ну, я бригадирша, зовусь Поля Зубенко, — назвала себя высокая складная девушка и такой улыбкой подарила красноармейца, что сердце Ивана Петрова сладко замерло.

На двух других комбайнах работали смешанные бригады: девушки, парни, старики.

Вечером из мастерской вышел механик, принял от Поли Зубенко работу, сказал:

— Ну, у тебя, как всегда, — «на отличку». Хоть и не смотри. Можете сматываться, да и по домам.

Поля Зубенко пригласила красноармейца к себе. Но только в дому у них много тараканов, а пусть он ложится спать на сеновале, там и настух колхозный спит: теперь, мол, ночи теплые, на сене мягко, и легкий дух. Ну, что ж, Иван Петров согласен, в крайнем случае, и на сеновале. Оп, в крайнем случае, и с настухом колхозным и со стариком своим на почлег устроится. Эх, Поля, Поля...

За ужином мать Поли говорила:

— Вот и у меня, вдовы несчастной, единственный сынок на фронте, да и тот ранение получил... Ох-тих-ти... В плечо, в плечо рану принял, пулей. В госпитали, в Пензе-городе... Пишет, поправляюсь, мама, не случай. А как не скучать? Мать ведь, — она посморкалась и ушла из-за стола за перегородку.

Иван Петров с горестью поглядел ей вслед, сказал:

— Да-а-а, слез много проливается, крови горячей того больше. А кто? Гитлер все. Будь оп трижды через пилу проклят!

— Не давайте передыху немцам, бейте их, а уж мы вам поможем, — промолвила Поля. — Ежели вы, бойцы, стараетесь за храбрость да за уменье в гвардейцы выдвигаться, так и мы тоже. Вот, взять мою бригаду, шесть девушек — мы считаемся теперь за усердие свое гвардейцами тыла... И гордимся этим... Ого! Ходим козырем. Весь план выполнили досрочно, всем посылы утерли.

Поля стала рассказывать о том, как с весны на машинно-тракторной станции соревновалось по ремонту комбайнов несколько бригад. Девушки полевой бригады вставали на работу до свету, подбирали детали, осматривали механизмы, приводили в порядок режущий аппарат, полотно, молотилку, мотор. Перерыв на обед сократили, питались всухомятку, на ходу. А вечером дотемна работали.

— И отремонтировали мы своей бригадой ни много, ни мало — пять комбайнов.

— Вот это так, девушки наши! — воскликнул Иван Петров. — Пет, я об этом обяза-

тельно на фронте рассказу. И обо всем, что видел в тылу хорошего. А повидал я доброго много кой-чего... Не знаю, как в других местах, может быть, там и всякие прорывы есть, а тут пока что — хорошо. Отрадно, честное красноармейское слово — отрадно! Ты как, Поля, думаешь, подымет это боевой дух фронта?

— Обязательно подымет! — воскликнула девушка.

На следующее утро Иван Петров собрался уезжать.

## 8

И снова в лодке. Бухтарма попутным течением несла лодку быстро. На перекатах взмывали белячки. А вот... Что это такое? Возле берега крутятся силой течения два огромных наливных колеса. Они насажены на вал, уходящий в лаз бревенчатого прибрежного сруба.

— А это, батюшка ты мой, — положив весло, сказал старик, — водяная установка называется.

Путники вылезли на берег. К ним подошел рыжебородый крестьянин с дымящейся трубкой в зубах.

— Откуда, проезжающие? — спросил он басом. — О, да никак солдатик... Ишь ты, и с медалью. Ну, как там у вас?

— Да ничего, — сказал Иван Петров. — Воюем. И крепко воюем.

— Дай-то бог, — сказал крестьянин, и суровое лицо его повесело. — Ведь мы сводки-то с фронта каждое утро слушаем по радио. Без этого нельзя. И газеты читаем. Мы ведь тут тоже сложа руки не сидим. Вот видишь пугуковину-то эту, механизм-то водяной? Теперь мы всецело с электричеством живем, прямо свет увидели. И молотилка от этого же привода работает.

— Этакие молодцы вы, колхозники, — не утерпел Иван Петров.

— Погоди хвалить... Вот через месяц приезжай, тогда хвали. Изгибень-то реки видишь? Ну, так вот, за тем мысом будем всецело новые колеса ставить. Там митинг сейчас...

Путники поплыли к тому месту. Возле каменного утеса большое собрание. На берегу штабель бревен. Высокий и тощий учитель, в очках, горячностью в голосе и жестах, говорит собравшимся:

— Вы знаете, товарищи, что на реке Тургусуке — отсюда не так уж далеко — на водяной энергии работают лесопилка, мельница и молотилка? В колхозе «Свободный труд», на реке Осиновке, даровая энергия движет две молотилки, мельницу, лесопилку и зерноочистительные машины. Там же, товарищи, на берегу Осиновки, построена фабрика зер-

на — это первый в нашем крае колхозный элеватор. Сейчас колхозные мастера-специалисты сооружают там еще одну установку, по взирая на военное время. А может быть, именно потому, что сейчас военное время. Война идет, товарищи! Этим все сказано... — он откашлялся, поскребок очками и продолжал: — А поэтому мы, колхозники, сегодня же приступим к работам по устройству нашей второй водной установки. Илжепер, — спасибо ему, — из города приехал с чертежами, механик свой доморощенный имеется, материалы имеются, и силы в наших руках хватит... Лишь бы огонь в груди горел. И так, товарищи...

— Верно... — перебил учителя свый, долгобородый дед в старинной шляпе грешневиком. — Дозволь! — и он вскинул вверх тяжелую руку.

— Вали, вали, дед...

— А валить мне нечего. Долго языком молоть не буду. Я, братцы, только насчет огня в сердце... Есть такая присказка старозаветная: «Сумеешь, так и слег загорится, не сумеешь, так и карасин не всыхнет». Вот вам...

— Золотые твои слова, дедушка Пахом. — заулыбался учитель, и все вокруг заулыбались. — Все от нас зависит, от нашего усердия. Приналяжем, товарищи. Война идет! Впряжемся и мы своей работой в этот тяжелый для государства воз. Пособим государству, пособим великой родине нашей!

Очкастый газетчик, слушая речь, что-то записывал в памятную книжку. И откуда он взялся? Вот черт... Да уж он ли это? Да, он самый: похожая на дыню голова, большие очки, усы обреты, на подбородке две рыжих кисточки вроде бороды.

— Здравствуйте, очень приятно, — подошел к нему Иван Петров. — Как это вы столь быстро обернулись?

На высоком шесте подняли красный флаг. рыжебородый дядя с суровым лицом грянул из берданки. И работа началась. К месту работ подводились по реке три сплотка с копрами: стали готовиться к забивке свай под перемычку. На берегу и на воде все с азартом впрягались в работу.

Лишь один толстогубый нарень лежал под березой вверх лицом, храпел.

— Разбудите Кешку! — раздался сердитые голоса. — Он опять лодья гоняет.

— А какой прок в нем, он всегда был поперечником, нешто он станет работать?

Однако Кешку растолкали, он приподнялся, взглянул на людей сонными, принужденными глазами, прохрипел:

— А подите вы со своей работой... Знаете куда? — и снова повалился в холодок.

Парни отступились. Подошел рыжебородый с суровым лицом дядя, схватил Кешку за шиворот и поставил дубом. Кешка рванулся и с силой толкнул рыжебородого ногой.

Тут на Кешку бурей налетели девушки, подхватили его под руки и под ноги и потащили, как барана, к яровому берегу.

— В воду его! В реку! Пусть поплавает, очухается! — взвхлеб кричали озлившиеся девушки. — Раскачивай, девоньки, раскачивай сильней...

— Стойте! — заорал благим матом Кешка, непляясь за платья девушек. — Ну вас... Ладно уж, буду работать. Согласен. Ну вас.

— Слушай, Кешка, — сказали девушки. — Последний раз прощаем. А пет — вот-те Христос утопим... Так и знай!

Кешка засопел, оправил рубаху, чихнул и, нога-за-ногу, стал спускаться к сплоткам — сван забивать.

— Почему это он, такой бык, не в армию? — спросил Иван Петров учителя.

— Годы еще не вышли, — ответил тот. — А между прочим, прошлой зимой он трех медведей в тайге устукал. Вот он какой чортунка! И знаете что? — вдруг загорелся учитель, снял очки и заморгал воспаленными глазами. — Сейчас работают здесь пятьдесят четыре комсомольца. Они, все до единого, охотники, — великолепные стрелки. Мы добыли из города в наш район три винтовки с патронами, и наши парни учатся боевой стрельбе... Снайперы, настоящие снайперы! Это от природы так, их деды-прадеды охотниками были. Они, молодежь-то наша, из своих малоцулек бьют белку прямо в глаз, чтоб шкурки не попортить. И я думаю, что по всему Алтаю мы тысячи снайперов готовим. Да еще каких!

— Это приятно слышать, — широко заулыбался Иван Петров. — Ха! Тысяча снайперов пять фашистских дивизий скосить может.

Подошел лохматый агроном в длинных сапогах и грязной куртке с оборванными пуговицами.

— Может быть, вы вообще интересуетесь нашим хозяйством, и что мы для фронта делаем? — обратился он к газетчику и к Ивану Петрову. — Я мог бы показать вам птицеферму, еще общественный ледник, где мы копим для армии сливочное масло. Оно будет лежать там до холодов. Ну, что же еще? В птицеферме нашего села двести семьдесят семь породистых кур, — хвалился на прощанье агроном. — Мы уже имеем от них семнадцать тысяч яиц. В нашем районе таких птицеферм довольно много. План — к октябрю доставить на фронт двести тысяч яиц. У нас в районе великолепное племенное хозяйство.

Сто двадцать замечательных коров. Есть коровы весом без малого тонна. Дают некоторые по тридцать литров жирного густого молока в день. В нашем селе два сепаратора работают. У нас ледник для всего района. На сегодняшний день уже собрано около шести тонн масла. Все для фронта!

— Ого, — сказал красноармеец. — Записывайте, товарищ писатель!

## 9

— Тетя Дарья! Беги скорей! Сын твой приехал. Иван приехал! С медалью! — звенели в вечернем воздухе голоса ребят, пробежавших мимо избы родителей Ивана Петрова.

Дарья так и ахнула. Она несла поросят мекиво, бросила корытце, да бегом вдоль по улице, да в переулок, да вдоль дороги. За ней, суча локтями, с трудом отдирая старые ноги от земли, спешил древний дедка Нил, — не ноги его несли, а он с великим кряхтеньем волочил их за собой.

По обочинам дороги мчались детинки, впереди них подпрыгивал рыжий теленок, — хвост кверху, штопором, — за ним, — с громким лаем, три вислоухих собачонки.

А шустрая Нараня уже крутилась возле брата. Он поднял ее на руки. Вдруг видит — мать на бегу споткнулась, плашмя упала на дороге, — пыль пошла. Иван быстро к ней.

— Матушка! Родная моя! Здравствуй...

Мать повисла у него на шее, всхлинула и заплакала. Каждый мускул худощавого лица ее трепетал и подергивался, густые, льняного цвета волосы растрепались, платок она обронила на дороге.

— Иванушка, Иванушка, — от самой душевной глубины вздыхала она, еще крепче обнимая, еще нежней целуя сына в щеки, в лоб, в глаза.

Вон и дедка Нил подшаркал.

— Обманули меня ноги-то, не слушаю! Здробо, Ванька! — и тоже запричитал, заплакал, и древнее лицо его взрыбилось глубокими морщинами.

— Что же ты, матушка, иссохла так. Хворает, что ли? — спросил Иван, ласково поглаживая ссутулившуюся спину матери.

— Да ведь как не высохнуть, — заглядывая в глаза сына, ответила мать. — Ведь вдвое у меня — ты да батя твой. Ну вот ты-то — жив-здоров, слава тебе господи... И при медали...

— Ну, а батя-то? — торопливо спросил встревоженный Иван.

— Да батя, слава тебе господи, тоже живой. По письму — живой. Только письмо-то даже долго шло. Вот и думается все... Д-

мается и думается. Почами не силу, горькими слезами плачу.

— Брось, матушка. Живы будем. И во счастье,— сказал Иван.

Полна изба пароду к тете Дарье набралась. Всякой сытной снеди, медового пива принесли. Выпьешь два стакана — с ног слетишь.

Расспросы посыпались: как, да что, да куда ранен был? Внимательно слушали, оглаживая бороды, прищелкивая языками.

— Плохо воюете, не славно как-то,— сказал дедка Павел, приятель Пила, и затряс головой.

— Учимся воевать. Да уж и научились,— с горячностью стал возражать Иван.— Мало ли тоже у нас побед было? Не один миллион побили мы фашистов-то! Долго ли, коротко ли, а фашист кровью изойдет. Тогда хоть голыми руками берн его. Вот от Москвы отогнали, у Тихвина лунку гадам задали, да мало ли...

— Эта немецкая кобылка востропятая,— загудели голоса,— эта саранча фашистская — все одно, что комарь: взлетели облаком да с большого ума в патоку и вбикались. Ха-ха... Вкусно? Сладко? Тут им и карачун.

— Отогнать-то отогнали,— не унимались пные захмелевшие дядьки.— Этаким урожаем на Украине да на Кубани отхватили они. Изви их в маковку, гадюк проклятых!

— Да, урожая, конечно, жаль,— тихо проговорил Иван, вздохнув. И все вздохнули.— Кубань многохлебная. Да я так думаю, что урожай там успели снять и вывезти, а ежели не сняли, то сожгли.

Тут вылез огромный, под потолок ростом, дед Андрон, положил Ивану руку на плечо и, выпучив глаза, на всю избу закричал:

— Не кручинься, Ваня! Ежели на Кубани да на Дону наш хлеб процал, это еще с полгоря. Мы Рассею и без Кубани прокормим. Прокормим!.. Да не одну Рассею, а весь свет наша Сибирь прокормит. Так уж ты, Ваня, ве горюй.

— Верно, верно! — загалдела застолица.— Вот так это дедушка Андрон! На-ка, выпей еще чепурышечку...

— Прокормим! — потрясая пудовыми кулаками, еще громче стал кричать Андрон. От его громового голоса шли по избе гулы и позвякивали стекла.— И Черчиля, и весь его второй фронт! Только подавай... Прокормим!

Этот русский богатырь, несмотря на свои годы, был первым в колхозе работником. Кузнец и слесарь, шорник и портной, словом — мастер на все руки; а где лошадь не возьмет, дед Андрон сам впрягался в воз.

Гуляли почти целую ночь, до третьих петухов. Курныкала гармошка, развернулись плясы. Иван Петров, потряхивая чубом, приплясывал-крутился с подружкой своей, смуглой и грудастой Любой Старостиной.

По селу, сквозь густую сутемень, еще долго раздавались басистые выкрики неумного Андрона: «Прокормим, ядрена каша, проокормим!» Да еще текла, нескладно кувырчалась песня: «Эх ты, Ваня, разудала голова...» Это дребезжали козлиными голосами два старика, два друга — Нил да Павел. Обнявшись за шеи, они вспотык мотались то вдоль то поперек улицы, часто падали на карачки и снова подымались. Утром их нашли крепко спящими в зарослях чертополоха.

Первые два дня Иван Петров провел в полном отдыхе. Написал подробные письма: отцу на фронт, еще госпитальному доктору.

На третий день он встал на колхозную работу: подошло время со жнитвом и пахотой зябля. Правда, трудным делом заниматься ему было бесподручно: поврежденный бок все еще побаливал.

Прошла в труде неделя. Но клятва на горе алтайской не выходила из памяти Ивана Петрова. И стал он, несмотря на нездоровье, собираться в путь: надо поскорее к фронту поспешать, с автоматом в руках становиться на защиту родины. До свиданья, до свиданья...

И поехал сын русской земли туда, где огонь, где борьба, где победа.

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

## Грузинской женщине

Мать, сестра, любовь моя единая,  
В прошлом ты томилась вместе с нами —  
Все страдания Грузии старинные  
Женскими орошены слезами...

Красоты такой под небосводом  
И в раю отчизны не встречал я —  
Сыновьям, подвижникам свободы,  
Трудный путь собой ты освещала...

И душой истерзанной ты пела,  
Плакала над девятью гробами —  
А лицо орлиное горело  
Верой в жизнь, как солнечное пламя!

В новый год ты детям выпекала  
Конья, стрелы и мечи из теста,  
Чтоб отвагу в них зажечь — с начала,  
Чтобы мужество вдохнуть в них — с детства!

И о чести чтоб напоминать им,  
Не рабов растить, бойцов упорных.  
Ты привязывала к рукояти  
Лечаки с каемкою узорной.

Жив и пыле твой завет священный —  
С молоком твоим его впитали:

В бегстве, в малодушии презренном  
Сыновей твоих не уличали.

Имея их гордые сияют  
Средь отважных великанов боя,  
Что под знаменем Вождя шагают,  
Знатные, любимые герои.

И когда над бранным полем грозно  
Веет черное дыханье смерти —  
В бой бросаются они, не дрогнув,  
Те, кому улыбка твоя светит...

Постоят с отвагой беспредельной  
За твою священную косынку,  
Не изменят песне колыбельной,  
Очагу, стране и чести сына!

Не дерзнет никто тебя оспаривать,  
Силу благостной твоей природы,  
Давшую нам Руставели, Сталина,  
Прометеев солнца и свободы!

*Перевела с грузинского*

*АДА ВЛАДИМИРОВА*

## Я—сын Страны Советов

Я — сын моей Страны. Вы слышите, иуды  
С печатью Каина на зачумленном лбу?  
Нет, кровью матери я торговать не буду,  
С судьбою родины я слил свою судьбу!

Не только в дни торжеств, на камне пьеде-  
стала,  
В гирляндах из цветов и в золоте лучей,—  
Стократ милей теперь она для сердца стала,—  
Встречающая сонм убийц и палачей.

В крови, в степаниях, в рыданиях несказан-  
ных,

В порыве подвига, живого навсегда,  
Блистательнее всех небес благоуханных  
Сияет нам ее вседневная страда.

Нам черствый хлеб ее священнее святыни,  
Снега зимы ее прекрасней, чем весна,  
И то, что мукою она повита ныне,—  
Лишь знак, что оживет для радости она!

Я — сын моей Страны, той, что своею кровью  
Всем племенам земли несет свободы свет.  
Ведь каждый злак в полях преклонится с лю-  
бовью,  
Советского бойца встречая в час побед!

Я — сын моей Страны, той, что мечом и сло-  
вом  
Сметет противника со всех своих дорог;  
Еще чело ее горит в венке терновом,  
Но слава уж плетет лавровый ей венок!

Дым от пожарища вздымается все выше,  
Но встретит тибель враг среди родных рав-  
нин...

О, светлая заря, тебя я вижу, вижу!  
Страны Советов сын — я нашей правды сын!

*Перевел с украинского БОРИС ТУРГАНОВ*

АНДРЕЙ МАЛЫШКО

## Украина моя!

Вновь зову я тебя. Иль по голосу не распознала?  
Вновь прошу: отзовись, молодая, родная моя!  
Стать бы ветром в степи — только туча все небо заткала,  
Звонкой песней позвать бы, — но где мне добыть соловья?

В Поднепровьи, в долине ромашка завяла, побита.  
Старый тополь скрипит. Догорает отцовский мой дом.  
И не хочется ветром ложиться коню под копыта,  
Сомовьем запевать на глухом пенелище твоём.

Я дышать буду, думать, бороться с желанием единым,  
Свято верю: к родному приду рубежу.  
Твоей муки и горя возьму я себе половину,  
В непокорном, неистовом сердце своем положу.

И пойду, как Микула, под ношей согнусь, потемнею,  
Весь иссохну от жажды и, может, в пути упаду,  
Но я знаю — увижу: цветы разрастутся, алей,  
Вновь в твоём, Украина, зеленом и вечном саду!..

*Перевел с украинского БОРИС ТУРГАНОВ*

## Боец Назар Суслов

(Из записей раненого политрука)

### Повесть

..Вот я живу — дышу, радуюсь каждому дню, как ребенок и впервые в своей жизни до слез волнуюсь от восторга: удивительно прекрасно падает снег. Снежинки роятся, как живые, вихрями, облаками, пургой... И я наслаждаюсь прекрасным, — не смейтесь! — весенним запахом молодого снега. Все тает, все растворяется в этом порхающем белом урагане, а снежинки живут, играют, смеются, шалят, садятся мне на лицо и щекочут нос, щеки, губы. Безжит пестрая собачонка через двор госпиталя, нюхает белый бархат снега, хватает его красным языком, и мне кажется, что она хохочет от радости. Ворохом падают на мягкую белизну взъерошенные воробьи и с озорным чирканьем начинают купаться в снегу. Проходит озабоченный Авдей в белом фартуке, с лопатой в руке, и на бороде у него ключья снега, как вата. Ходит он медленно, основательно, без лишних движений и в то же время вольготно. В лице его — такая серьезная, хозяйственная уверенность и умная осмотрительность, а в маленьких глазках — простодушная хитринка и сметливая лукавешка. На нас, на раненых, он и внимания не обращает: пройдет мимо и не посмотрит — что интересного в бесполезных сейчас людях в марлевых перевязках, с костылями, пустым рукавом шинели. У него есть более важное дело — прочистить дорожку во дворе, подмести площадку перед фасадом, парубить дров и наносить их в кухню. Когда проходит доктор, в военной шинели и шапке ушанке, круглолицый, веселый, всегда насмешливо прищуренный, и покрикивает: «Здорово, товарищ Авдей!» — дворник небрежно и сплеходительно дотрагивается мозолистыми пальцами до шапки и с натугой отвечает:

— Здравия желаю, Егорий Ивапыч, если не шутите.

И равнодушно проходит мимо.

С нами, ранеными, которые уже выходят на прогулку — хромыми, с забинтованными головами, с руками на привязи, он вообще не кланяется.

— Я с вами первоначально поздоровался, — в прок.

И люблю наблюдать за Авдеем: вероятно, потому, что в каждом слове, в каждом поступке, в манере держать голову немного набок, точно он, как петух, всматривается в каждую мелочь проверяющим и оценивающим взглядом, — во всем его поведении отражается мой дружок — боец Назар Суслов. Этот Назар остался в боевом строю и, вероятно, до сих пор дерется с немцами, озабоченно осмотрительно, вдумчиво, с хозяйской спорной крестьянина.

Попал он в наше подразделение из народного ополчения и как-то сразу стал заметным среди бойцов. И не доблестью, не воинским видом, не выправкой, свойственной тренированному красноармейцу, а именно своей слепком деревенской практичностью и способностью чувствовать себя в поле, в лесу, в деревне на своем месте. Выходило как-то так, что в нашей части среди кадровых бойцов, в чисто военной обстановке, где каждый подтянут и отличается особым военным изяществом, он был каким-то несправимо мужиковатым, домашним, своеобразием честным и своей естественной деревенской простотой. Он был похож на коряво написанную букву в красивой четкой строке скорописи. И был он очень забавен, вызывал обычно у бойцов веселый смех, шуточки, хотя и выполнял все свои обязанности, точно, по уставу. Его и



в чем нельзя было упрекнуть, но странное дело: всегда хотелось делать ему замечания. Сам он был часто недоволен: сердито ворчал и укоризненно качал головой, когда замечал неисправность, небрежность, вольность у кого-нибудь из красноармейцев.

— Неучётистый парнишка... Мошь то — в сердце, правда — в душе, а гордость — в бою. У бойца нет отца, кроме военного долга.

На вид ему было лет сорок. Низкорослый, коротконогий, приземистый, ходил он в развалку, но бойко, с зоркой озабоченностью. И все знали, что если Назар шагает куда-то, значит, по делу: он ничего не делал зря. Все его поступки были целесообразны, экономны, всегда к стати и к месту. И всё, что делал он — делал складно, находчиво. В лесу, и в поле, и на берегу реки, и в ведро, и в пенастье — везде он чувствовал себя, как дома. Его не пугали ни глухие дебри, ни болота, ни боевые почи, грозящие смертью, ни танки, ни пушки. Стукнув кулаком по теплой броне танка, он сказал однажды не то с завистью, не то с сожалением:

— Добра-то сколько! Труда-то сколько!

Как рачительный хозяин, Назар сокрушался: ведь этот стальной великан может быть в любой час исковеркан и уничтожен. Он любил труд человека и знал цену вещам. Почему-то хотелось, чтобы у него была деревенская бородавка и волосы в кружок, но он и в армию пришел выбритым, остриженным под машинку, и я ни разу не видел, чтобы он отпустил щетину на лице, и никогда не случалось заметить, чтобы у него была значка гимнастерка или пижель. Он, вероятно, от природы был чистоплотен, и вся суть его жизни состояла в стремлении к порядку. И всегда, как только он видел красноармейца, тоже деревенского парня, в грязных сапогах, или в измятой пропитанной потом гимнастерке, или непричесанного и чумазаго, — а на боевой линии это сплошь да рядом бывает, — Назар качал головой, раздражительно покал языком и ворчал:

— Ты чего это, товарищ, за собой не глядишь? Жук ты навозный! В бою, дружок, человек смерти в глаза глядит. И должен соблюдать чистоту. Ты за жизнь и честь дерешься: значит и дуна должна быть ясной... Значит и одежда — опрятной. Понятно?

Все побочные работы — дрова нарубить в лесу, костер разложить или воды принести, посуду помыть, кухню растопить, картошку почистить — Назар исполнял сам, без всякого приказа. И всегда делал это ловко, быстро, с каким-то присущим ему вкусом и споркой. Сидит он, бывало, на липе, чистит картошку, падает лентами кожа, телесно бе-

лая, клочковатая, и кажется, что Назар, склонив голову на бок и прищурив свои маленькие глазки, любуется быстрыми движениями пальцев, блеском ножа и этой дрожащей кожей. Наш повар Жигалов, с гордым лицом актера (он и раньше был профессиональным поваром) кричал от удовольствия, когда видел за работой Назара.

— Это же, матери его чорт, волшебник и чародей. Даже за душу берет...

Жигалов любил выражаться с ораторскими прикрасами.

...Было это в первые месяцы войны. Наши части отступали под бешеным напором немцев. Враги поливали нас из автоматов, при этом орали, как джари. И было горько, клочкотала ярость в груди, когда приходилось делать вынужденные отходы на новые рубежи. Мы лупили их, уничтожая массами. На наших глазах валялись сотни и тысячи немцев, но на их трупы пёрли новые, точно механически заведенные солдаты. Обычно это была пьяная орава, которая одурело лезла на нас, как саранча.

Однажды в угрюмый ненастный день, когда не видно было неба за седыми вихрями дождя, наше подразделение укрепились в густых зарослях мелколесья, вдоль дороги. Все промокли насвезь: шинели и гимнастерки тяжело и холодно прилипали к телу. Вода ползла по спине, по груди, по ногам. Лица у всех были смугле, распухшие, глаза — мутные, и в душе леделел туман. Несколько дней непрерывных переходов, бои измучили нас. Хотелось отдохнуть — заснуть беспмятным сном. Помню, несколько раз я дремал на ногах: ходил, давал распоряжения, с кем-то разговаривал, но вдруг все кругом исчезало — я терял сознание. Однако в следующее же мгновение вздрагивал от внутреннего толчка и возвращался к действительности. Бойцы падали на мокрую траву или в лужи воды, и тут же засыпали. Они были похожи на трупы. Порывы ветра трепали деревья, сбрасывая на спящих холодный ливень, но они ничего не чувствовали. А те, кто был на ногах, только кричали и посылали господа бога в самые неудобные места. Далеко вздыхали пушки, как гром в предгрозе. Кое-где строчили пулеметные очереди, гулко рассыпаясь эхом. И в нашем лесу и близко и далеко гавкали мины. Но мы уже хорошо знали, что враг не догадывается о нашем появлении. Его самолеты, которые пролетали над нами, не могли нас обнаружить: лесная чаща прервосходно маскировала нас.

Наш командир, старший лейтенант Дубков, сидел на гнилом пне и, накрывшись плащом, внимательно рассматривал карту, лукаво усмехаясь и что-то бормоча. Когда я подошел к

пему, он встретил меня веселой улыбкой. Возле командира стоял связист Голубчиков и сердито ворчал в телефонную трубку.

Назар, который обычно был перед глазами, почему-то исчез, и я решил, что он тоже где-нибудь свалился, пораженный сном.

Наш войсковой разведчик, овчарка Бой, мокрый, грязноногий, лежал на животе в ногах лейтенанта и, павострив высокие уши, высунув язык, настороженно к чему-то прислушивался.

— Если наш повар обманет фашистов, без жратвы не останемся, политрук. Как думаешь, обманет или не обманет?

— Обманет, — ответил политрук. Жигалов живым не будет, а бойцов накормит.

— Ну, когда живым не будет — не накормит, а значит и не обманет. Ты, политрук, выражаешься не совсем точно.

И Дубков ухмыльнулся одной стороной рта. У него всегда раздувались ноздри, когда он ухмылялся. А это значило, что Дубков в хорошем расположении духа. Такое настроение всегда было у него признаком работы мысли.

— Вот в чем дело, политрук! Ты приядь-ка рядышком со мной. Надо бы разведку проинформировать, а потом...

— Ясно, товарищ Дубков: потом ударить и контратаковать.

— До чего ж ты прозорлив, товарищ политрук! Обязательно ударить, обязательно контратаковать. Командование одобряет нашу инициативу.

Он задумался и положил голову на руки, казалось, заснул от усталости. Но вдруг быстро встал на ноги и засмеялся.

— Ого! — Назар-то!.. Оказывается, он колхозным строительством занялся. Пойдем, поглядим, политрук, на его труды.

Назар с большим ворохом зеленых веток за плечами шел недалеко, в зарослях осин и елок. Хотя он был в шинели и пилотке, но совсем не был похож на бойца. Он показался мне каким-то совсем домашним. Назар нашел свое дело и отдался ему без остатка.

По лесу проносились пулеметные очереди и далекие взрывы снарядов. Это было похоже на вспышки памяти. Потом опять все исчезло. Мы привыкли не замечать этих мелочей, как не замечаем в обычной жизни разговоры прохожих, скрип пера, собственных шагов.

Тыловой человек, не шухавший, что называется, пороха, представляет нашу жизнь сплошным адом, где бойцы постоянно переживают кошмары и ужас кровопролития. На самом деле, жизнь в армии идет по своему просто, хотя и с деловой строгостью, как где-нибудь, скажем, на заводе. Надо только влезть в этот мир, обвыкнуть, втерпеться. У каждого есть свои обязанности, свои зада-

ния, которые необходимо выполнить точно и в срок. — В привычку входит заниматься туалетом, ухаживать за винтовкой, за автоматом, за пушкой, как у рабочего за станком или у шофера за машиной. Пришла кухня — все идет к ней со своими котелками. Привычно несут паряды и караулы. В свободные часы бойцы читают газеты, книжки, беседуют. И спят все крепко, не обращая внимания на свист пуль, а когда особенно утомлены, и на фугасы. Жизнь — везде жизнь и люди — везде люди. Я провел на войне не один месяц — с первых же ее дней — и должен сказать, что сначала леденел от страха — очень уж был оглушен ураганом взрывов, ливнем пуль и папором танков. Я видел, как падали и умирали сраженные товарищи, слышал стоны раненых и чувствовал себя обреченным. Конечно, это испытали все — не только я один: ведь я — рядовой боец, не хуже, не лучше других. Потом все эти острые ощущения прошли. Был войны — это тоже был, только в иной обстановке. Успокоился я и совсем пришел в себя после двух самых обыденных случаев. Действующими лицами были тут они же — лейтенант Дубков и боец Назар Суозлов.

Артиллерия у нас — хорошая и ребята — работающие. Жарили мы по немцам — без промаха. Горячо было, прямо скажу. Били мы часа два без передышки. Дубков стоял около своих расчетов и командовал, не отрываясь от бинокля. Я не слышал, а скорее видел его команду: качнет головой вправо или влево и взмахнет рукой — значит кричит. Пушки бахали, выбрасывая пламя. Совсем рядом били и поднимали вихри земли немецкие снаряды. С визгом летели осколки. Бойцы лежали на земле, люди расчета расторопно вкладывали снаряды, орудовали запальниками и как будто совсем не замечали ни разрывов, ни осколков. Дубков же весь ушел в наблюдение, был спокоен и глух к неприятельским мягам. Но моментами он вдруг приходил в бешенство от нетерпения, отдираяцей от глаз и яростно взмахивал рукой. Лицо его вздрагивало от этого взмаха. Ребята сразу подчинялись ему и сами заражались его яростью: они быстро и ловко суетились около своих орудий, и пушки как будто сами выпадали в бешенство. Не только воздух, но и земля бросала нас в разные стороны. Несколько раз снаряды недалеко рвались с Дубкова, и чудилось, что осколки разлили его в упор. А он стоял с биноклем или бросался к орудиям и что-то живо объяснял ребятам. И на все эти смертоносные осколки как будто внимания не обращал.

Назар тоже был, как глухой. Он по-детски заботливо подносил снаряды: и в лице

его коричнево-красном, я не замечал никакого волнения и страха.

Этот его хозяйственный и расчетливый вид и перевернул всю мою душу. Я чувствовал себя легко и радостно. Именно радостно. И я понял тогда в этом урагане смерти расчетливое спокойствие Назара, его вдохновенную деловитость.

— Около тебя, Дубков, сама земля бушевала: осколки так и сыпались, так охашками и разворачивали траву. Этих осколков, вероятно, можно собрать целый воз.

Он с удивлением взглянул на меня:

— Ну, друг, мне некогда было замечать эти осколки и любоваться разрывами: я был занят так, что и себя не чувал. Надо было дело делать, а не следить за осколками.

...Итак Назар с охашкой нарубленных ветвей пробирался сквозь чащу молодых осин. Дубков встал и пошел вслед за ним.

— Ведь сам с ног валится, а все о других заботится... — мяжко заметил он: — Что-то сооружает. И обязательно соорудит хорошее и уютное. Но заметь, политрук... — Дубков даже остановился, чтобы слова его звучали особенно значительно. — Заметь, что сооружает он не для нас с тобой, а именно для бойцов. Ты приглянись к нему повнимательнее, — Назар служит — не в смысле дисциплинарном, строевом, как раньше в деревне говорили: «служить в солдатах». Нет, для него служить значит трудиться, отдавать себя делу, работе — всего себя отдавать... потому что он не представляет себе собственной жизни без самозабвенного труда. Он даже не замечает, что работает: это у него — инстинкт. И этот его инстинкт проявляется в любой обстановке. В часы самого ожесточенного боя он ведет себя так же, как вот сейчас: он продолжает свою работу, как муравей. Я его очень хорошо чувствую и понимаю: боевая работа требует тоже мастерства. А мастерство — это внимательность, знание своего дела, спокойствие и уверенность.

Дубков шел впереди, и как будто забыл обо мне: он рассуждал сам с собой, точно впервые обнаружил в себе мысли и старался разобраться в них и привести их в порядок.

Бой продолжался больше девяти часов. Тяжело раненые были эвакуированы в тыл, трупы увезли, а легко раненые, пискорю перевязанные, лежали вместе с другими в разных местах под дождем и тоже спали. Дождь сеялся туманом из низких холодных туч, угрюмых и вязких, и ветер со свистом трепал деревья и сбрасывал с листьев потоки воды. Она, падая, шумела, как ливень.

Сиповатый голос Назара с негодующим сожалением упрекал кого-то.

— Эх, вы, парод — урод! Где вы только родились, какой отец учил вас хозяйствовать?

Сквозь частые стволы осин и ольхи видно было, как несколько красноармейцев в мокрых шинелях и сдвинутых на ухо шлотах, бросали охашки зеленых ветвей на клетки слег. Эти слегы длинным скелетом в виде стропила тянулись между деревьями. Ребята сооружали вместительный шалаш. Они сваливали кучи ветвей вершинами вверх и разрывали их торопливо, кое-как. Бойцы, с осовелыми лицами и красными глазами, едва двигались. Их ноги прилипали к земле. Назар легко сбросил огромную связку ветвей с целой копной мокрых листьев, подошел к шалашу и стал сбрасывать зелень с веток. Бойцы враждебно следили за ним.

— Ты чего это, в самом деле, разыгрался? — ворчал кто-то из них: — Назар... поехал на базар...

— Этот Назар разгонит весь базар... — угрюмо поправил боец с красным, опухшим лицом.

Третий вдруг коварно изобразил ужас на чумазом лихорадочном лице и фистулой спросил:

— Неужто по по-твоему? Не учётисто? Есть гармония, а ладов нет? Как-кой ты математик?

— А как же! — очень просто, без обиды, с весельем дружелюбием ответил Назар. — Вы учтите, братки, как она, нужда-то, умуразуму учит: надо крыть-то комлями вверх да рядками — одно на одно, а спонами-то вверх. Ни одной капли не попадет. А вы водоем делаете. Бойцы-то нас не поблагодарят, когда потоки хлынут. Сердце травить нечего — тут дело обоюдное...

Говорил он словоохотливо, ободряюще, с каким-то заражающим удовольствием. И ни признака усталости не заметил я в его торопливых и ёмких движениях.

Трое красноармейцев принесли еще по вороху зелени и сейчас же сели на них, тяжело дыша, мокрые, распаренные. Назар брал по пучку веток и укладывал их ловко, быстро, с особым каким-то изяществом и теплотой. Оба бойца, которые отпосились до этого очень критически к нему, стали делать то же, что и он, поглядывая, как он рассыпает ветви.

— Изобретательный стервец... — ухмыльнулся Дубков. — Он всех заставит работать без приказа и понуждения.

— И чорт его щеголет! — осканился один из красноармейцев, вытирая лицо мокрым рукавом. — Ни чох, ни сох его не берет... Всег-

за жадный на работу... Не стыдом берет, а стихийно...

— Ребята! — ласковым фальцетом пригласил их Назар: — Давайте-ка колхозом... Все — за одного, один — за всех. Очень даже хорошо. Осипки шумят — о любви говорят... Отличный барак будет: поспят бойцы, поедят, душу успокоят, а там и опять за работку.

— За работку!.. — опять ухмыльнулся Дубков. — Это — бой-то работка.

— Это — под стать тебе, товарищ лейтенант, — пошутил я: ты ведь сам в бою-то работник...

Дубков промолчал и решительно направился к Назару и бойцам. Все работало молча, с каким-то внезапным упорством. Дубков тоже пристал к ним и охапку за охапкой бросал на строения и раскладывал ветви, начиная снизу. Вторым рядом он накрывал первую охапку и так до самого верха. Я тоже бросился к ним.

Не буду распространяться. Одним словом этот длинный шалап человек на сорок мы соорудили очень быстро. А потом сам Назар провожал туда в первую очередь всех раненых, а нескольких парней при общем смехе отнесли на руках: так они и не проснулись.

Для нас с Дубковым Назар совсем незаметно, пока мы обедали (повар все-таки накормил нас обедом), соорудил кругленький шалапик, похожий на стог сена, и не пригласил, а с деловитой строгостью приказал нам:

— Под дождем вам не место, товарищ командир и товарищ политрук: от товарищей бойцов предложение — в шалап вап пожайдите.

— В какой это наш шалап? — с насмешливой строгостью оборвал его Дубков. — Не до шалапешей — к следующему бою надо готовиться.

— А там уж все готово: и стол есть и свечка на столе. Лежаки тоже мягкие... по карте погуляете, засечете точки, потолкуете с комсоставом, а потом и поспать.

Мы сидели в сумерках, под дождем и поливаем капли и дрожали от мокрого холода. Забота о нас Назара была дорожке ласки матери. Прямо до слез он меня растрогал. А Дубков сердито встал и также сердито полагал руку Назара.

— Какого ты чорта треплешься, Суслов, с твоим шалапиком? Иди дрыхни, а то ведь совсем глаз не сомгнул. Что от тебя останется к ночи? Подумал пад этим?

Назар так весь и расплылся в улыбке. С Дубковым он обращался с некоторой снижающей фамильярностью, и если вытискивался перед ним, то делал это для порядка:

он блюл дисциплину, как я уже сказал, истово.

— Точно, товарищ командир, подумал. Командир и политрук — одни в ответе за исход в сражении. А бойцы отвечают за командира. Ежели наш командир али политрук в тяжелом ранении — их нужно из боя вынести. А чтобы бой был хороший и труд крепкий, бойцы о своем командире и политруке должны позаботиться. Точно — по уставу, товарищ командир!

Дубков ухмыльнулся и почему-то приложил ладонь к виску.

— Учтетисто, Назар... обоюдно.

— Точно, товарищ командир: обоюдно.

— Ну, спасибо, друг: веди в этот самый шалап. Да иди, поспи. Я тебя потом вызову: ты мне будешь нужен. Обедал?

— Было дело, товарищ командир.

Ночью мы пошли в разведку. Дубков даже рассвирепел, когда я настойчиво потребовал, чтобы эту группу разведчиков он поручил мне вести.

— А ты был когда-нибудь в разведке?

— Нет, не был, но ведь и большинство из этих бойцов не были: они вызвались по своей охоте.

Дубков насмешливо взглянул на меня и с подчеркнутой строгостью ответил:

— Желających я отшивал семь из десятка. Не каждого можно посылать на такое дело. Я возмутился и забунтовал.

— Так ты, Дубков, относишь меня к тем семи непригодным?

Он затянулся папирсой, неторопливо щелкнул по ней пальцем и задумался над картой.

— Нам нужно хорошо разведать, что делается в деревне, — проговорил он, отмечая какие-то места на карте: — Нужно узнать, где у немцев сосредоточены огневые средства. Обязательно захватить языка. Затем...

— Я жду ответа, товарищ лейтенант.

Он поднял лицо и с удивлением осмотрел меня холодными глазами.

— Давай-ка обсудим план предстоящего боя. Очень четко и своевременно надо обеспечить наше взаимодействие с пехотой и танками. Разведка должна проникнуть в занятую немцами деревню.

— Я ее очень хорошо знаю, товарищ Дубков: я жил здесь одно лето. И окрестности хорошо знаю, так что едва ли ты найдешь более подходящего человека.

— Ну, довольно, политрук! Я не желаю с тобой расставаться. Пошлю я более опытного парня, чем ты. Точка.

Он встал и ухмыльнулся одной стороной рта, но я увидел, что он взволнован.

— Что важно, политрук? Важно одно: хорошо владеть искусством разведчика. А оно все построено на внезапностях, изобретательности, находчивости.

Эти его простые слова тронули меня. Человек каждый день и каждый час находился на волоске от смерти, он знал, что он может каждую минуту сложить голову — быть разорванным бомбой, снарядом или миной, и вместо того, чтобы думать о себе, он хочет одного — охранить меня. Чужак, почему он не допускает мысли, что эта опасность здесь так же велика, как и там, в разведке.

Я продолжал настаивать. Тогда он выпрямился и холодно приказал:

— Хорошо. Разведку возглавишь ты, политрук. Сведения должны быть точные: никаких неясностей. От этого, как сам знаешь, зависит успех боевой операции.— И он добавил уже мягче: — держи около себя Назара Суслова.

Мы сели за столы и стали обсуждать задачи нашей разведки.

Мой отряд двинулся узкими лесными тропинками. Мы нагрузились автоматами, патронами, гранатами и потянулись один за другим длинной цепочкой. Назар шел впереди, как опытный следопыт, я — за ним, а за мной и все остальные. Шли мы тихо, почти беззвучно по мокрой траве, только ветки шуршали и пощелкивали по нашим плечам, да потрескивали влажные сучья под подошвами и чавкала вода. Горьковатый аромат осин, прохладный от дождя, лился вокруг нас фосфорической тьмой. И было похоже, что мы идем куда-то далеко на охоту, и не думалось об опасностях, которые ожидают нас впереди. Было спокойно и легко на душе. И было хорошо от уверенности, что каждый из нас не оставит друг друга в беде, что я — сильнее самого себя, потому что сила каждого из бойцов — моя сила. Только в эти минуты молчаливого нашего похода по лесной чащобе я почувствовал весь огромный смысл нашей дружбы. Можно не проронить с человеком ни одного слова, увидеть его в первый раз и все же знать, что он — самый близкий, неразрывно связанный с тобой человек, который пожертвует ради тебя своей жизнью. Иногда я, кажется, не переживал с такой полнотой счастливого чувства прочности своей с людьми и жизнью, как в те ночные мгновения.

Назар шел в перевалочку, размахивая правой рукой наотмашь и скосив голову на бок. Так он держит голову в те минуты, когда зорко осматривается. Я уверен, что он видел в этой лесной тьме так же хорошо, как днем, и не глазами только, а силой своего зоркого инстинкта.

Где-то высоко, за тучами гудели самолеты. По хриплому шуму я знал, что это самолеты врага. Куда они летят? Вероятно, на Москву.

Я вспомнил наш последний разговор с Дубковым в палаше. Теплилась свечка на столешке из ящика и тускло освещала разложенную карту. Здесь стоял и Назар, дремотно мигая веками. Дубков тыкал карандашом в карту и говорил как будто сам с собой:

— Вот. В Щербатовке надо установить силы врага. Точно определить расположение огневых средств. Ночью они неохотно вступают в бой. Узнать, где автотранспорт, танки, боеприпасы. В какой избе — штаб. И обязательно языка... Хорошо бы захватить двух. Нам надо бить наверняка, без промаха. Сведения должны быть доставлены до рассвета. Сделать все надо, как говорит Назар, учётливо.

И он добродушно усмехнулся.

— Чего не сделать? — согласился Назар: — Сделаем. Люди оглядистые.

— Ты, Суслов, не хвались на рать идущих... Немцы, брат, не хуже нас оглядистые.

Дубков подмигнул мне бровью.

— Это точно, товарищ лейтенант: немны парод учётистый насчет порядку — как пашки на доске, без часов и на двор не ходят.

— Вот то-то и оно, — строго заключил Дубков и опять начал намечать линии на карте.

Но Назар неожиданно шагнул к нему и внушительно изрёк:

— А вот души-то у немца нет, товарищ лейтенант. Нет у него души.

— Чего-о? — удивился Дубков и откинулся назад. Глаза у него палились смехом.

— Души человеческой нет... — убежденно повторил Назар и угрюмо нахмурился. В маленьких умных глазках его пропозительно сверкнула ненависть. — Он, немец-то, как волк в стае: дерет и ревет, а подыхает без толку. Нападает и живодерствует, как волк, а околевает, как муха. Без души. Как жить, так и умирать надо уметь хорошо. У нашего русского человека — душа большая.

Назар стоял невозмутимо, уверенно. Мне казалось, что он чувствовал себя в ту минуту сильнее и выше нас, охваченный неугасимой мыслью, которая живет и зреет вместе с судьбой человека и делает его свободным и бесстрашным. Я смотрел на него с почтительным уважением, а Дубков как-то присмирел, смутился и уже не было у него на лице снисходительной усмешки. Он молчал и раздумчиво смотрел на карту, раз за разом поныхивая папиросой.

— Да, это — ядреная истина, — рассеянно сгасал он: — Надо уметь — и жить, то есть

работать, и умирать уметь... Верю, без души и жизни и смерть — сущее дерьмо.

И теперь в лесной тьме я шел вслед за Назаром и верил в его силу — в мудрую его простую душу и житейскую его шаходчивость и хитроумие.

Глухая чащоба обрывалась, и мы выходили на полянку. Моросил дождь, и казалось, что тучи спускались до вершин деревьев.

Бойцы шли молча один за другим и изредка перешептывались, а может быть, это мне только чудилось, может быть, это шуршали и хлопали по мокрому дерну их сапоги. Где-то справа и впереди далеко вспыхивали снолохи, взвивались, как метеоры, и вдруг ни с того ни с сего рассыпалась пулеметная очередь. Очень высоко над нами, за тучами, дрябло пыли самолет.

Назар вдруг остановился. Все застыли на шагу. Назар указал рукою влево.

— Немцы, товарищ полйтрук. Тут — конец лесу. В лес они не ходят.

И верно, я уловил шлепанье шагов и приглушенные голоса.

Надо сказать, что немецкую речь, хоть и с грехом пополам, а понимаю. Читаю бегло, но слухом воспринимаю с некоторой патугой.

— Подождите здесь, товарищ Суслов, а я проберусь к ним поближе.

Назар промолчал, и в этом молчании я почувствовал неодобрение и недоверие. Не успел я сделать шага, как Назар схватил меня за рукав.

— Автоматик-то надо поспособнее... за плечико. Тут — чащоба, как крапива. Надо разгребать, и погу вперед и руку вперед. По чащобе не ходят, а прыгнут. Вместе пойдём.

Он осторожно толкнул меня в локоть и совсем бесшумно пошел в самую густую заросль. Эту заросль я не столько видел, сколько чувствовал. И я опять удивился: шел я свободно за Назаром и даже веток не ощущал. Откуда у него, хлебороба, такая повадка лешего? Пескoлько раз он останавливался, прислушивался, застывал, потом безмолвно сворачивал в сторону и опять бесшумно пробирался без шелеста и треска. Я шагал за ним, как по хорошей тропе. Однажды он все-таки споткнулся и упал, и мне почудилось, что перед ним шарахнулся какой-то зверь и помчался в сторону, ломая ветви.

— Яма какая-то... — с досадой пробормотал Назар. Он плескался в воде и старался выбраться из нее. — По пояс, как в кучели... — И он хихикал сконфуженно. — Не учётисто вышло... А яме-то как будто здесь и быть не должно... Левее держи!

Мы прошли еще несколько шагов, и я вдруг почувствовал знакомую воздушную лустоту и легкость. Фосфорически мерцала поч-

ная глубина. Небо вспыхивало вдали частыми снолохами. Должно быть, где-то стреляли зенитки. Попржежнему моросил дождь и шелестел, как листья на ветру.

Шаги чавкали совсем рядом, и мне казалось, что немцы идут прямо на нас. Но Назар стоял около меня и шептал:

— По проселку топает. Двое. Мимо нас пройдут. Шагов пять же больше. Лазучики, стало быть. Ежели бы поподбористее оглушить их да живьем лейтепанту доставить... Ну-ка, слушай: чего это они шебаршат?

Я прислушался, но не разобрал ни одного слова. Один из немцев вдруг остановился, выругался и хрипло сказал:

— Я дальше не пойду. Я уверен, что русские держат нас на прицеле.

— Вполне возможно. Партизаны шлепают нас, как мух. Гапса и Брюшке прикончили еще у Минска. Вот так же послапы они были, как мы.

Дальше я ничего не мог разобрать, но, несомненно, мы подстергли хорошую дичь: немцы сами отдавались в наши руки.

Назар крадучись пошел направо, а не прямо на немцев.

— Куна ты? — шепнул я.

— В зад ударим им и — сразу, чтоб они обмерли.

Немцы были несомненно во хмелю, потому что голоса у них были нетверды и хриловаты. Опыняло их и чувство свободы: они — одни, и их не подслушивает ни гестаповец, ни офицер. Один из солдат хрипло засмеялся и вполголоса зашел игривую песенку. Почему-то я очень хорошо запомнил ее слова, которые он выговаривал четко, с злым отчаянием:

Flescheren du kleine,  
Leich mir deine Beine...

Направив на них автоматы, мы носом к лесу стали перед ними.

— Стой! — приказал я по-немецки. — Руки вверх!

— Рус! — в ужасе прохрипел один из них, а другой понятился назад.

— Не думайте сопротивляться... — предупредил я их: — Бежать вам некуда.

Они дрожали и ежились, как в лихорадке должно быть лепенели от животного страха. Винтовки они бросили послушно, а руки подняли чересчур быстро. Назар обыскал и снял пояса с какими-то прищепками, опорожил карманы. Так с поднятыми руками они вместе с нами поплы в лес.

Едва мы вступили в чащу, Назар потр бовал: для верности завязать им глаза и связать их же ремнями руки.

— Неучётисто будет, ежели прыгнут чащобу...

Не ожидая разрешения, он быстро слутал им руки позади, завязал глаза своим платком сплому, а моим — другому.

— Ты своего, товарищ политрук, а я — своего, — под ручку. Так оно подобрестей. Одно задание, значит, выполнили.

Нашли бойцы были ошарашены, когда мы привели с собой немцев. Действительно, такая легкая добыча достается редко. Однако, факт был фактом. Я отрядил к пленным трех бойцов.

Если бы люди, которые живут в тылу, прочли эти строки, они не поверили бы: очень уж просто, обыкновенно, буднично. Ведь война — это сплошной грохот огня, постоянные смерчи снарядов, которые рвутся, вскидывая к небу черные вихри земли, как это показывают на экране кино, это — страшные атаки, кошмары атак, когда люди идут навстречу ливню пуль, а в воздухе несутся сотни самолетов и сбрасывают сплошной град бомб. Вообще война — это ужасное землетрясение, которое нестерпимо для человека: пужать себя и мир, или обладать чудовищной силой воли, чтобы не упасть без памяти. Уже здесь в госпитале мне сплошь и рядом приходилось видеть людей, которые смотрели на нас, раненых, с ужасом любопытства, трепетно задавали вопросы вроде следующих: «Как вы могли пережить этот ад, зная, что каждое мгновение вы можете быть пропущеными пулями?»

Такого рода вопросы сменили и меня и моих товарищей. Мой сосед по койке, урюмый и подорбый на вид, молодой капитан, с седеющими висками, с густыми бровями и насмешливым взглядом исподлобья, а на самом деле добродушнейший и веселый парень, в ответ на эти вопросы обычно острял:

— Людей сводит с ума не действительность, а призраки. Сказки вредны не столько для детей, сколько для взрослых. Люди болеют обычно от мнительности. Советую вам поехать добровольцем на войну, чтобы вылезть от этого... я бы сказал, странного отношения к шей.

И от этой путы капитана посетители конфузились и чувствовали себя обиженными.

Но таких вопросов никогда не задавал нам Авдей. Со свойственным ему безразличием он иногда слушал на дворе наши беседы с гостями и вдруг ни с того ни с сего замечал:

— Вот шлюй сойдет, подохнет маленько, пачнут руками махать, перестанут дылгать и — опять на фронт. Им — чего: народ военный, на этом стоят. Вот меня взять: однаво погу себе по печальности саданул. Набрутили мне всякого тряпья, лапоть недели — недели две с драчком шатался. Отвалился от домаш-

него дела и впал в тоску. Мочи нет. И одна думка — промаду я без своей квалификации... А им, воякам, и подавно: хоть и ухаживают за ними, ласкают, а квалификация-то сердце гложет.

И он отходил в своем белом фартуке, полный достоинства и пренебрежения к пустозвонству посетителей. И Авдей, по-моему, был более близок к истине, чем все романисты, которые пацодали нам своей пашвностью. В быте войны многое просто и обычно, как в жизни, только, может быть, этот быт несколько своеобразен, строго дисциплинирован и автоматичен, — конечно, в хорошем смысле. Автоматичность в армии — сила могучая: ловнивание, исполнительность, павык, превращенный в рефлекс, при боевой силе — залог мастерского боя или, как выражается Дубков, боевой работы. А работа на боевых рубежах требует такого же знания и внимания, как и в цехах завода, где машина держит рабочего в состоянии постоянного напряжения, бдительности, зоркости и точности. Мы на войне точно так же, как стахановцы, должны выжимать из боевых механизмов не одну норму и не отходить от них по целым суткам. Мы так же отдыхаем, обедаем, пьем чай, развлекаемся, слушаем радио, читаем и спорим по разным вопросам политики, литературы и текущей жизни.

Для людей тыла странно слышать (и они не хотели бы слышать), что в перерывах между боями мы часто разговариваем о наших личных делах — о любимых девушках, о наших ребятишках, вспоминаем их забавные слова и поступки, их шалости, хвалимся, какие они умные да наблюдательные, какие наши жены самоотверженные, а девушки — самые замечательные на свете. Мы мечтаем о том, как после войны опять заживем полной жизнью, как поедем в Крым или в Сочи на курорт. Мечтаем о всяких мелочах: об охоте, о рыбной ловле, о спорте, о вояжках, о собаках, о научной работе, об избрании в академики... Мы громко и от души хохочем над анекдотами, которые рассказываем друг другу на перебой. И ни один из нас не хочет говорить о смерти, которая посится над нами, как ветер. Мы просто не думаем об этом. Мы думаем только об ответственных заданиях, то есть как выполнить их хорошо, с честью, умело, находчиво, хитроумно, без жертв. Мы думаем о том, как бы хорошенько ударить этих фашистских горилл, которые распоряжаются в наших городах и селах, насильничают, мародерствуют, убивают наш народ и погашают нашу землю. Когда мы думаем об этом, наши сердца разрываются от нестерпимой ненависти к ним,

и нам неудержимо хочется ринуться на них и уничтожить... уничтожить их и день и ночь.

Мы прошли лесом до деревни, где сосредоточены были передовые части врага — его танки, бронемашины, пехота, минометные и пулеметные гнезда. Здесь мы должны были точно установить их местонахождение, изучить, что готовится предпринять враг.

Эта деревня была очень хорошо мне знакома: я жил в ней, как на даче, — занимал комнату у моего приятеля, колхозника. Село было небольшое и тянулось двумя рядами избушек вдоль шоссе по обе стороны дороги. Как и все подмосковные деревни, она была похожа на своих соседей: те же бревенчатые избы с трехколонным фасадом, с резными наличниками, с чердачными окнами на переднем скате крыши, похожим на малюсенький мезонин, с глухим, крытым двориком, с тесовыми воротами, с неизменными березками и кустами сирени в палисаднике.

И, когда мы подошли к ней из лесу, скрываясь в зарослях ольхи на берегу маленькой речки, слышно было, как трещали мотоциклы, орала, неслыханная здесь, голоса и жалобно пищали не то котята, не то младенцы. Мимо нас, скуля, прощмыгнула с поджатым хвостом собака. Паверху, по огороду, черной размытой тенью двинулся силуэт человека. Это был немец на карауле. Он на минуту застыл на месте и грозно, но с оторопью крикнул:

— Хальт!

Постоял, прислушался и, успокоившись, попрежнему медленно зашагал вдоль обрыва.

— Это мучело надо снять, — сказал я ребятам.

Все наперебой требовательно зашептали: я! я! Но Назар властно отодвинул их обеими руками и о строгой назидательности сказал:

— Не всякий охотник дичь берет. Горячий тут не возьмешь. Укладисто падо.

Он даже не попросил у меня разрешения — он был уверен, что я возражать не посмею — и скрылся в темноте.

Назар долго не возвращался, и я забеспокоился. С двумя бойцами поднялся я к тому месту, где снят был немец, а остальных оставил в ольшенике, дав им подробные указания, как и что делать при всяких возможных случаях. Вдруг я услышал шепот Назара:

— На дворе старуха сидит, а перед ней — мертвое тело. Двое убитых ребятенков с телом, один титениный. Старуха-то ума лишилась: сидит, качается и ничего не чует. Шойдем, поглядим, что на улице делается.

Мы пробрались по узкой щели между двумя повыми незаконченными срубами, но не

вышли из этой дыры. Прямо перед нами стояли две старых ветлы, как черные конны. Мы сначала ошпили: четыре очень высоких вытянутых тели застыли под ветвями, как солдаты на страже. Инстинктивно мы прижались к стенам срубов и приготовили автоматы. Это были повешенные. У всех четверых головы были несчастливо свернуты в сторону. По улице прошла группа немцев с винтовками в руках. Один из них пьяно ругал кого-то и грозил прикончить с каким-то Шульце при первом удобном случае.

Один из бойцов заснул и, сдерживая стон, жалобно прошептал:

— Ах, мерзавцы! Чего наделали, сукины дети!

И выругался так, что в горле у него пискнуло.

— Товарищ политрук, разрешите мне...

Но он не успел выразить своей просьбы: Назар наклонился к моему уху и сказал, отдавая дыханием мою щеку:

— Надо бы обмундирование-то с немца стащить, товарищ политрук: сейчас бы оно было для нас укладисто.

Он будто угадал мою мысль, которая мелькнула у меня в мозгу: я уже решил послать его к трупу немца и снять с него одежду, чтобы пройти по деревне — осмотреть укрепления немцев и прислушаться к их разговорам.

— Беги, Суслов... только не мешкай.

Группами проходили солдаты и бормотали, не поймешь что. Где-то недалеко гулко загрохотали залпы выстрелов, и мне почудились стоны, завыванье и детский крик. Где-то далеко по дороге глухо хрипели машины, и это было похоже на далекий поезд.

— Слышите, товарищ политрук? — торопливо прошептал тот же боец и вздохнул, но сразу же оборвал свой вздох.

Назар пришел совсем неслышно.

— Наряжайтесь в немца, товарищ политрук.

Я быстро напялил на себя штаны, тужурку, переобулся и навесил на грудь немецкий автомат. Снаряды мои засунул за пояс Назар, а шидотку положил в карман.

— У школы чего-то уж больно неурядисто, — шептал Назар: то ли пьяные, то ли порка... Но мне бы так, товарищ политрук: вы по селу проходочку сделаете, а я с двумя бойцами к лесочку проберусь. Не иначе старичка-колхозника пайду — покалякаю с ним.

— Действуйте, Суслов. Ждите меня в кустах за школой. Не мешкайте: я там буду очень скоро.

Назар с бойцами исчез во тьме.

С первых же шагов нашего выступления Назар, как говорится, сел на своего кося.



А сейчас в деревье он был душой дела и чутьем угадывал обстановку. Он действовал заверняка, и на него без всякой опаски можно было положиться. Если бы даже и вспомнились немцы и устроили облаву, Назар был бы неуловим. Но я верил, что он сделает то, что нужно, и сделает хорошо.

Налетел ветер и облиз нас дождем. Тела повешенных закачались и, толкая друг друга, завертелись на веревках из стороны в сторону.

Я смело и развязно пошел по улице и даже стал петь песенку, которую слышал еще по дороге сюда: «Fiescheren du Kleine».

Из черной дыры распахнутых ворот вышли трое солдат и с пьяным хохотом быстро шагали вдоль изб назад от меня. На улице было по ночному пусто и жутко. Что творилось в этих избах? Какой ужас должны переживать наши люди, не успевшие убежать! Приглянусь, мне было страшно одному: мне чудились повешенные на каждом дереве и группы людей в грязи около изб. Я плелся по лужам, ноги мои скользили в глинистой жиже, и она хлопала и чавкала под немецкими необычными для меня башмаками. Где-то далеко за лесом небо вспыхивало красным туманным заревом: должно быть, горела какая-то деревня. На фоне этого зарева верхушки елей четко вырезались черными силуэтами. Вдруг я увидел перед собою хрюкающего человека, который беспомощно барахтался в грязи и не мог подняться. Я наклонился над ним и увидел пьяного немецкого солдата. Он был весь в грязи и, ползая на четвереньках, злобно бредил и хрипло зывал время от времени.

Кажется, я никогда еще не испытывал такой ютрасяющей пепависти, как в эту минуту. У меня даже голова закружилась от яростного порыва убить его, как тусную гадюку. Ведь эта собака будет насиловать девушек, стрелять в ребятшек, шорить стариков, грабить и жрать. Скольким он перебьет наших людей завтра, через неделю, если его не уничтожить сейчас же. Я не помню, как это случилось, я просто не отдавал себе отчета в своих поступках — я был в неступлении. Помню только момент, когда я стащил с него автомат, и со всего размаха ударил его по башке. Он рухнул и как будто расплылся в грязи. Я быстро свернул с дороги и почти бегом пошел дальше, размахивая автоматом немца. Во тьме я патолкнулся на деревянный сруб колодца и торопливо бросил в четырехугольную дыру автомат. В голове стало ясно, и я отчетливо увидел и дорогу и всклокоченную грязь на ней, и немые избы с мертвыми окнами, и лежащий на боку мо-

топщик, и исковерканную телегу в канаве у дороги, и брохатую тушу лошади в хомуте и с дугой на боку, а рядом — трупы людей, упавших друг на друга. На телеграфном столбе, тесно прижавшись к нему спиной, висела со свернутой набок головой женщина в короткой юбке и лифчике, из которого вывалилась одна грудь. Хотя и трудно было рассмотреть в темноте эту женщину, но я твердо знал, что она — молода. Рот у ней был открыт и перекошен, точно она продолжала еще неслышно кричать о помощи.

На мгновение я почувствовал ледящую боль внутри и что-то вроде судороги в сердце. Из груди рвался стон. Но я до боли сжимал зубы. И удивительно, я шел широким, уверенным шагом вперед, на площадь, где слышна была какая-то хлопотня, глухие и командные окрики. Проню по дороге несколько солдат. Они не обратили на меня внимания и сбились о чем-то. Разобрать я ничего не мог, только раза два услышал слово «партизаны». Должно быть, эти партизаны преследовали их, как призраки. Один из солдат громко и запосчиво выругался и крикнул:

— Это бацин, ребята. На Балканах я расправлялся с ними, как мясник, а они нычали, как поросята.

Ему невнятно ответило несколько голосов, перебивая друг друга, но что они говорили, — я не разобрал. Зато первый солдат орал на всю улицу.

— Чорта с два! Они все — партизаны. Завтра мы раздавим их в кленках и перестреляем, как куропаток. Русские пока удирают от нас. Утром мы двинем танки с десантом пулеметчиков и автоматчиков. Мы пролетим перед их носом, как на шараде, и они даже не увидят, как ребята возьмут их в огневое кольцо. А из опушек леса — шквальный огонь.

— Ты очень много знаешь... — насмешливо проворчал один из солдат.

— А я сейчас из штаба.

— Поздравляю! — Участвовал в разработке стратегического плана?

— Нет, серьезно: организовал узли для офицеров. Это стояло старухи и девки.

Я слушал их с большим интересом и запоминал каждое слово. Болтливый солдат — самый верный информатор.

Со стороны школы вдруг доносился раздражающий рев, потом визг и шлепающие удары. Что-то вроде рожочущего вздоха пронеслось по улице, а может быть, это порыв ветра зашлепал деревьями и стряхнул с осенних листьев потоки воды.

Я торопился к школе. Она стояла на площади. Это кирпичное здание с большими ок-

нами строилось при мне. Оно стояло среди широкого двора, обнесенного широкой оградой. Тогда же позади школы был посажен фруктовый сад. На другой стороне площади белел давешний каменный дом, в котором жил когда-то месячный богатей, а теперь в нем помещался сельсовет, правление колхоза и избачтальня.

Мутно желтели окна и в школе и в белом доме. Теши прыгали по стеклам — пьяная голла внутри зданий. Среди рева, вдруг, резали душу женские хриплые визги. Такие полные ужаса крики бывают в те минуты, когда убивают или насилюют, и у жертвы на спасение нет надежды. Это страшный стон последнего и смертельного отчаяния.

На площади густо громоздились грузовики, вероятно, с военприпасами и легковые машины. Перед школьной оградой лежала груда людей. Заметил я их в тот момент, когда папустили на что-то и — сразу почувствовал — мертвое тело. Я поклонился и увидел, что все эти люди валяются друг на друге, то в скрюченных, то в каких-то распахнутых позах. Даже во тьме было видно, как белели их мертвые лица. Очевидно, всех согнали сюда к ограде и расстреляли. На столбах, где помещался трансформатор, перед забором висели двое повешенных, с руками за спиной, в кепках, с опущенными книзу лицами, которые, казалось, пристально всматривались в меня. Эти повешенные как будто жутко шептали: «смотри, что с нами сделали!» Я не в силах передать, что переживал в эти секунды. Дрожали руки и ноги, и жгла сердце страшная боль: этого злодейства нельзя простить, надо всех этих убийц, которые устраивают оргию в школе, предать самой лютой смерти. Я инстинктивно сжимал автомат в руках, и мне неудержимо хотелось ворваться в школу и перестрелять всех этих льяных собак.

У церкви, с низкой колокольной, полыхали ввышки факелов. Пламени их не было видно, только трепетали красные отблески на облезлой стене колокольной и дымными ввышками полыхали над грузовиками, высоко навязченными ящиками и лузатыми телями. Там стоял и мычал человек, а мычанье его обрывало мокрое плепанье и хрипкое рычанье. Чтобы не выдать себя и не возбуждать подозрения у немцев, я свернул на площадь и издали в пролет между машинами увидел, как высокий, мордастый детина в лиловке остервенело взмахивал палкой и бил ею по голому заду человека... При каждом ударе человека подбрасывало вверх, и он вылетало, тяжело.

На ногах у него сидел один солдат, а на голову опирался обоими руками другой. Но-одаль сбилась в кучу под охрапой молодежь-

кого солдата с винтовкой небольшая толпа колхозников и колхозниц, стариков и молодых. Все смотрели на порку с помертвевшими лицами, молча, неподвижно.

Мимо меня прошли трое солдат, но даже как будто не заметили меня. Я круто повернул обратно и быстро зашагал вдоль школьного забора, чтобы пробраться на противоположную сторону, где должен встретиться с Назаром и бойцами. Страшное чувство охватило меня. Я был в нашей родной деревне, где когда-то жил и дышал воздухом ранней весны, гулял по лесу, собирал цветы на полянах. Никогда я не думал, что в эту милую деревню ворвутся фашисты и, как разбойники, будут вешать, пороть и расстреливать наших людей. Это была наша деревня и — не наша. Она так-то обмерла — не найдет лучшего слова, чтобы выразить мое ощущение. Кажется, что ужас физически заливал улицы и парализовал избы. Будто и в черных пятнах окон застыл этот ужас... Но и что-то другое невидимое, но страшное таялось в этих язвах, в пустых улицах, — что-то злое, грозное, неотвратимое. Если бы кто-нибудь из этих солдат на минуту остановился один среди черной, вымершей улицы, он оледенел бы от охватившего его кошмара. Этот кошмар убил бы его или заставил бы бежать из деревни, кула глаза глядя.

Я на мгновение даже остановился: что чувствовали и чувствуют люди этой деревни, которые не успели уйти или остались дома, не имея сил оторваться от родного гнезда? Мы, бойцы, в постоянной борьбе с врагами, мы связаны друг с другом, как кольца железной цепи, мы каждую минуту ощущаем не только дыхание, но и душу друг друга. У нас нет ни страха, ни ожидания смерти. У нас — только обман, что мы выпуклыми отступать — перед кем? перед Гитлером! — и отдавать врагу наши города и села, наши прекрасные леса и дороги. В груди у нас кипит непамять и жажда мести. И какие бы ни были смертельные опасности, мы с радостью, с одушевлением бросались и будем бросаться навстречу врагу. Вот и сейчас разве я пошел в разведку из молодчества? Нет! Только от нестерпимой потребности сделать все, чтобы истребить врага постоянно — каждый день, каждый час. Игги в бой — потрясающая радость, крушить чертей из ада и видеть, как взрывы разлетаются из машины и тела — это счастье.

А вот какую муку пережили эти погибшие люди? Что могло быть ужаснее безнадежного ожидания, когда палачи гнали их на площадь и потом направляли на них дула винтовок? И что может быть отвратительнее этой гнусной экзекуции у церкви? С ума можно

ойти! И я в этот момент вдруг почувствовал свое одиночество, оторванность от товарищей. В сущности я тоже был в ловушке, тоже каждую секунду мог быть схвачен и подвергнут унижительным издевательствам и пыткам, несмотря на то, что я нес с собой автомат и гранаты. Я был в своем селе, но в логовище врага. И только привычная, превращенная в инстинкт, самодисциплина, выдержка и уверенность, что я не потеряюсь и не дамся живым, делали меня зорким и чутким ко всяким мелочам, — к голосам, к тепям, к шорохам, к близкому и далекому движению.

В тот миг, как остановился, я вдруг услышал странную возню около забора, всхлипывающий лепет и воркотню, точно какой-то зверек заботливо занят был своим неотложным делом. Я приготовил автомат, ослышался, прислушался. Но улице спатались пьяные немцы, ругались между собой и хрипло были песни. У забора я увидел маленького карануза, в коротенькой рубашонке, без штанишек, босенького. Он старался схватиться за что-нибудь ручонками и упорно переступал по жонкам по мокрой траве. Белая рубашонка прилипла к телу ребенка; он торопливо и уверенно ползился вперед. Предоставленный себе, он упорно искал дорогу к дому, не унывая и, должно быть, уже привык к почтой темпоте и пустынности улицы. Он боролся за свое право на жизнь и несомненно был уверен, что преодолевает все препятствия. А ведь на него обрушилась ночь со всеми ужасами, и он, маленький, один в мире, среди кровавой войны, не сомневался в своей силе и знал, что дом свой он найдет, что настанет утро и, несмотря на холодный юзьд осени, взойдет солнце, и запоют петухи, победоносно хлопая крыльями.

Я подошел к нему и хотел подхватить его за руки, но он враждебно пасунился и, отмакивая рученками, злым баском огрызнулся: — Иди! Иди!

Я наклонился над ним и увидел, что рубашонка его, лицо и ручонки залиты кровью. Мальчонка, очевидно, вылез из кучи расстрелянных. Должно быть, оглушенный, он лежал вместе с убитой матерью, а потом, подчиняясь какому-то тайному инстинкту, полз на четвереньках прочь от смерти, чтобы своими силами бороться за жизнь.

Не теряя ни минуты, я подхватил его на руки и почти побежал по улице, вдоль забора. Карануз, к моему удивлению, не заплакал, а внимательно посмотрел на мое лицо, пал бить меня холодной мокрой ладкой по щеке, по глазам, по плечу.

Позади школы я не нашел бойцов. По заборкам бежали немцы, — бежали торопливо,

точно преследовали кого-то. Мне стало не по себе: должно быть наших ребят обнаружили, и они спасались бегством. Почему же не стреляли немцы?

Меня схватила за плечо сплывшая рука. Минутка была не из обычных. Я уже решил, что попал в лапы какого-нибудь фашиста, который подкарауливал меня. Но Назар почти скомандовал мне хриплым шепотом:

— Товарищ политрук, шагайте за мной! — и ухмыльнулся: — Это они па грабеж подались. Чую, хохочут и радуются. Тревоги такой не бывает. А тут я па одного старичка набрел. У него младший ихний командир молоко жрал. Вышел командир, а я его — за горло. Ребята скрутили его, обезоружили — и — клян в хайло. Увели к речке. Подборясто сделали: три языка, да трофей. Задание выполнили и — в часть. А у вас как, товарищ политрук?

— Передай малыша старику, Суслов!

Па берегу речки мы натолкнулись только па одного бойца. Боец отрапортовал улыбающимся голосом:

— Наши отошли, товарищ политрук, на второй рубеж. Язык — в порядке, только ослаб от страха — терпеть его сложно.

Я переоделся, а обмундирование немца бросил в речку, но предварительно вынул из карманов всякие бумажки и записную книжку. Едва мы вошли в мелколесье и соединились с нашими ребятами, в деревне началась беспорядочная стрельба. Около нас посвистывали пули. Мы длинной цепочкой уходили в лес. Назар, как и раньше, шел впереди. Потом как-то сразу все остановилось и сбилось в кучу.

— В чем дело?

Боец шепотом сообщил, что Назар приказал сосредоточиться под моей командой, а сам скрылся в лесу — пошел в разведку.

Я прислушался, но ничего, кроме лесной тишины, шороха дождя и тяжело падающих листьев не услышал. Только где-то очень далеко рокотали грузовики да со стороны деревни покрикивали чужие голоса. Стрельба прекратилась. Влажный и припный аромат осеннего тления плавал в лесу прохладными ласковыми волнами. Я очень любил эти горькие запахи брожения — грустные и задумчивые. Они всегда будили в душе милые воспоминания о ранних, наивных мечтах, о первой любви и ласково будили самые дорогие надежды, которые ушли с детством и ранней юностью. И как-то не хотелось верить и примириться с мыслью, что эти родные места, и этот лес, в котором я бродил с книгой в руках, где я мечтал, теперь опоганы и расстреляны бандами и живорезами, пахлынувшими из далеких вертепов

печеловеческого мира. В глазах качались повешенные колхозники, расстрелянные женщины и эта презренная морда огромного солдата, который лупил палкой по голому задку кого-то из крестьян. Стопы и мычание этого человека! Он никогда, конечно, не думал, что может пережить такой позор. После этого сама смерть для него не казалась должно быть страшной. Если он остался жив, то будет «убийственным призраком леса», как немцы в страхе зовут партизан. Если он был робким и бессловесным перед немцами, то сейчас каждый удар палки, каждая капля крови, брызнувшая из его разорванной кожи, превратится в пулю, в гранату, а эти убитые люди, — его товарищи, сверстники и, может быть, жена, дети, отец, мать, — эта куча людей, исковерканных, залитых кровью, будут каждую минуту кричать в его сердце предсмертными криками.

— Ты живешь за нас, чтобы мстить за нас до последнего вдоха. Истребляй их! Пусть не пропадает даром ни одна секунда твоей жизни.

Немец стоял в середине группы бойцов, съезжившись, со связанными руками, и задыхался от затычки во рту. Он судорожно вздрагивал, обреченно оглядывался. Глухо мыча, он порывался ко мне с выпученными глазами — даже во тьме я увидел его белки.

— Вы хотите со мной говорить? — спросил я его по-немецки.

Он нетерпеливо заклатывал головой. Я вытаскивал мокрую тряпку из его рта и передал бойцу.

— Не расстреливайте меня... — слыло зашептал он, всхлипывая. — Я сообщу все, что знаю. Я не буду лгать: вы можете проверить.

Я спросил у него, что же особенно важное он может сообщить мне. Он торопливо, с собачьей трусостью, задыхаясь, проглатывая слова, стал рассказывать, что их артиллерия стоит за деревней, в зарослях мелколесья, танки пойдут на рассвете по обоим флангам, а по шоссе средние танки двинутся с десантами пулеметчиков и автоматчиков. Самолеты сбросят десант в нашем тылу, чтобы окружить и уничтожить русских. Это совпадало со словами болтливого солдата на улице.

Явился Назар и, прежде, чем доложить о своей рекогносцировке, вынул платок и старательно вытер нос.

— Задави первых крыс, другие следом полезут. Все может вынести душа человечья: все муси — для науки.

Я впервые почувствовал, как невыносимо больно Назару: он даже зубами заскрипел и вздохнул со стоном.

— А вот пуля, которая сразила предателя, — святая пуля, товарищ политрук. Ее нужно хранить и всенародно показывать.

— Ну, докладывайте, Суслев, — поторопился его.

— Шайка тут человек пятнадцать. А с ней — этот угодливый мужичок. Должно, географии их учит... переводчик тоже ладный — из белаяков надо быть. Ну, и объяснил им дорожку... Сукина-то сына больно охота живьем взять, а немца ни одного упускать нельзя.

Я распорядился, чтобы двое бойцов охраняли немца надежно, а его предупреди, чтобы он молчал, как рыба, иначе его немедленно уложат на месте.

Так же, как прежде, Назар пошел вперед и так же бесшумно петлял по зарослям, как леший, угадывая своим каким-то ночным чутьем самые удобные и свободные проходы. Шли мы осторожно, ступая сапогами по мокрой траве крадучись. Шум дождя в блеклой листве и порывы ветра, похожие на гул ливня в густых шапках деревьев, так хорошо нас защищали, что если бы мы шли даже без предосторожностей, все равно нас не было бы слышно.

Назар вдруг остановился и показал рукою вправо, — туда же пролетала лесная дорога.

— Слышите? — прошептал он. Но я ничего не слышал, кроме шума дождя и лесных вздохов. Назар и тут удивил меня: с несвойственной ему живостью он зашептал:

— Ну, и охотник же я ретивый! Душа моя! На дудаков любил ходить. — А дудок — птица сторожкая, самая учётивстая птица... — И опять деловито, с готовностью подчиненного, продолжал, спрашивая: — Что же, товарищ политрук, урежем дудаков?

Я решил оставить здесь засаду, а сами разделиться на три группы. Одна расположится здесь при дороге, а другая с Назаром засялет в зарослях на той стороне, а же третьей группой пройду немного вперед.

Назар с четверкой бойцов скрылся в легкой тьме, а я с другой четверкой отошел к самому краю просеки и расставил ребят в деревьями.

Немцы, конечно, знали, что этот лес под нашим контролем, но наглость их была еще самоуверенной, несмотря на то, что мы истребляли их множество на каждом километре. Они еще были в зверском опьянении наступавших. Инициатива была еще в их руках, хотя Брянский разгром и Ельнинская мясорубка должны были отрезать их немцам. Вполне понятно, что у меня и наших бойцов было неудержимое стремление уничтожить эту группу фашистов, а потом ударить по артиллерии в лесочке, сбоку деревни, и вступ-

тить танки и автоматчиков на дороге и в этой просеке. Особенно мы были довольны, что так легко захватили три языка... Назар и здесь был дельным и рассудительным. Я, по молодости лет и по живости характера, был горяч, но он и в самом пекле — в зверином гнезде — был верен себе: «нашел старичка», распорядился у него с немцем, как има, и успел разузнать, где сосредоточены солдаты и техника немцев. И все это сделано неторопливо, основательно и «учётливо». Вспомнилось, как он бесшумно и мастерски снял часовых, как будто он был настоящий опытный разведчик.

Из-за деревьев я увидел черные тени, котрые шли одна за другой по дороге.

— Огонь по фашистам! — скомандовал я и первый начал поливать из своего автомата.

Гул и грохот забушевал по лесу. Видно было, как несколько теней упало. Несколько призраков заматались, но ломались, как стебли, и падали, не успев ответить на наш огонь своими автоматами. Произошло все быстро и как-то обильно просто, без всякой борьбы. Очевидно, немцы были уверены, что мы не решимся напасть на них и воспользуемся ночью, чтобы отойти на другие рубежи без потерь. Они, несомненно, были убеждены, что они своей наступательной стремительностью, десантами и клещами навоят на нас безумную панику.

— Бери гадюк живьем! — восторженно крикнул кто-то из бойцов, и мы выбежали на дорогу.

В этот момент затрещала очередь из автомата с того места, где лежали немцы. На мгновение мелькнули в глазах брызги огненных вспышек, и я помню, что удивился, почему я бегу так долго, бегу будто невесомо, будто по воздуху и падаю куда-то в черную пустоту — плавно по длинной траектории. Потом все исчезло, точно мне мгновенно срезали голову.

После, когда я лежал в полевом госпитале, с туго забинтованной головой и ногой, я внезапно очнулся от мягкого прикосновения руки к моей груди. Эта рука заботливо и ласково поправляла одеяло. Я открыл глаза и почувствовал, что плачу. Передо мной на табурете сидел Дубков. Он улыбался мне, и у него трепетали поздры.

— Когда возвращаются к жизни, политрук, — не плачут, — а лежуют. Поздравляю, дорогой друг, с победой. Чрезвычайно много ценного дала вам разведка. Особенно языки. Шарахнули мы здорово немцуру.

Я взял его руку, пожал ее и не хотел отпустить. Я плакал и смеялся.

— Ты, товарищ Дубков, родной мой, не ругай меня за эти слезы. Это — от счастья и от горя, что нескоро возвращусь в свою часть.

— Ну, ну... стыдно волноваться воину. Конечно, полегчить придется: голову вот здорово потревожили... да и ногу просверлили. Но мы еще повоюем вместе с вами... Да как еще повоюем!

— Ну, а что с Назаром?

— О, учётивый и подбористый парень. Попрежнему заботлив и строг.

Он засмеялся, весело показывая белые зубы.

— А ведь доставил-то вас Назар. Никому из бойцов не уступил. «Вы, — говорит, — повредите его».

Я закрыл глаза и положил руку Дубкова себе на грудь. Не могу выразить словами, что мучило меня в эти минуты свидания с Дубковым. Стыдно было от того, что я лежал беспомощный на койке и выбыл из строя, что, вероятно, я допустил какую-то ошибку во время боя с немцами. Об этом молчал Дубков, и мне казалось, что он щадил меня в моем положении. Тревожно было и то, что в словах Дубкова я слышал подозрительную пылкость, несвойственную ему, и торопливую веселость, точно он хотел скрыть в этой игре что-то самое важное.

— Друг мой, родной Дубков, спасибо тебе... и за милую руку твою спасибо. Но почему ты не договариваешь?

Он поклонился над моей забинтованной головой, и я увидел его зеленоватые глаза, прозрачные и умные, с озорными искорками, и знакомый пронический трепет его поздрей.

— У тебя, политрук, дурная слабость к лирике слов. Это — порок для бойца. Война имеет свой язык — язык огня и стратегии. Договаривать будут наши пушки и штыки. А крепкий разговор ведут такие люди, как паш Назар.

В порыве любви к нему я хотел обнять его. Я поднял голову, протянул к нему руки, но вдруг меня ослепила и обожгла молния, и я исчез в бездонной мгле.

Когда я очнулся, мне почудилось, что я качаюсь на качелях, утокая в мучительно-огромном колокольном звоне, и эти качели раскачивает белая девушка. Молоденькая медсестра, похожая на мальчишку, держала мою руку в своей теплой и мягкой руке и с радостным удивлением в незабываемых прозрачно-синих глазах, улыбалась мне молча и пристально.

## Из воспоминаний

Был сентябрь 1912 года. В пятом часу дня я шел по безлюдному Невскому. У Аничкова моста я услышал за собой:

— Того!

Мне показалось, что я ослышался. «Конечно, ослышался,— подумал я,— кто же может меня окликнуть давнишней шодпольной кличкой, да еще здесь, в Петербурге?» — и продолжал путь.

— Того! — услышал я опять более явственно.

Я быстро обернулся. В десяти шагах от меня, у самого начала моста, чуть отойдя от тротуара, стоял человек. Он смотрел на меня и улыбался. Сразу я его не узнал.

— Что, не узнаешь? — спросил он по-грузински.

— Сосо! — воскликнул я, бросившись к нему.

— Откуда?.. Как?.. Вот не думал!

— Хорошо, что я тебя встретил, — сказал он.

— Что ты тут делаешь?.. На Невском?.. — спросил я.

— Гуляю, — ответил он, рассмеявшись.

— В таком виде... здесь? Не шути.

Вид у него был неподходящий для Невского проспекта. Он оброс бородой, на голове измятая кепи, одет в поношенный плажак сверх черной блузы, брюки тоже измяты, ботинки стоптаны. Вид пролетария, мастерового резко бросался в глаза на фоне respectable Невского проспекта. Удивление сменилось опасением: как мог он, испытанный шодпольщик, выйти на такое открытое и опасное место, на прицел охраны и полиции? Опасность стала осязаемой.

— Идем отсюда, идем скорей... Здесь ни минуты нельзя оставаться... Здесь дворец, всегда шпик и полиция. Идем...

— Идем — сказал он спокойно, почти равнодушно.

Мы пошли.

— Это место опасное... и к тому же несчастливое... — сказал я.

— Как? — спросил он, внимательно посмотрев на меня.

— Вот в этом доме, около которого мы стояли, были последний раз взяты Желябов и Тригони...

Это был дом № 14 по Невскому проспекту, где в «меблирашках» в 1881 года за несколько дней до нагубийства были арестованы Желябов и Тригони.

Он искоса посмотрел на верхние этажи дома. Какая-то мысль, воспоминание грустной тенью прошли по его лицу.

— Перейдем улицу и пойдем вдоль канала, — сказал я.

Я стал со стороны дворца, он — с правой стороны, ближе к каналу. Я хотел заслонить его от глаз ищек. Перед самым дворцом, по середине улицы, стоял огромного роста городовой и пристально смотрел в нашу сторону. Я тревожно наблюдал за ним: вот он схватит свисток, свистнет, думал я. Успеем ли мы скрыться, пока сбегутся городовые и дворники, пока они сообразят, за кем погоня?

— Пойдем медленно, — сказал я.

Мы подходили к противоположной стороне проспекта. Еще несколько шагов, и мы — вне поля зрения шпиков и полицейских.

— Ты знаешь, почему у городовых такие носы, как вот у этого, что стоит? — обратился он ко мне шутливым тоном.

Я изумленно посмотрел на него.

— Тут как бы ноги унести, а ты наше время шутить.

Он засмеялся.

— Интересно, — сказал он и продолжал: — Раз Иисус Христос со своими учениками пришел в один город. Он говорил ученикам проповедь, возводил глаза к небу и не смотрел на дорогу... И вдруг попал ногой в навоз. Из навоза выскочил городовой, взял под козырек и крикнул: «Разойдись... не все»

во скопом...» Писус размахнулся и ударил его кулаком в нос, с тех пор у всех гороховых такие носы...

Я знал его много лет, знал эту черту его характера — юмор, но не мог представить, что преследуемый по пятам, находясь в самом опасном месте, одним своим видом привлекающий внимание ищсек, не спавший и голодный, он будет шутить и весело смеяться.

— Но эти носы все же не лишились плеча. — сказал я.

У меня созрел такой план: переулками идти на Коломенскую улицу, несколько в сторону — в дом № 44, где жили в отдельной «чистой» квартире товарищи, студенты-грузины, и там обдумать, куда повести Сталина на почевку.

— Я из Парыма, — рассказывал он дорогой, — добрался до Питера довольно благополучно... Но вот беда: явки есть, ходил, никого не застал, как будто все в воду кануло. Остался на улице, не зная, куда идти. Хоть в полицию заявиться. Хорошо, что тебя встретил...

— Почему же ты вышел на Певский, где тебя сразу могли схватить?

— Видишь, не схватили... А вышла хорошо... Все равно деться было некуда... Ну, а ты как?

Я рассказал о себе.

Мы подошли к дому на Коломенской. Он ни разу не спросил, куда я его веду, к кому несколько безопасно там. Квартира хотя и была незаметной, но неудобна тем, что туда ходило много студенческой молодежи: спорили, играли в шахматы, пели и пили. Здесь нужно было только дожидаться наступления темноты, а потом двинуться в более надежное место. Я так и объяснил Сталину. Он ничего не сказал. Хозяева были дома. Я представил Сталина как моего приятеля, приехавшего из Грузии. Этого было достаточно. Явление новых лиц здесь было явлением частым и обычным.

Завязался разговор. Заговорил об избяеннии студентов-черкосотенцев во время общественной сходки. Вспомнили подробности и детали.

Сталин спросил:

— Здорово наклали?

— Деда вутирет<sup>1</sup>, — ответило несколько шлюсов по-грузински.

— Как дело было? — спросил он опять, видимо интересуясь этим кулачным боем на политической почве.

Я рассказал:

<sup>1</sup> «Заставили поплакать их матерей» — грузинское выражение.

— Мы знали, что черкосотенцы что-то затевают, хотят сорвать общестуденческую сходку... Нам подобалось человек пятнадцать студентов-грузин. Решили при первом же провокационном выпяте сразу ударить на них. Только началась сходка — раздались свистки черкосотенцев; началась рукопашная схватка. Мы палтели на них, отбросили от окон, взяли в оборот. Враг был опрокинут, смят и позорно бежал.

Сталин смеялся. Он любил такие справедливые драки.

Начинало темнеть. Нужно было идти. Путь предстоял далекий, на Петербургскую сторону, Саблинскую улицу, в дом № 10, где на четвертом этаже жили мои соотечественники-студенты. Хозяйкой квартиры была некая контр-адмиральская вдова, пропившая все свое состояние, вплоть до элементарной обстановки, — только с гитарой она не расставалась. Мои товарищи жили по-молодому весело, их частые пирушки с остроумным озорством исключали мысль о какой бы то ни было политической неблагонадежности. Но парни были толковые и заслуживающие полного доверия. К тому же в пятом этаже соседнего дома помещался полицейский участок. Это обстоятельство я считал условием благоприятным с точки зрения конспирации. Кому могла прийти в голову мысль, что на виду полиции может скрываться один из самых страшных врагов самодержавия? Вот сюда я и привел Сталина. Выйдя из дому, мы решили держаться подальше от Невского проспекта. На улице уже спустился белесый сумрак петербургской ночи. Мерцали редкие фонари. Мы шли пешком, чтобы лучше наблюдать, маневрировать и скрыться при опасности. Кроме того, мне хотелось больше времени побыть со Сталиным и получить ответы на вопросы, волнующие меня и всех.

— То ли дело у нас, — сказал он вдруг, — ночь как бурка, ничего не видать, а здесь не то почь, не то день.

— Останешься здесь? — спросил я.

— Да! Нужно палаживать работу... События не ждут... — ответил он задумчиво.

— Что делать? Что самое главное, основное?

Он, немного подумав, сказал:

— Сплачивать ряды... массы. Создать сильную организацию... Вытравить разлагающее влияние ликвидаторов, нужно уничтожить либеральную рабочую политику оружием, выкованным Лениным.

Помолчав, он продолжал:

— Задача трудная, очень трудная... но мы ее одолеем.

Есть люди, есть даже авангард. Нужно сплотить, создать сильную боевую организа-

цию... Революционный кризис подвигается... Мы должны быть готовы... партия должна быть готова... Должна иметь крепкий хребет...— повторил он, как бы подчеркивая каждое слово, поясняя свою мысль.

— В избирательную кампанию мы входили самостоятельно, с нашей старой программой: демократическая республика, конфискация земель, восьмичасовой рабочий день,— против ликвидаторских меньшевистских лозунгов, против столыпинской реформы и всякого народнического вздора о «нормах» и «уравнительности»... Мы должны использовать помещичий избирательный закон...

Мы шли, тихо беседуя. Хвостов за нами не было.

— Много грязи нанесло за эти годы,— сказал я.

— Это естественно,— ответил он.— Когда дело идет к революции, волна подымается, это привлекает к пролетариату, к его партии мелкобуржуазные элементы; в партию начинают лезть из смежных классов... А когда дела пролетариата идут плохо, его постигает неудача,— все случайные, малодушные и трусливые тают назад, бегут, предают. Задача неотложная, настоятельная — отмежеваться от них, изблечь их перед рабочими. Нужно провести глубокую борозду между нелегальной партией и ликвидаторством, организацией и бесформенностью, революционным реализмом и легалистскими фантазиями,— закончил он, чеканя каждое слово.

— Много врагов открытых, полускрытых и скрытых,— добавил он после недолгой паузы.

— Даже в нашей среде...— сказал я.

— Да, да,— подхватил он быстро.

— Так называемые «большевики-примиренцы». Примиренцы с врагами пролетариата, революцией — те же враги. Эти, пожалуй, вреднее самих ликвидаторов, они под двойной маской, их труднее разглядеть. Примиренчество в основе — предательство дела рабочего класса. И сколько их, всяких... и таких, и сяких, под разными масками: «голосовцы», «правдысты», «впередовцы»... И даже «нефракционные большевики», а по существу — «непоследовательные троцкисты», как их окрестил Ленин.

— А за всеми ими все же кое-кто идет,— сказал я.

— Да, идет... Честно заблуждающиеся группы рабочих... Нужно их отрывать. Неприемлемая борьба с ликвидаторством, и объединение большевиков и партийцев-меньшевиков, Плеханова... Иначе говоря, объединение на основе размежевания... Вот как.

Навстречу попадались или обгоняли редкие

прохожие, и разговор смолкал. Мы уже подошли к дому № 10 по Саблинской.

Кругом было тихо и спокойно.

— Вот сюда... на четвертый этаж. Здесь живут мои приятели. Один — военный медик, другой — студент университета. Они не большевики... Да и вообще мало интересуются политикой... Медик исключен из военно-медицинской академии и готовится к экзаменам экстерном.

— За что исключен?

— В одном ресторане на Певском произошла драка, и он ударил какого-то штатского, который оказался помощником помещика на Кавказе Джупковским. Его в ту же ночь выгнали из академии. Дело замяли. Потом директор академии Вельяминов разрешил ему сдавать экстерном.

— Что за буйная публика... Сил куда девать...— сказал Сталин смеясь.

Мы вошли в квартиру. Все были дома.

— Товарищ будет у вас почевать,— сказал я медику.

— Как бична? (Хороший парень?) — спросил он меня по-грузински.

— Как (Хороший),— ответил я.

На столе появился самовар и закуска. Завязался шуточный разговор.

— Куба,— сказал я,— тебе здесь тревожиться не приходится... Я сейчас уйду. Запомни про запас еще один адрес, который ты всегда можешь использовать: Петербургская сторона, Широкая улица, дом № 12, самый верхний этаж.

— Запомню.

— Притти мне завтра?

— Нет, к чему?.. Завтра, думаю, найду наших.

— Если не найдешь, опять сюда... И сообщи мне через них...

— Хорошо.

— С победой! — сказал я ему обычным грузинским приветствием.

— С победой! — ответил он, и мы расстались.

Выйдя на улицу, я решил понаблюдать. В поле зрения не было никаких подозрительных и тревожных признаков. Полицейский участок всеми своими освещенными окнами свидетельствовал о неусыпной бдительности. Вверху, в открытом окне дребезжала переломанная гитара контрадмиральной вьюги.

«Спи спокойно, брат. Здесь тебя не найдут», — подумал я и зашагал к центру.

Все сошло благополучно.

\* \* \*

Как-то поздней ночью возвращался из дома, на Широкую, 12. Нас встретил встревоженная горничная.



— Что случилось, Приша?

— Пришел какой-то, говорит, что знает вас, будто товарищ Сергея Ивановича... Я его не пускала... Кто его знает? Я его не пускаю, а он говорит: «Есть ли у вас отдельная комната, которая запирается на ключ?» Говорю, есть. «Так вы меня в той комнате запираете, если уж так боитесь, а ключ возьмите себе. Я буду у вас на запоре. И вы будете спокойны...» Я его заперла в той маленькой комнате... Он там сидит вот уж сколько времени. Я тихонько через сыважину подсматриваю. Сидит тихо. А ключ — вот.

Мы были ошеломлены.

— Как же ты гостя заперла? Как можно?

— А кто его знает... — продолжала она твердить свое.

Мы бросились открывать дверь.

В темной комнате, полной табачного дыма, сидел Сталин. При виде нас он улыбнулся.

— Вот я у вас под арестом.

Хозяйка стала извиняться.

— Ничего... Я сам предложил такой выход из положения, — сказал он.

А Приша стояла тут же, с удивлением и смущением смотря на гостя.

Через несколько минут мы сидели за поздним вечерним чаем.

— Сразу нашел дом, квартиру?... — спросил я.

— Да, я помнил адрес. Кажется, пришел чисто. По-моему чисто, — сказал он.

— Ты обратил внимание или, вернее, обратил ли на тебя внимание наш швейцар, рыжая морда?

— Нет, рыжего не видел.

— Очень хорошо. Швейцар — сволочь. Но у него есть и достоинства: любит выпить и жаден до чаевых.

Я вышел на улицу через черный ход, вернулся по парадной и дал рыжему полтинник.

На улице ничего подозрительного не оказалось, и рыжий, получив на чай, был премного благодарен. В случае нападения, которое обычно производилось одновременно с двух сторон — и с парадного и с черного ходов, — вырваться было почти невозможно. Через слуховое окно с нашего этажа можно было выйти на крышу, но и это не представляло гарантии. Единственное, что пришло в голову, — в случае опасности, через отверстие в потолке на кухне пролезть на чердак и задвинуть его незаметно. Расчет ненадежный.

— Я был далеко отсюда. В воздухе почувствовал что-то пеладное. Вот и решил направиться к вам. Покрутил немного около вас и зашел... Ничего? — спросил Сталин улыбаясь.

— Очень хорошо, что зашли. Очень рады, — ответила хозяйка.

Он был усталый, почти ничего не ел, много курил.

Неутомимая работа наложила печать на его лицо: ему, видимо, приятно было посидеть, отдохнуть, чтобы на другой день вновь уйти в свою стихию.

Он подымал на борьбу петербургский пролетариат, — и было как-то странно, что этот человек, сидевший тут же рядом с нами, такой близкий и простой, держал в руках рычаг движения и борьбы масс.

— Как студенчество? — спрашивал он меня в той самой комнате, где он сам себя арестовал и где ему была приготовлена постель. — Есть ли наши? Много ли? Имеют ли влияние в массе?

— В университете есть хорошо спаянная, крепкая группа, немногочисленная, — ответил я.

— Это ничего... Как думаешь, если наладить, допустим, еженедельный орган студенческий? Легальный... — добавил он.

— Выходит общестуденческая газета, но в ней мы не участвуем... С нами она ничего общего не имеет... Очень было бы хорошо — наш студенческий журнал или газету.. А возможно ли?

— Это верно, — сказал он. — Со студенческим органом легче расправиться, чем с «Правдой», за который стоят рабочие массы... Но попробовать не мешает...<sup>1</sup>

Поговорив еще немного, я ушел, пожелав ему спокойной ночи.

На другой день утром мы спускались по черной лестнице к выходу.

— Где ребята? — спросил он.

— Некоторых уже нет, а все остальные в «централах»... отбывают каторгу.

— Все? — переспросил он.

— Все.

Он грустно задумался.

— Если нужно, то... — сказал я, не закончив фразы.

Он продолжительно посмотрел на меня.

— Нет... Лучше иди работать в «Правде».

Мы подходили к воротам.

— Увидимся...

— Да...

— С победой!

— С победой!..

Мы попрощались.

И он вышел на Широкую улицу.

<sup>1</sup> Спустя некоторое время на Суворовском проспекте, в доме № 2 мы открыли редакцию журнала учащейся молодежи «Утро жизни», который после выхода первого номера был закрыт.

## Март—октябрь 1917

(Из книги воспоминаний)

### СТАЛИН В ПЕТРОГРАДЕ

Первые мартовские вечера всегда, казалось мне, преображали знакомые улицы столицы. Эту сумеречную необычность широких проспектов Санкт-Петербурга, мы называли его теперь Петроградом, я ощутила особенно остро весной 1917 года.

Обновленным, молодым, по-иному красивым предстал передо мной Петроград.

Шагая вечерами, после занятий, домой, я жадно подмечала каждую подробность весенней жизни города. Милиционер в студенческой фуражке несловко и непривычно переминается на посту, поднимая руку в красной повязке. Грузовик останавливается на углу, окруженный толпой молодежи. Митинг,— думаю я. Остановиться. Послушать. Нет! Я бегу дальше. Нельзя задерживаться: дома сейчас собирается семья. Скоро вернется отец: мы редко видим его дома. Рабочие электростанции выбрали его в свой заводской комитет, и дел у отца много. А мама — операционная сестра в госпитале. И она вернется тоже поздно. Хозяйство, заботы о быте лежат на мне. Я прибавляю шагу. Я тороплюсь к маровичку. Этот старомодный питерский транспорт доставит меня от Знаменской площади на нашу новую квартиру — за Невскую заставу, к мучку кабельной сети. Далеко забрались мы от шумного питерского центра.

Нычтя и громыхая, подкатывают к остяновке двухэтажные вагончики. Я взбираюсь наверх. Паровичок, собравшись с силами, устремляется вперед, пробегает Старо-Невский и мчит нас к набережной. Нева здесь угрюмая. Ей, точно, скучно, после дворцов и парадных особняков, омывать унылые доминики заставы. Я соскакиваю с поезда там, где Нева подбегает к корпусам Торптовской фабрики. Напротив поднимаются три этажа нашего дома. Там дежурный пункт кабельной сети, которым заведует отец. Я вбегаю в

подъезд. В радостной приподнятости — она не покидает меня с первых дней революции — захожу домой. Кто-то из товарищей-монтеров открывает дверь.

— Паши дома? — спрашиваю я и огляываюсь, висят ли в передней знакомые пальто. Но мужское черное драповое пальто на вешалке мне незнакомо. И на столике чай-то длинный теплый полосатый шарф.

— Кто у нас? — спрашиваю я монтера.

— Вернулся Сталин... отвечает он. — Из ссылки... Только приехал.

Сталин! Иосиф! Вернулся! Уже в Петрограде! Да, да; он писал отцу с дороги. Мы ждали его. И все-таки эта весть поражает меня. Быстро распахиваю дверь. Там, в комнате, у стола стоит наш гость. Я помню: он не любит долго сидеть и, даже рассказывая что-нибудь, шагает по комнате. Движения его при этом спокойны и уравновешенны. И сейчас вот, увидев меня, он спокойно делает шаг в мою сторону.

— А!.. Здравствуй! — говорит Иосиф.

Я не видела его четыре года — четыре года, которые он провел в ссылке, в тяжком суровом одиночестве. Да, конечно, он изменился. Я хочу уловить — в чем же то новое, что заметно в нем. В одежде? Нет. Он в таком же темном, обычном для него костюме, в синей русской рубашке. Странными, пожалуй, кажутся мне его валенки. Он не посыл их раньше. Нет, изменилось его лицо. И не только потому, что он осунулся и похудел — это, должно быть, от усталости. Он так же выбрит и такие же, как и раньше, длинные у него усы. Он так же худощав, как прежде. Но лицо его стало старше, жестче складки у губ. А глаза те же. Та же насмешливая, не уходящая из них улыбка.

— Как вы нас отыскали? — захожу я наконец, слова. — Вот уж не думала увидеть вас сегодня.

Иосиф вынимает изо рта свою трубку.

трубку, без которой с тех пор я не могу его представить.

— Видите, отыскал. Попал, конечно, по старому адресу, на Выборгскую... Там сказали... И куда вас в такую даль занесло? Ехал на паровике, ехал, ехал, думал не доеду.

— Да мы недавно здесь. Хотим переезжать. А давно ли вы тут у нас? Папа скоро вернется и мама тоже...— бросаю я слова, досаду, что, вот, наконец-то, из такого далека приехал долгожданный человек и никто его не встретил, не принял, как паду.

— Да час, пожалуй, с лишним я у вас. Ну, как вы здесь все? Что Ольга, Сергей?! Где Павел, Федя? Где сестра?

Я тороплюсь объяснить, что Павел на фронте и писем от него давно уже нет. Федя, наверное, где-то задержался. А Надя сейчас придет, она на уроке музыки. Это ее большое увлечение сейчас.

И спохватываясь, я вспоминаю о своих хозяйских обязанностях.

— Вы, наверное, голодны. Хотите поесть? Я сейчас приготовлю.

— Не откажусь... От чаю не откажусь... Я выбегаю из комнаты — скорей на кухню: успеть бы управиться. В передней сталкиваюсь с отцом.

— Посиф пришел...— бросаю я на ходу.

Отец торопливо шагает в столовую. Я слышу взволнованные восклицания, вопросы. Папин голос радостно гудит.

Самовар только что разожежен, когда в кухне появляется Надя.

— Кто это у нас? — спрашивает она. От любопытства она даже не успела снять свою шапочку и пальто.

— А!.. Посиф!..

Надя сбрасывает пальтишко и идет в столовую. Когда я вновь появляюсь там, чтобы накрыть на стол, там уже оживленно и шумно. Отец, мама, Надя, Федя окружили Сталина. Смех, взрывы смеха... Сталин в лицах изображает встречи на провинциальных вокзалах, которые присяжные доморощенные ораторы устраивали возвращающимся из ссылки товарищам. Он копирует очень удачно. Так и видишь захлебывающихся от выпрепных слов говорильщиков, бьющих себя в грудь, повторяющих: «Святая революция, долгожданная, родная... пришла наконец»... Смешно изображает их Посиф. Я хохочу вместе со всеми.

— Кормите же скорее гостя, — торопит нас отец.

Мы хлопочем вдвоем с Надей. И скоро на столе дымятся сосиски, которые, к нашей величайшей радости, отыскались в шкафу.

Долго мы сидим, слушая гостя.

Сталин рассказывает, как торопился он из Питера из Ачинска, где застали его события 17 февраля. Он приехал в Петроград одним из первых. Конечно, если бы он ехал из Курейки, то был бы в пути дольше. С группой ссыльных он на экспрессе доехал из Ачинска в Петроград за четыре дня.

Рассказывал, как попал он в Ачинск. В октябре 1916 года ссыльных призывали в армию. Из Туруханского края ссыльных-призывников и с ними Писифа Виссарионовича отправили в Красноярск. Добирались туда на собаках, на оленях, пешком. На пути останавливались, встречались с сосланными товарищами, а чтобы не вызывать подозрений, устраивали гулянки: мобилизованные, дескать, кутят — прощаются перед уходом в армию.

Но для армии Сталина забраковали.

— Сочли, что я буду там нежелательным элементом...— говорил нам Сталин.

Мы просим Сталина рассказать о ссылке, о крае, где провел он столько лет. О Севере, о тундре и о бесконечных снежных даях. О замерзших реках, где у проруби просяживают часами низкорослые добродушные люди. Он жил у них в избе. Он заслужил их доверие, и потому они полюбили его.

— Они звали меня Осипом и научили ловить рыбу. Случилось так, что я стал приносить добычи больше, чем они. Тогда замечают — хозяйева мои шепчутся. И однажды говорят: «Осип, ты слово знаешь!» Я готов был расхохотаться. Слово! Они выбирали место для ловли и не уходили, — все равно, шла рыба или нет. А я выйду на ловлю, ищу места: рыба идет — сижу, нет ее — ищу другое место. Так — пока не добьюсь улова. Это я им и сказал. Кажется, они не поверили. Они думали, что тайна осталась при мне.

Он вспоминал северные реки: Енисей, Курейку, Тунгуску, волны которых текут, сливаясь с небом, спокойным и задумчивым, молчаливым небом севера. Но яростны и неукротимы волны северных рек, когда они поднимаются на человека. Нелегко бороться с ними человеку, когда один-на-один приближаешься в лодке к берегу.

— Случалось, что буря заставляла меня на реке, — рассказывает Посиф Виссарионович. — Один раз показалось, что все уже кончено. Но добрался до берега. Хотя не верилось, — очень уж разыгралась тогда река.

Потом Посиф Виссарионович начинает расспрашивать нас о пережитом. Он хочет знать все, ему интересны все наши рассказы.

Самовар на столе давно потух, а мы все сидим и слушаем гостя.

— А когда вам завтра вставать? — спрашивает Посиф. — Мне завтра рано утром надо быть в редакции «Правды».

— И мы встанем рано. Нам тоже надо в город... Мы разбудим вас,— обещаем мы.

Сталина укладывают спать в столовой, там же, где спит папа, на второй кушетке. Мы уходим в комнату рядом: это наша общая спальня — моя, мамы и Нади.

Но спать нам не хочется. Мы с Надей болтаем, шепчемся, что-то вновь и вновь вспоминаем. Неожиданно Надя повторяет слова вокзальных ораторов, которым так удачно подражал Сталин. Это до того смешно, что мы не можем удержаться и фыркаем в подушки. Мы знаем, что за стеной ложатся спать, но чем больше мы стараемся удержать смех, тем громче наши голоса. И вдруг над ухом стук в стенку.— Это отец.

— Да замолчите вы, накопец, егозы этакие! Спать пора!

Восклицание отца покрывает голос Сталина.

— Не трогай их, Сергей! Молодежь... Пусть смеются...

И только тогда, притворившись, что мы и в самом деле пристыжены, мы всерьез замолкаем. Но рядом в комнате еще слышны голоса. Сталин беседует с отцом о делах электростанции, о районах, с которыми связан папа. Отец делится своими сомнениями и успехами.

— В заводском комитете много меньшевиков и эсеров,— рассказывает он,— приходится здорово воевать...

— Как у вас читают «Правду»? — спрашивает Сталин.

— «Правда» идет нарасхват,— говорит отец.— Нехватает экземпляров...

Мы уже засыпаем и все еще слышим густой отцовский голос, прерываемый короткими, отрывистыми репликами Сталина.

Нам не приходится утром будить гостя. Он проснулся рано, раньше нас. Мы усаживаемся за стол и торопливо пьем чай. По рукам ходят свежие газеты. Утро приносит вести о том, что творится там, за стенами дома, там, куда сейчас уйдет Иосиф Виссарионович, куда уходит отец и куда готовимся уйти и мы.

— Скорей, скорей! — торопит нас Сталин.

Опять старомодный, запыхавшийся паровичок бежит к остановке. Вчетвером, Сталин, Федя, Надя и я, взбираемся мы на крышу двухэтажного вагончика.

— Куда, собственно, вы собрались? — допытывается Иосиф Виссарионович.— Сегодня воскресенье...

Мы объясняем ему, что собираемся пересечь с Певской заставы и едем искать новую квартиру. На одной из Рождественек сдается, кажется, совсем подходящая.

— Ну, вот и хорошо,— довольно замечает Иосиф Виссарионович.— Вот и хорошо. Только вы обязательно в новой квартире оставьте комнату для меня, обязательно оставьте...

С этими словами он вместе с Федей покидает нас. И еще раз, кивая нам на прощанье, он повторяет:

— Так смотрите же, обязательно. И для меня комнату! Не забудьте...

Объявление о квартире на 10-й Рождественке мы с Надей вычитали в газете: три комнаты, кухня, ванна. И теперь мы нетерпеливо шагаем по Рождественке, отыскивая эту квартиру.

Роскошный подъезд с представительным швейцаром несколько ошеломил нас и, поднимаясь на лифте на 6-й этаж, мы с Надей примолкли. Но, войдя в квартиру, облегченно вздохнули. Все здесь нам понравилось. Просторная прихожая, большая светлая комната, удобная для столовой и для спальни отца и Федеи. Другая комната, которая кажется нам уютной и веселой, будет нашей и, наконец, третья, совсем обособленная комната в конце коридора — она, точно нарочно, предназначена для Иосифа Виссарионовича. Ему будет спокойно в ней и удобно работать. Мы немедленно начинаем переговоры с хозяйкой.

Квартира на 10-й Рождественке в доме номер 17 осталась за нами<sup>1</sup>.

## В КВАРТИРЕ НА РОЖДЕСТВЕНКЕ

Вещи, мебель, наше несложное имущество было сейчас же перевезено на Рождественку. Но не сразу собрались мы вновь все вместе в новом жилище. Тесней и ближе входила в дом жизнь, которая так близко, рядом, на улицах Питера, совершала невиданный поворот человеческой истории.

Комната Иосифа Виссарионовича, которую мы заботливо убрали, стояла пустая, ожидая хозяина. Случилось так, что предшественником Сталина в этой комнате оказался Владимир Ильич Ленин.

В семье каждый по-своему входил в новую жизнь. Отец и мать были заняты ею крепко: маму поглощала работа в госпитале, отца отнимали от дома многие дела — партийные и служебные. Меня послали работать на Первый съезд Советов. От Павлуши пришло письмо из Новгорода, куда направлен был его полк. Там, в Новгороде, Павла выбрали секретарем комитета большевистской партии.

Я проводила дни в светлом просторе старинных зал кадетского корпуса, где скоро должен был открыться Первый съезд Советов.

<sup>1</sup> Сейчас эта квартира — музей.

Прерывчатым гулом откликались сводчатые стены корпуса на песможавший шум разговоров, восклицаний, шагов. По залам ходили делегаты. Я обоспалась в помещении мандатной комиссии. Там я принимала у делегатов их мандаты и взамен выдавала пропуск для посещения съезда. Делегаты все прибывали и прибывали. Иногда я узнавала знакомых: товарищей с Кавказа, питерских друзей. Среди выбранных на съезд были рабочие, крестьяне, учителя, студенты, но больше всего военные. На гимнастерках некоторых армейских депутатов желтели георгиевские ленты.

В залах до начала съезда шли митинги. Выступали меньшевистские ораторы. По однажды пронесся слух: на митинг ждут Ленина. Будет говорить вождь большевиков, Ленин! «Ленин!» — повторяли в толпе, на съезде, на улице. Ленин! Это имя произносилось везде, где собирался питерский народ. Отец, встретивший Владимира Ильича на Финляндском вокзале, рассказывал нам, как тысячи питерских рабочих пришли встречать своего вождя, как зажег он сердца простыми, понятными словами, с которыми обратился к народу с броневика. Ленин говорил, что власть должна принадлежать рабочим и крестьянам и что те, кто трудится, должны сами управлять своей страной.

— Всем нам дал Ленин большевистскую зарядку, — сказал отец и добавил: — Сталин был там с ним, с Лениным. Они вместе уехали с вокзала.

На митинге в кадетском корпусе я впервые услышала Ильича с трибуны. Мне не удалось пробраться к первым рядам зала. В проходах между стульями и у дверей стеной стояли люди.

Стиснутая солдатскими шинелями, я застряла у входа. До меня долетали только отрывки фраз, произносимых Лениным. Хорошо разглядеть Ильича мне тогда тоже не удалось. Я была ниже всех, стоящих впереди меня. Напрасно вытягивалась я, пытаюсь увидеть лицо оратора. Я только ухватила стремительный жест Владимира Ильича, движение его руки, простертой к слушателям.

На открытии съезда 3 июня я опять увидела Ленина на трибуне. Он выступил в ответ на слова Церетели о том, что «нет такой партии, которая бы говорила: дайте власть в наши руки».

— Есть такая партия! — воскликнул Ильич с места и прошел к трибуне. В своей речи он рассказал съезду, что должно сделать пролетарское правительство после завоевания власти.

Когда Ильич на минуту смолкал, в зале

гремели аплодисменты. Меньшевики пытались заглушить, смять это выступление.

— Довольно!.. Довольно!.. — кричали из президиума Ленину.

— Продолжать, продолжать!.. — требовали в зале.

На открытии съезда были Сталин и Свердлов. Вместе с Лениным они пришли одними из первых. Я увидела их еще до начала заседания. Втроем они входили в тесно уставленный венскими стульями зал, когда он был еще совсем пуст. Я издали наблюдала, как они прошли вперед и сели в одном из первых рядов.

Сталина мы не видели тогда много дней. Комната его все пустовала. «Надо проведать его, — решили мы однажды с Надей. — Может быть, он раздумал к нам переезжать».

Найти его вернее всего можно было в редакции «Правды». Тула мы отправились как-то под вечер. В небольших комнатах редакции было накурено и людно. Внимание наше привлекла бледная худенькая женщина, которая сидела за одним из столов. Удивительно привлекательным показалось нам ее лицо. Ее пышные каштановые волосы были заколоты двумя гребеночками. Она сидела, читая какую-то рукопись. На ней было темное платье с очень высоким стоячим воротником, очерченным у подбородка белой кружевной полоской. Было в ее облике что-то очень строгое. Мы не удержались и спросили, кто это. «Мария Ильинична Ульянова. Сестра Ленина», — ответили нам.

Сталина мы нашли в другой комнате. «Занят», — сказал нам кто-то. Но мы попросили передать, что хотели бы его видеть, и он вышел к нам.

— Здравствуйте! — ласково улыбаясь, сказал он, — прекрасно сделали, что зашли. Как там у вас дома? Что Ольга, Сергей? Совершенно некогда зайти их проведать. А как вы?

— Хорошо, — ответили мы. — Все здорово. Папа и мама вам кланяются. А комната ваша ждет вас. Помните, комната, о которой вы просили.

Лицо Сталина опять прояснилось от улыбки и тут же сделалось озабоченным.

— Вот за это спасибо! Но сейчас не об этом, я занят, очень занят. А комнату мне оставьте. Обязательно оставьте.

Кто-то подошел к нему, и Иосиф Виссарионович торопливо пожал нам руки.

— А комнату считайте моей, — сказал он на прощанье. — Мама привет и Сергею.

Мы ушли, вспоминая дорогой обо всем, что видели в редакции.

Последние дни съезда я почти не покидала кадетского корпуса. Приходилось много писать, сверять стенограммы, составлять архивы. Домой я возвращалась усталая, бледная и сейчас же ложилась спать. Утром с трудом поднималась. Мама встревожилась.

— Ты расхворалась, Шура. Надо к доктору. Вспомни, твои легкие...

И мама вспоминала. Еще в школе предупреждали, что за мои легкие надо следить. А вот сейчас я об этом совсем забыла и это пехорошо... Как я ни упиралась, но меня заставили пойти к врачу.

— Бросить сейчас же работу,— сказал доктор,— и лучше всего из города уехать.

Отца, маму напугали слова врача. Был у них товарищ — финн. Он ездил кондуктором по Финляндской дороге, и там, в Левашеве, у него жили друзья.

— Туда и отправьте дочку,— посоветовал он.— Я все устрою.

И я уехала в Левашево. Квартира на Рождественке совсем опустела. Надя гостила под Москвой, Федя работал в деревне. Родители остались одни.

Тишина Левашева, чистенького дачного уголка, поразила меня после шумного Питера. Я покинула город в предпоздские дни, когда все больше занутивались дела Временного правительства и ропот недовольства и возмущения становился вятей и громче.

Я пыталась отдыхать в Левашеве, но покоя не находила. То и дело я бегала на вокзал. Сюда вместе с пассажирами ползли слухи, смутные отголоски того, что происходило в столице.

— Большевиков разгоняют, Керенский их к власти не допустит,— ловила я обрывки чужих разговоров.

— Демонстрацию большевистскую расстреляли. Да они не сдадутся. Сила ведь за ними.

Слушала я эти фразы, произносимые то со злорадным облегчением, то гневно, с затасанной угрозой, и сердце у меня замирало: большевиков арестовывают, демонстрации разгоняют. Как же там наши? Они, наверно, были на демонстрации. Мне стало невыносимо в Левашеве. Мама собиралась приехать повесить меня, но через товарища-кондуктора передала, что задержится в городе и не придет. Это окончательно напугало меня, и я сунула в чемоданчик свои вещи, бросила прощальный взгляд на мирные домики Левашева и влезла в переполненный дачный вагон.

Поезд шел с медлительностью тревожного времени. Пассажиры входили и выходили:

дачники и дачницы, какие-то чиновники, молочницы с бидонами. И между ними — неизменные в эти дни и уже примелькавшиеся фигуры — солдаты, моряки, с оружием и безоружные.

Притиснутая к скамейке, где-то у выхода, я слушала. События в Питере затмевали все интересы. По-разному одетые люди, разнодумящие, чужие друг другу — все говорили и спорили об одном: что происходит в столице.

— Большевики, Ленин! — слышалось в разных углах вагона.

— Большевики разогнали... Ленин бежал... Расстреляли... — какой-то голос покрывает остальные.

Я слушаю, раздраемая волнением. Я возмущаюсь, не хочу, не могу верить...

А пассажиры, прерывая один другого, торопятся удивить захватывающими, «достоверными» подробностями.

— Бежал, знаю наверно... Скрывается в Бронштадте. Его там видели.

— Нет, его вывезли на мноноседе... Братиска один мне сам рассказывал.

Хочется заткнуть уши, чтобы не слушать гула этих бредовых фантазий.

Поезд уже у питерской платформы. Соскакиваю, пробегаю площадь Финляндского вокзала. В летнем очень жарком июльском дне город кажется неожиданно спокойным, знакомым и обычным. Снуют прохожие, подходят и уходят трамваи. Неужели в этой неторопливой уличной суете скрыты неуклонно приближающиеся события?

Я не без труда забираюсь в набитый людьми трамвай; здесь говорят о том же. Вот, наконец, и дом на 10-й Рождественке. Останавливаюсь, перевожу дыхание и заглядываю в стекло тяжелой двери. Невозмутно, как ни в чем не бывало, сидит в подъезде знакомый швейцар. Я стараюсь говорить спокойно.

— Не знаете, дома ли наши? Вы их видели?

— Все здоровы. В полном порядке. Папаша ваш, кажется, дома.

И все-таки у меня дрожит рука, когда я нажимаю кнопку звонка. Удивительно, почему же сразу открывают дверь. Звоню еще раз, и дверь медленно приоткрывается.

— Папа! Это я... Как вы тут?..

Отец не сразу отвечает. Неужели он так недоволен моим возвращением? Он настороженно глядит, озабоченно прислушивается и проверяет, хорошо ли заперта дверь. Только тогда он говорит мне:

— Ну что же, пойдём в столовую, там у нас гости. И мать там.

Ах, вот в чем дело. У нас чужие! Верно, товарищи зашли к отцу. А я ворвалась так

неожиданно. И, уже успокоенная, я иду в столовую.

У обеденного стола сидят люди. В доме у нас я их вижу впервые. Но гостя, к которому прежде всего подводит меня отец, я узнаю сразу. Он сидит на диване (в комнатах в этот невыносимо жаркий день очень душно), без пиджака, в жилете и светлой рубашке с галстуком. Внимательно прищурившись, он глядит на меня.

— Познакомьтесь, Владимир Ильич. Моя старшая дочь — Юра.

Стараясь принять спокойный, совсем спокойный вид, я пожимаю руку Ленину.

И сразу вспоминаются все вздорные разговоры, которые я слышала в поезде, в трамвае, на улице. Бежал в Кронштадт, прячется на миноносце! А он здесь, в наших комнатах на Рождественке, в самом центре Питера. И я решаюсь рассказать Ленину всю ту пеленую болтовню, которую только-что слышала:

— В поезде говорили, что вы бежали в Кронштадт, будто видели вас там и на миноносце тоже...

— Ха-ха-ха!.. — заразительно весело, откинувшись назад, смеется Ленин. — Так, говорите, на миноносце... Ну, что ж, и превосходно! Еще один вариант моего бегства. Очень хорошо, что меня видели в Кронштадте. Как вы думаете, товарищи?

Владимир Ильич заставляет меня повторить все, что я слышала в дороге. Он спрашивает, что я заметила на улицах, как выглядит сегодня Петроград.

Владимир Ильич так прост, так подкупающе внимателен, с таким искренним любопытством задает он вопросы и слушает меня, как будто я совсем ему равная.

— Какой же он замечательный, какой замечательный! — говорю я маме, когда мы выходим в кухню.

— О, это такой человек! — Такой... — мама, как и я, не находит слов. — Он второй день у нас. Я у Полетаевых его встретила. Говорили, что Ленину там оставаться небезопасно. Керепский его хочет арестовать. Предлагали ему сдать добровольно. Но он категорически отказался. Носиф тоже против. Решили, что он на время скроется. Видишь, теперь по всему городу ищут его. Какое счастье, что мы в новой квартире и никто не знает нашего адреса.

Я требую, чтобы мне все подробно рассказали. — как пришел к нам Ленин.

О том, что в нашей квартире удобно скрыть Ленина, подала мысль мама. Это было у Полетаевых. Разговор шел о том, где скрыться Ленину. У Полетаевых было опасно. Адрес их хорошо известен — за Ильичем могли прийти туда каждую минуту.

— А вот нашу квартиру никто не знает, — сказала мама, — месяца два всего живем в ней. — Решено было, что после осмотра и проверки квартиры туда придет Владимир Ильич.

Он пришел к нам на другой день рано утром. Было в нем столько добродушного спокойствия и уверенности, и он с таким заботливым вниманием осведомился о маминем здоровье, что казалось, вот просто на минуточку зашел в дом гость, любезный, обязательный, веселый. Прежде всего он попросил:

— Ольга Евгеньевна, покажите мне все входы и выходы в квартире.

И через кухню он вышел на черную лестницу. Поднялся выше — там был чердак. Он заглянул и туда. Спустившись в квартиру, опять прошелся по комнатам.

Потом, уже сидя на диване, он со смешливой лукавой хитрецей посмотрел на маму и сказал:

— Ну, а теперь, Ольга Евгеньевна, — гоните меня, — я все равно не уйду. Уж очень мне у вас понравилось. — И внезапно рассмеялся.

— Я, знаете, что вспомнил. Как у некоторых из знакомых, к которым я заходил в эти дни, вытягивались лица, и глаза от страха делались круглыми... Ну, я тут же поворачивал обратно...

Так и поселился Владимир Ильич у нас, в комнате, которая в свое время предназначалась для Сталина.

Вскоре пришел Носиф Виссарионович к Ленину. Они пили чай и совещались. Потом Сталин, торопясь по какому-то срочному делу, ушел. Перед уходом он зашел на кухню и отвел маму в сторону.

— А как у вас с продуктами? Как Ильич питается? Ты смотри, Ольга, корми его по своему.

Когда Сталин ушел, мама засмеялась.

— А Ленин то же самое о нем спрашивал. Вы, говорит, как Сталина кормите? Уж позаботьтесь о нем, Ольга Евгеньевна, он как будто осунулся...

Чему, чему, а уж кормить товарищей — этому маму учить не приходилось. Она была немолчалива, когда приближался час обеда или ужина. Осторожно, стараясь быть неслышной, подходила она к комнате Ильича. Дверь он всегда оставлял открытой. За письменным столом он или читал, делая пометки, или очень быстро, не отрывая руки от бумаги, списывал страницу за страницей<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Здесь на квартире Аллилуевых, Ленин написал статьи: «Дрейфусад», «Три кризиса», «Политическое положение», «К вопросу о явке на суд большевистских лидеров» и др.

Несколько секунд мама выжидала на пороге. Если, поглощенный рукописью или книгой, Ильич не сразу замечал маму, она отходила. Через десять минут она возвращалась.

Она повторяла эти свои попытки по нескольку раз, выжидая, пока Ильич, наконец, поднимет голову. Тогда мама тихо окликала его. Но он обычно сразу чувствовал мамино приближение.

— Ольга Евгеньевна, пожалуйста. Вы ко мне, дорогая,— говорил он со своей особенной приветливостью.

— Владимир Ильич, пора обедать,— тихо, но твердо объявляла мама.

— Что вы, Ольга Евгеньевна, я совершенно не голоден. Стоит ли вам, право, беспокоиться. Не хлопочите, я буду работать. Работы-то уж очень много, Ольга Евгеньевна.

— Нет, уж, Владимир Ильич, как хотите, а обед я вам сейчас принесу. Поедите и будете опять работать. В голосе у мамы звенели неумолимые ноты. Она подходила к письменному столу и осторожно отодвигала бумаги, Ильич взглядывал на нее и добродушно улыбался.

— Так это обязательно? — покорялся он.

— Абсолютно обязательно,— удовлетворенно говорила мама, и бежала на кухню взять уже приготовленную тарелку с какой-нибудь едой.

Мать всегда прислушивалась к тому, что делает Ильич. Готовая подойти на его зов, она время от времени заглядывала в коридор, который вел в его комнату. Однажды она уловила мимолетный жест. Оторвавшись от рукописи, Ленин устало провел рукой по глазам. Мама заглянула в комнату и тихо спросила:

— Вам ничего не нужно, Владимир Ильич? Сегодня вы работаете с самого утра. Ночью вы тоже писали и заснули только под утро. Отдохнули бы сейчас.— Но Ленин уже брался за перо.

— Нет, Ольга Евгеньевна, нужно работать... А отдохнем уж потом...

Продуктов в Питере становилось все меньше. Гороховым супом и кашей, которые мама старалась повкуснее приправить, она кормила всех: Ильича, товарищей, приходивших к нему, а заодно и пас. Хлеб доставался с трудом в очередях. Но в доме были сухари, которые еще до Ильича привез один из павлушинных друзей.

Однажды выдался у меня день большой удачи: я на рынке купила корзиночку клубники. Я хорошо запомнила этот день — и вот почему: пагал по направлению к рынку, невольно, по привычке оглядываясь, я увидела впереди высокую женщину. Медленно, задулавшись, она шла мне навстречу.

В очень скромном холстинковом платье, в маленькой соломенной шляпке на светлых седеющих волосах, она поразила меня строгим обликом, выражением большой душевной чистоты. Я так пристально взглянула на незнакомку, когда она поровнялась со мной, что вызвала ее удивленный ответный взгляд. И тогда неожиданная мысль мелькнула у меня: «Да не жепа ли это Владимира Ильича? Такой, конечно такой должна быть Надежда Константиновна». Я слышала, как произносили товарищи это имя, знала, что, может быть, Надежда Константиновна зайдет к Владимиру Ильичу, но ни ее самой, ни ее фотографии я никогда не видела.

Я еще раз оглянулась на незнакомку и опять поймала себя на мысли: «Да не она ли это?» и сейчас же мне на память пришел рассказ Павла о его встрече с Надеждой Константиновной. Новгородская партийная организация в мае послала его на областную большевистскую конференцию, которая проходила во дворце Кшесинской. Павел впервые увидел там Ильича и услышал его с трибуны. Как все делегаты с мест, должен был выступить и Павел. Говорить перед таким большим собранием, да еще в присутствии Ильича,— на это он не мог решиться. Он обратился к Крушской: по работе в секретариате она была связана с приезжими товарищами. Она все поняла.

— Ободрила меня... Не волнуйтесь, говорит, не волнуйтесь,— рассказывал нам Павел,— и сразу согласилась приписать доклад в письменном виде, попросила только, чтобы поподробнее.

В самом радужном настроении я вернулась домой. Внесла в столовую корзиночку спелых чудесных ягод и чуть не выронила ее от изумления. За столом рядом с Ильичем сидела поразившая меня незнакомка.

— Вот и великолепно, что вы зашли. Надежда, познакомься,— это дочь наших милейших хозяев.

Я пожала руку Надежды Константиновны и предложила ей и Ленину отведать клубники.

— Ну вот это уж совсем лишнее... — запротестовал он.

Владимир Ильич всегда стесняло то, что мы хлопочем, беспокоимся, о нем. Он боялся затруднить нас малейшей просьбой, и никогда не забывал поблагодарить за самую незначительную услугу. А если, оставив работу, он на несколько минут заглядывал в столовую или на кухню, то всегда находил тему, чтобы дружески поболтать со мной и мамой.

Разговаривая с ним, нельзя было и отдаленно представить, что здесь, в нашей обычной обстановке, он скрывается от большой



опасности, от угрозы, может быть, смертельной. Он никогда не говорил об этом, не выражая ни беспокойства, ни тревоги.

Как-то раз, ночью,— уже после двенадцати, неожиданно резкий звонок задребезжал на черной лестнице. Мы с мамой спали на кухне и вскочили первые. Кто это мог быть? Все были дома, товарищи давно ушли — никто из них не мог прийти в этот час, тем более, что после двенадцати ворота и подъезд запирались.

И тогда появился Ленин. Быстрый в движениях и невозмутимо спокойный.

— Надо открыть, Ольга Евгеньевна,— сказал он.

Мама тихо подошла к двери. Поколебавшись мгновение, она спросила:

— Кто там?

— Это я! Свой! Откройте, пожалуйста! — голос был женский. Мама открыла дверь — на пороге с маленьким чемоданчиком стояла женщина.

— Я из Москвы! — С поручением к Ленину,— объясняла она.

Помнится мне, это была Погина.

И я в первый раз увидела, как Ленин рассердился.

— Какой же вы после этого конспиратор! — сказал он Погиной. Да вы понимаете, что могли провалить все, подвести всех нас и хозяев квартиры тоже.

Погина стала оправдываться срочностью поручения. Владимир Ильич не принял ее доводов.

— Все равно, вы должны были дожидаться утра,— говорил он и опять начинал перечислять те правила, которым должен следовать всякий уважающий себя подпольщик.

\* \* \*

Почти каждый день к Ленину приходил Сталин. В первый же день по переезде Ильича в нашу квартиру к нему вместе со Сталиным зашел Серго Орджоникидзе. Был тогда и Погин, была Стасова. Обсуждали, следует ли Ильичу отдать себя в руки Временного правительства. Сталин и Серго возражали единодушно: для них было ясно, что обещания Керенского верить нельзя.

— Юнкера убьют Ленина, прежде чем доставят его в тюрьму,— сказал Сталин.

Однажды вместе со Сталиным пришла к Ильичу Мария Ильинична. Это было на другой день после разгрома «Правды» юнкерами.

Вскоре после этого к нам зашел сын Полетаева, Михаил. Он спросил Ильича. Ленин вышел в столовую, и Полетаев тут же при маме сообщил Ленину, что Каменев принял

предложение Керенского и сегодня же садится под арест. Известно было даже, что злым прищипот карету.

Рассказ Михаила Полетаева произвел на Владимира Ильича тягостное впечатление.

Он тут же обратился к маме.

— Ольга Евгеньевна, у меня будет к вам поручение. Надо пойти к Каменеву. Передайте ему еще раз мое категорическое требование ни в коем случае не соглашаться на предложение Керенского... Сходите туда сейчас же...

Мама ушла. Она вернулась в самом беспоконном состоянии и не могла скрыть его, когда рассказывала все, что произошло с ней.

На лестнице, поднимаясь в квартиру Каменева, мама встретила Погина. Он шел сверху и остановил маму.

— Угадываю от кого и зачем вы идете. Думаю, что все будет напрасно. Там уже,— кивнул он паверх,— решение принято.

Мама подыалась и позвоила. Открыла жена Каменева. Узнав, что мама от Ленина, она встревожилась.

— Нет, нет!.. К Каменеву нельзя. Он плохо себя чувствует... Передайте мне все, что вы хотите сообщить Каменеву.

Мама, поняв, что к Каменеву ее не допустят, рассказала все, на чем настаивал Ленин. Ольга Давидовна неприязненно воскликнула:

— Каменев сам знает, как ему поступить! Он в учителях не нуждается...

И сейчас же скрылась в другой комнате. Из-за неплотно закрытой двери послышался ее возбужденный голос. Она повторила только что переданные мамой слова Ленина и истерически закричала:

— Ни в коем случае ты не должен соглашаться на это. Нам грозит смертельная опасность, если ты немедленно не примешь предложение Керенского, мы все погибнем!

Потом она вышла к маме и объявила, что Каменев, действительно, принимает предложение Временного правительства и сегодня же садится под арест и что власти уже извещены об этом.

Ильич выслушал рассказ мамы, и лицо его не выразило ни гнева, ни возмущения, он только пожал плечами и сказал:

— Я почти был в этом уверен...

И прошел к себе.

К этому времени наш адрес слишком многим стал известен, и опасность для Ленина быть открытым увеличивалась. Тогда-то возникла мысль об отъезде Ильича в Сестроречк, на Розлив.

Подробности отъезда Ленину обсуждал вместе с отцом. Ильич обязательно хотел наметить и вычертить путь к Преморскому вок

залу по плану Питера. Отец, который много лет работал в этом районе, знал все закоулки.

— Довежу вас, Владимир Ильич,— говорил он.— Мне там все повороты известны.— И папа стал перечислять улицы и перекрестки, которых следовало держаться.

Ильич все же настаивал на необходимости предварительно вычертить путь по плану. На другой день план был Ильичу доставлен. Вместе с отцом они погрузились в его изучение, а вечером в этот же день Владимир Ильич покинул наш дом.

К часу, назначенному для ухода, пришел Иосиф Виссарионович. Собрались все в комнате Ильича. Стали думать, как переодеть Ленина, чтобы сделать его неузнаваемым. Мама предложила забинтовать Ильичу лицо и лоб. Предложение это сначала одобрили, и мама, взяв широкий бинт, стала наматывать его на голову Ленина. Но, посмотрев в зеркало, Ильич остановил маму.

— Нет, Ольга Евгеньевна, пожалуй, не стоит. С этой повязкой я скорее привлеку к себе внимание. Не стоит...

Повязку спяли.

— Не лучше ли всего побриться. Посмотрите, каков я без усов и бороды! — предложил Ленин.

Через несколько минут Ленин уже сидел с намыленным лицом. Браздобреем был Иосиф Виссарионович. Бритый, без усов и бородки, Ленин и в самом деле стал неузнаваемым.

— Ну, а теперь давайте мерить кепку,— обратился Владимир Ильич к отцу. Еще раньше было решено, что Ленин наденет пальто и кепи отца. В нахлобученной кепке, в длинном, мешковато сидящем порывевшем отцовском пальто Ленин очень походил на финского крестьянина. Переодевание было признано удачным. В сопровождении Сталина и отца Ленин вышел из квартиры. Шли поодиночке. Впереди шел Ленин. Поодаль шагали Сталин и отец. Все сошло благополучно. Спокойно дошли до Приморского вокзала и оттуда, никак не замеченный, в дачном переполненном вагоне Владимир Ильич уехал на Разлив.

## ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ. ОКТЯБРЬ

Комната Иосифа Виссарионовича на Рождественке, наконец, дождалась хозяйина.

После отъезда Ильича, Сталин зашел к нам. Заговорили о переезде его в нашу квартиру.

— Очень бы хотелось перебраться к вам,— сказал Иосиф Виссарионович.— Но думаю, что сейчас не стоит. За квартирой

могут пачать слежку. Из-за меня могут быть неприятности у вас.

— О нас не беспокойтесь. Мы к слежкам привыкли,— ответила на это мама. Вашему присутствию в квартире я буду только рада, но если для вас это опасно, лучше, конечно, переждать.

Но когда Иосиф Виссарионович через неделю зашел снова, мама решительно заявила:

— Слежки за домом как будто нет. Пересялайтесь к нам. Сможете отдохнуть, выспаться, жить более нормально.

Так Иосиф Виссарионович остался у нас.

Все его вещи были в небольшой плетеной корзинке, которую он привез еще из ссылки. В ней были его рукописи, книги, что-то из одежды. Костюм у него был один давнишний, очень потертый. Мама однажды взялась починить его пиджак и после тщательного осмотра заявила:

— Нельзя вам больше ходить в таком костюме. Обязательно нужен новый.

— Знаю, все знаю, Ольга! Времени только нет этим заняться. Вот если бы вы помогли...

Мать раздобыла Иосифу Виссарионовичу костюм, который вполне пришлось ему по размеру. Сталин остался доволен и только попросил маму сделать ему под пиджак теплые вставки. Он болел тогда горлом и опасался простуды. Да и не любил он носить воротнички с галстуком.

В комнатах на Рождественке становилось оживленней и шумней.

Вернулась Федя. К началу занятий приехала из Москвы Надя. Она шумно обрадовалась пианино, проиграла на нем любимые вещи и, усталая с дороги, улеглась спать.

Надя любила хозяйничать, любила в доме образцовый порядок.

Спозаранок, на другой день после приезда взялась она за работу. Передвинула все вещи, заново убрала все в столовой и спальне.

На шум переставляемой мебели выглянул Сталин.

— Что это тут творится? — удивился он.— Что за кутерьма? — и увидел Надю в фартуке, со щеткой.

— А, это вы! Ну, сразу видно настоящая хозяйка за дело взялась!

— А что! Разве плохо?! — приняла оборонительную позицию Надя.

— Да нет! Очень хорошо! Наводите порядок, наводите... Покажите им всем...

С утра, выпив с нами чай, Иосиф Виссарионович уходил на целый день. Не каждую ночь удавалось ему вернуться домой к себе в комнату. Часто и папа не почевал дома.

Вечерами в столовой мы с Падей подолгу ложились их обих.

Я теперь работала в Смольном. Вернувшись в вечеру домой, я рассказывала Падю о прошедшем. Она нетерпеливо расспрашивала: кто выступал сегодня? кого я слушала, о чем говорят товарищи. Я не всегда могла ей рассказать достаточно полно. За будничной канцелярской работой в одном из отделов Смольного трудно было мне схватить все главное, что совершалось вокруг. Тем нетерпеливей ждали мы обе возвращения своих. Мы горючили узнать о новом, сегодняшнем.

О заводах Выборгской, Васильевского, Невской заставы рассказывал отец. Все уверенней говорил он о том, как возрастает влияние и авторитет рабочих-большевиков. Подробно о заводских событиях расспрашивал отца Иосиф Виссарионович.

Он во все внимал подробно, советовал отцу, как поступать дальше, как быть маловеров, колеблющихся.

Мы слушали беседы Сталина. Огромное, совершаемое большевиками дело становилось ощутимей, понятней.

Иногда Сталин не появлялся несколько дней. Мы ждали его и долго не укладывались спать. Бывало так, что когда мы уже теряли надежду и ложились в постели, в дверь неожиданно стучали.

— Неужели спите? — слышали мы голос Сталина. Поднимайтесь... Эй, вы сон... И тарани принес, хлеба...

Мы вскакивали и, накинув платье, бежали в кухню готовить чай. Часто, чтобы не будить спящих в столовой отца и маму, мы собирались в комнате Иосифа Виссарионовича. И сразу становилось шумно и весело. Сталин шутил. Карикатурно, иногда зло, иногда добродушно он изображал тех, с кем сегодня встречался. В доме мишенью для его злобных шуток была молоденькая, только что приехавшая из деревни, девушка. Ее звали Пания. Она по-северному окала и часто повторяла:

— Мы-то... Скопские мы!..

— Скопские, — смеясь и панируя на о, цыпца девушку Сталин. — Отчего же это вы такие скопские? А ну, расскажи?

Пания поднимала фартук к лицу и пронзительно фыркала.

— Да уж, какой ты, эдакий, все смеешься! — И под обихий хохот повторила. — Конечно же, скопские мы.

Иногда, во время вечерних чаепитий, Сталин подходил к вертящейся этажерке у кровати и доставал томик Чехова.

— А хорошо бы почитать. Хотите прочтуть «Хамелеона»?

«Хамелеон», «Унтер Пришибеев» — мелкие рассказы Чехова были его любимыми. Он читал, подчеркивая, неповторимо смешные реплики действующих лиц «Хамелеона». Все мы громко смеялись и просили его почитать еще. Он читал нам часто из Пушкина и из Горького. Очень любил и почти наизусть знал он чеховскую «Душечку».

— Ну эта-то! Настоящая «душечка» — часто определял он чеховским эпитетом кого-нибудь из знакомых.

Рассказывая о самых больших, серьезных событиях, он умел передать, подчеркнуть самую сменную сторону происходящего. Его юмор точно и ярко показывал людей и события. Помню, как повторяли у нас дома его рассказ о заседании ЦК, на котором обсуждался вопрос — садиться ли Ленину под арест. Сталин изображал, как темпераментный Серго Орджоникидзе, хватаясь за несуществующий кипжало, восклицал:

— Кипжалом того колоть буду, кто хочет, чтобы Ильича арестовали.

Как бы поздно ни возвращался домой Иосиф Виссарионович, он и после наших чаепитий, и после бесед с мамой и отцом всегда усаживался за работу. Усталость напряженных дней, вероятно, брала свое и, может быть, поэтому у Иосифа Виссарионовича выработалось обыкновение — прежде, чем сесть за письменный стол, пепалого прилечь па кровать. Дымя трубкой, он сосредоточенно и углубленно молчал, а потом неожиданно поднимался и, сделав несколько шагов по комнате, садился за стол. Как-то случилось, что Сталин задремал с дымящейся трубкой в руке. Проснулся он, когда комната уже наполнилась гарью: тлео одеяло, прожженное огнем из трубки.

— Это со мной не впервые, — с досадой объяснил Сталин, бывает — задремлю.

В сентябре в Петрограде, в Александринском театре открылось демократическое совещание. На этом совещании я работала опять в мандатной комиссии — помню радостную встречу с кавказцами. Для через два после начала совещания Сталин привел к нам домой товарища из кавказской группы. Мы его не знали. Иосиф Виссарионович сказал:

— Познакомьтесь — мой товарищ...

Мы с любопытством поглядели на гостя, который конфузливо пожал всем руки, улыбаясь большими добрыми глазами. Гость сразу расположил нас к себе. Не очень высокий, коренастый, с черными гладкими волосами, с бледным матовым лицом, он говорил с заметным кавказским акцентом. Сталин сказал нам:

— Это Камо! Послушайте его. Он вам такое расскажет.

Иосиф Виссарионович оставил у нас гостя, а сам ушел, бросив на прощание:

— Вы его пораспросите, пусть он вам о своих похождениях расскажет.

Камо просидел у нас весь вечер, и мы не заметили, как прошло время: так захватили нас рассказы этого романтика революции. Теперь история Камо всем хорошо известна по его биографии, но тогда мы были потрясены описаниями этой полуфантастической жизни.

Участник знаменитой Тифлисской экспроприации государственного банка, Камо был арестован в Германии. В тюрьме он симулировал сумасшествие и провел опыты на врачах-немцах. Он был в заточении много лет и несколько раз организовывал смелые побеги. Нас растрогал его рассказ о воробье, которого он приручал в тюрьме. Камо много говорил о Сталине — и тихий, спокойный голос нашего гостя становился восторженным. Сталин был первым учителем Камо.

Подробно описал нам Камо, как готовил он попытку бегства из Харьковской каторжной тюрьмы, в которой застала его революция. Он хотел притвориться умершим, чтобы бежать после того, как его вынесут и бросят в мертвецкую. Но Февральская революция освободила Камо.

Он заговорил о будущем.

— До того, как захватим власть, придется еще драться, — сказал он.

У него не было сомнений в том, что большевики победят.

И мы не сомневались в этом. Мы знали, что на Выборгской стороне рабочие открыто требуют передачи власти партии Ленина. Мы видели, как кишел наш Сампсониевский. Там слушали только большевистских ораторов. Меньшевикам лучше было там не показываться.

— Вот скоро появится Ленин, — говорили на Выборгской. Тогда все будет иначе...

Но Ленин еще не мог вернуться в Питер. Мы знали, что из Разлива он уехал в Финляндию. Уже перед самым Октябрем как-то днем в квартиру позвонили. Я пошла открыть.

На пороге стоял невысокий человек в черном пальто и финской шапке. Безбородое лицо с короткими усами мне показалось неизвестным.

— Кого вам? — недоумевая, спросила я.

— Сталин дома?

И тут по голосу я сразу узнала Ленина.

— Боже мой! — Да вы, Владимир Ильич, настоящий финн!

— Здорово, правда! — Ильич рассмеялся. — Сталин дома? — еще раз спросил он.

В переднюю выглянула мама. Она не могла удержать радостного возгласа.

— Да как же я рада! Владимир Ильич!.. Здравствуйте!..

Ильич обнял ее, они расцеловались.

Сталин был дома и уже выходил в переднюю. Он из комнаты услышал голос Ильича. Ленин прошел в комнату Сталина. После короткой беседы они вместе ушли из дома.

В напряженной предоктябрьской жизни Смольного готовились те великие события, которые совершились в вечер осеннего дня 25 октября; Ленин, еще не показывая открыто, невидимо присутствовал в штабе революции.

Сталина я видела в Смольном; домой он приходил еще реже. Иногда звонил нам по телефону, который был внизу в подъезде.

— Зайду сегодня, — говорил он кому-нибудь из нас, кто спускался вниз по вызову швейцара, — может, удастся пораньше. Дев будете? — спрашивал он.

— Заходите обязательно, — просили мы его, догадываясь, что он не спал уже несколько ночей. — Приходите скорей...

— Постараюсь. Через час, может, буду.

Через час ему зайти не удавалось, но мы не расходились спать, ожидая его.

Он был доволен, если заставал всех нас в столовой. С нами он был по-обычному общителен, спокойно насмеялся.

Часто говорил он о замечательных простых людях — питерцах, рабочих, моряках, солдатах, с которыми встречался. Он находил в них черты большого человеческого мужества, простоты, скромного некрикливого героизма. Он рассказывал о поразившем его поступке или словах кого-нибудь из этих людей, повторая:

— С такими людьми можно совершить все...

Он умел и осуждать. Трусов, неверов, предателей он клеймил короткими жесткими определениями.

Я помню, как он пришел домой накануне Октября. Скинув с себя в передней кожаную куртку, эту куртку и такую же фуражку он кинул с начала осени, Сталин прошел к нам. Все были дома.

— А, Иосиф Виссарионович! — обрадовалась мы.

Мама торопилась покормить его. Привлекая стакан чая, Сталин заговорила с отцом о том, что происходит в городе. Он выслушал отца, а потом сказал очень спокойно:

— Да, все готово! Завтра выступаем. Вечер в наших руках. Власть мы возьмем...

После Октября, Сталин пришел домой такой же спокойный. О событиях 25 октября он рассказывал, восхищаясь мужеством людей, смелостью, величием совершенного дела.

Он подробно рассказывал, как заняли телефонную станцию балтийские моряки.

— Шли, как железные... Из окоп по ним палят юнкера, пули косят одного за другим, а они идут не прогнув... Молодцы, молодцы... Вот это настоящие русские люди...

Рассказывал о горсточке крошмтадцев, завадевних броневикум.

— Из броневикум строчит пулемет,— так передавал он этот эпизод:— матросы не отступают — бросились к машине, гремят: «Ура, ура!» В броневикум растерялись. И сдалась. Вся команда сдалась в плен.

И он опять повтори:л:

— Молодцы, молодцы!..

В Смольный сообщали: к Зимнему, где за село Временное правительство, идут вооруженные рабочие, движутся части интересного гарнизона. Штурм Зимнего начинался.

А вечером в Смольном должен открыться 2-й съезд Советов. Уже известно, что большинство делегатов съезда — большевики. Сюда, в Смольный, они прибывают отовсюду — это все рабочий люд, солдаты и крестьяне. Я смотрю на делегатов, говорю с ними, указываю, куда им пройти. Внутреннее волнение во мне переходит в уверенность — мы победим. Я уже знаю, что Ленин в Смольном. Он выступает на фракции большевиков.

В Смольный на открытие съезда я обещала взять Надю. Я должна пробраться домой и с Палей вернуться обратно. В сумерках мне удается выбраться на улицу. Я бегу, сжимая в кармане пропуск для Нади. Удивляюсь спокойствию улиц, их тишине и безлюдью. Моросит дождь. Осенний интересный ветер пронизывает насквозь.

Дома застаю Надю одну. Я тороплю ее. Наскоро что-то ем, и мы выходим. Промозглая ночная тьма кажется непроходимой. Фонари не горят. Мы идем по трамвайным путям, дождь сменился снегом, и мокрые хлопья падают на нас. Кроме нас, на улице ни одного прохожего. Мы отходим уже далеко, когда впереди вырастает тень. Обгоняем ее. Это какой-то старик, он шагает по рельсам. С ним рядом понуро плетется собака.

— Куда же это вы, девушки, в этакой

темноте. Непокойно ведь в городе... У Зимнего, сказывают, бой идет.

— По делу мы, дедушка, по делу...

Старик сворачивает в сторону и в непроходимой темноте мы опять остаемся одни. Но вот мелькают огни. Мы близко от площади Смольного. Видны уже его окна, ярко освещенные изнутри.

Показываем наппи пропуска часовому и входим. Сразу ослепляет свет и опеломляет шум и движение людской толпы. Пробираемся к залу заседаний. Пщем знакомые лица. В возбужденных голосах, в громких восклицаниях мы угадываем, что произошло что-то очень большое.

И неожиданно в толпе, движущейся нам навстречу, узнаем Сталина. Он идет, окруженный товарищами. Мы решаемся окликнуть его. Сталин останавливается и кивает нам.

— А, вы!.. Хорошо, что пришли! Слышали, только что взят Зимний!.. Наши уже вошли в него!..

А на другой день, вечером 26 октября, в Смольном на 2-м заседании Съезда Советов я увидела Ильича. Как и накануне, шумели, гудели голосами зал и коридоры. Колонный зал Смольного, где шло заседание, был полон до отказа. У дверей и в проходах люди стояли стеной.

Меньшевики еще пытались выступить. Но зал не слушал их. Делегаты кричали с мест:

— Уходите, не мешайте!

И вот Ленин, такой обычный, знакомый, в черном своем поношенном костюме, показывается на трибуне.

— Ленин, Ленин! — рукоплещут бурно делегаты. Лица у всех радостно преобразаются. Ведь они встречают Ленина после долгого его отсутствия, после того, как все указанное им они свершили.

Когда, наконец, наступает тишина, Ленин — вытягивая вперед руку, своим неповторимым жестом, пачипает.

— Пролетарская революция в России свершилась...

Б. ПОЛЕВОЙ

## Город-герой

### 1. ВОТ ОН — СТАЛИНГРАД

Здесь, на развороченной бомбами набережной, в разрушенном, сожженном немцами и все же прекрасном, величественном Сталинграде, на улицах, площадях и в переулках которого день и ночь, ни на минуту не затихая, шло яростное сражение, мне живо вспомнился разговор, слышанный в сотнях километров отсюда, тоже на Волге, в другом, тоже разрушенном и изувеченном немцами, городе, который дом за домом, квартал за кварталом вырывали у врага наши бойцы.

Этот разговор произошел почью под аккомпанемент густой канонады в сталционном подвале, превращенном в блиндаж. Тут на грудях курчавых стружек отдыхали тапкисты, славные корепастые ребята в масляных комбинезонах и черных ребрастых шлемах. В темпоте блиндажа пошыхивали цыгарки. Их красноватые огоньки выхватывали из тьмы то то, то другое молодое лицо, обросшее за дни напряженных боев курчавой щетинкой.

Разговор шел о Волге, к которой в этот день, смяв вражескую оборону, вырвалась их часть. Тапкисты были из дальних краев — украинцы, сибиряки, кавказцы, и всех их очень удивило, что великая русская река, за которую они боролись, в Калининских лесах, оказалась здесь такой узкой и мелководной. И все же о ней они говорили очень тепло, и все завидовали мотористу Гуднашвили, который, приведя свой танк на волжский берег, выскочил из машины, пот пуляжи немецких автоматчиков сбегал к реке, зачерпнул котелок и наполнил свой разгоряченный в бою экипаж прекрасной волжской водой.

Ребята из танка Гуднашвили жадно пили эту волжскую воду, как пили воду из боевых шлемов древние витязи, достигнув берегов родной реки.

Все попытки мои навести разговор на ге-

ройку только что отпумевшего боя ни к чему не привели.

— Чего о нас говорить. Получили приказ — выполнили приказ. Просто. Вот на Волгу мы вышли, волжскую воду пили... Ты об этом напиши, комиссар, — говорил Гуднашвили, и черные глаза его радостно сверкали при свете папироски, которую он курил большими жадными затяжками.

И вот кто-то из них произнес слово: Сталинград. Все сразу оживились. Огоньки папирос сдвинулись в тесный круг. Никто из них в Сталинграде не был, но говорили о нем с любовью, точно в нем они родились, выросли, провели лучшие свои годы. В голосах этих ребят, побывавших во многих танковых атаках, десятки раз смотревших в лицо смерти, послышалась нежные нотки, нотки любви к этому незнакомому, далекому, но родному городу, большая человеческая тревога за его судьбу и настоящее мужское воинское восприятие упорством его защитников.

— Вот сталинградцы — это да! Эти воюют. Вот о ком писать надо...

Потом вдруг все смолкли, задумались. Брежжи рассвет. Холодные лучи серого утра стали просачиваться в пробитую снарядом стену подвала. И вдруг Гуднашвили подумал вслух:

— А все-таки Сталинград устоит!

Кто-то из темного угла блиндажа ответил молодым страстным голосом:

— Вот бы податься!

Путь от маленького городка, где великая русская река, узенькая и быстрая, стремительно несет свои воды в крутых и извилистых берегах, по течению Волги, по полосатым ровным полям среднерусской равнины, через позолоченные осенью Жигули в неоглядные солончаковые степи, где в широкой речной излучине, прорезанной продолговатыми, ржавыми от осенней листвы островами, на

крутом берегу стоит освещенный мерцающим разрывом, окутанный дымом пегаснувших пожарниц исторический город, путь этот на самолете можно совершить за сутки. На протяжении всего этого пути, везде, где бы нам ни приходилось садиться, я слышал многократно повторенное слово: Сталинград!

— Утром в сводке сказали, что ципи в Сталинграде отбили обратно две улицы в заволжском поселке, — радостно сообщил жилистый и неторопливый бортмеханик, заправляя в путь на спрятанной в ольховых зарослях фронтовой посадочной площадке связной самолет, из тех, какие в этих краях величали шуточно капустниками. Сказал и добавил: — Ох, молодцы! Вот бы нам везде восвать по-сталинградски!..

— Вы поймите, это же груз в Сталинград. Для сталинградцев. Разве можно хоть на минуту, хоть на секунду его задерживать! Для ста-лин-градцев! Понимаете? — горячился пилот «Дугласа» в диспетчерской Московского аэродрома...

...В салоне Куйбышевского аэропорта, в глубоких креслах, дожидаясь рейсового самолета, сидели друг против друга работник дипломатической миссии одной дружественной державы и раненый полковник-артиллерист.

— Только две величайшие битвы истории — сражение при Каннах и оборону Вердена — можно, пожалуй, сравнить с тем, что сейчас происходит на Волге, в Сталинграде, — говорил дипломат, тщательно произнося каждое слово и явно гордясь чистотой своей русской речи.

Полковник сделал своей раненой рукой, лежащей на привязанной бинтом к шее дощечке, такое резкое и нетерпеливое движение, что сморщившаяся от боли:

— Извините, но такое сравнение неправильно. В корне неправильно. В битве при Каннах у атакующих не было танков и самолетов, изготовленных заводами почти всей Европы. Иризон Вердена сражался с немцами не один. Генерал Врусиллов помогал ему с востока. Союзники с запада...

...А на степной посадочной площадке, где проходила последняя посадка на самолет, летевший уже под самый Сталинград, тот же самый маленький связной самолет, какой здесь называли уже кукурузником, рыжий, живой, подвижной и очень маленький ростом летчик в огромных унтах, делавших его похожим на кога в сапогах, сердился:

— И слушать не хотят... Я пошел к подполковнику, говорю ему: так, мол, и так, хвастать, не могу — вот рапорт. Переводите на исребитель... Не могу я сейчас на своем кукурузнике по степям брюхом елозить, когда все ребята наши сражаются за Сталинград...

И вот исторический город, имя которого у всех на устах, город-баррикада, город-боец, город-герой, за борьбой которого с гордостью и тревогой следит страна, о котором с надеждой думают во всем мире все, кому дорога свобода, и с бешеной и бессильной яростью те, кому эта свобода ненавистна, развертывается перед глазами во всем своем боевом величии, во всей своей суровой и страшной красоте...

Вот он — Сталинград!

Волжский ветер гоняет по изрытому рядами асфальту улиц серый пепел. Остатки разбитых стекол с тихим звоном высыпаются от гула непрерывных разрывов. Нет дома, стены, метра мостовой, не пощипей следа бомбы, снаряда, мины или пули. Но город стоит, мужественный и непоколебимый.

Уже давно брошенная немецкая орда прорвалась к его окраинам. Стальная армада неустержимой лавпой катилась через пыльную пыльную степь. Десятки, сотни машин, тысячи, десятки тысяч немцев погибли в боях на подступах к городу. Как древние караванные пути отмечались в песках пустыни скелетами людей и верблюдов, так и этот путь немецких дивизий отмечен в степи горами горелого изувеченного железа и тысячами безымянных немецких могил. Но Гитлер понимает, что в этом приволжском сражении решаются судьбы кампании этого года и, может быть, всей войны. Он требовал от своих генералов любой ценой, но быстро, молниеносно, несколькими ударами разбить сталинградскую оборону, взять Сталинград. Взамен разбитых и сожженных танковых бригад он бросал новые. Он затыкал зияющие бреши в своей наступающей орде новыми полками и дивизиями. Его танки идут по обломкам изувеченных машин. Немцы шагали к городу по трупам немцев. Все это неудержимо перло к Волге, к Сталинграду. Все это становилось у стен исторического города.

Уже много времени минуло со дня, когда артиллеристы-зенитчики, отряд моряков Волжской флотилии и вооруженные сталинградские металлисты дали немецким танковым дивизиям первый бой под стенами города. Уже давно продолжается эта беспримерная в истории войн великая битва. Она не прекращается ни на минуту, ни днем, ни ночью. Напряженность и масштабы ее возрастают с каждым днем. В бой введены сотни тысяч людей, тысячи орудий, танков, самолетов. Над городом непрерывно идут воздушные бои, которые можно иной раз наблюдать в трех-четырёх местах.

Немцы маневрируют. То тут, то там собирают свои части в ударные кулаки, они достигают этим самым подавляющего численно-

го превосходства в силах на определенном узком участке и обрушиваются на отдельные звенья сталинградской обороны. И, получив кровавый отпор, откатываются, не успев утащить с собой десятки и сотни трупов, остающихся на улицах и площадях после каждой отбитой немецкой атаки. Продвижение немцев на отдельных участках измеряется метрами, потери — тысячами человек.

А истерический мажор в Берлине пенстовствует. Его бесит, что захват города с ходу сорвался и войска его застряли под Сталинградом. Он торопит. Он требует захватить город любой ценой — только скорей. Немедленно.

Любой ценой, не жалея, он бросает в бой новые и новые дивизии, стягивая их со всей Европы. Защитники Сталинграда встречают в боях части, стоявшие во Франции, части, стоявшие в Бельгии, части, стоявшие в Голландии, части, стоявшие в Греции, на Крите, и даже части, подвезенные из Норвегии. Они бьют эти части вне зависимости от того, откуда они пришли, бьют со страстью справедливого гнева, пенстовсто и ожесточенно.

В Сталинграде мне показали любопытный документ — истертую записную книжку в клеенчатом переплете, выпачканную в грязи и крови. Немецкий офицер, обер-лейтенант Гуго Вейсер, убитый при атаке одной из баррикад при поселке тракторного завода, 2 октября записал в ней:

«Мы и раньше слишком хорошо знали дьявольское упорство русских, которое они проявляют в бою, если этого захотят. Но такого упорства от них все же не ожидали. Это оказалось для нас слишком неприятным сюрпризом. До сих пор нам не удалось подняться боком за Волгу, который Отто хотел выиграть еще в августе на волжском берегу. Нет уже ни Отто, ни Курта, ни Эрнста, ни Зиделя, никого из «стаи пенстовстовых», их зарыли где-то здесь, в этой каменной земле, даже не знаю, зарыли ли, потому что нам сейчас не до покойников.

Вчера русские снайперы подстрелили нашего командира. Улица была под таким огнем, что когда мы выносили его тело, были ранены еще три солдата и убит ефрейтор. Наш полк тает, как кусок сахара в кипятке. Этот город — такая-то адская мясорубка, в которой перемалываются наши части. Вот опять где-то на берегу зангнали русские органы. Значит, снова десятки разорванных в куски тел. Запах разложившегося мяса и крови преследует меня. Я не могу есть и спать. Меня рвет от этого проклятого города. Боже, зачем ты отвернулся от нас?»

Любой ценой! И вот день и почь вертятся «адская мясорубка», в которой перемалываются немецкие части. Защитники Сталинграда не тратят даром снарядов и пуль.

Гитлер требовал взять город любой ценой. Он заплатил огромную цену — и город не взял.

## 2. МЫ — СТАЛИНГРАДЦЫ!

Чтобы сразу же ввести меня в курс событий и познакомить с характером боев, мне в первый же день посоветовали сходить на одну из высот в северной части города, за которую вот уже больше месяца шла непрерывная и напряженная борьба.

С термосоносцами, двумя пожилыми разговорчивыми бойцами, носившими на передовые позиции в зеленых продолговатых металлических ящиках уху и жареных лещей, мы долго шли по узкому ходу сообщения, проложенному в черствой рыжей земле.

Термосоносцы, дважды в день совершавшие эти рейсы, давно привыкли к этим переходам и не обращали никакого внимания ни на улюлюканье приближающейся мины, ни на шумящее шипение приближающегося снаряда, ни на противное чирканье пули, то и дело поднимавших в серой пыли султачики пыли.

— Если каждой пуле кланяться, — борш засалится и ребята на передовых так поблагодарят, что потом бока заболят, — серьезно пояснял один из них, сутулый и хмурый, геворивший почему-то всегда в рифму.

Его спутник только усмехнулся:

— Мы, сталинградцы, народ привыкший! Он сказал: сталинградцы, хотя сам был коренным ярославцем, и это не было обмолвкой. Я уже успел заметить, что все защитники исторического города, откуда бы они сюда ни приехали, к какой бы национальности ни принадлежали, звали себя сталинградцами. И это слово произносилось так же гордо, с сознанием своего достоинства, как произносят: «мы — стахановцы» или «мы — гвардейцы».

В километре от городской окраины, вгрызлись глубоко в сухую степную глину, на пологом скате древнего языческого кургана сидел в блиндажах отряд морской пехоты под командованием лейтенанта Горшкова. Крепись к крепьшу, в армейских гимнастерках, в широких расстегнутых воротах которых голубеют полосы тельяшек. Славные, веселые ребята, с касками, падетыми лихо набекрень.

Исполнилось уже 40 дней, как отряд держал эту высоту. Моряки точно вросли в эту пеласковую землю, точно корни в нее пустили. Ни танковые атаки, ни нападения цели



полков немецкой пехоты, ни постоянный, почти непрерывный, артиллерийский обстрел, ни палеты дожин самолетов не смогли оторвать их от этого кургана и подорвать бодрость их духа.

Тут, в полукилometре от вражеских позиций, во враждебном полукольце ребята, как они сами говорят, уселись, обжались, обзавелись хозяйством, варят в трофейных немецких шлемах на душистых кострах из сухой пошлыни картошку, в тихую минуту жадно читают газеты, приходящие к ним с пятидневным опозданием. У них завелась даже бала-лайка, правда, детская и с одной струной. Но это не смущает краснофлотца Женью Егорова. В минуту затишья он снимает каску, достает из-за пазухи родную свою бескозырку с ленточками, надевает ее на выгоревшие, белые от солнца вихры и поет высоким, дребезжащим, но довольно приятным тенорком. А в двухстах метрах от подножья кургана, в глубокой балке с извилистыми, крутыми, заливаемыми ветром берегами, сидят немцы. Старшина первой статьи Глазунков, любитель математики, до войны готовившийся в мореходное училище, подсчитал, что за 40 дней боев краснофлотцы отбили с этой высоты 78 немецких атак, выдержали 103 артиллерийских и минометных обстрела, 21 авиабомбежку.

Впрочем эти цифры можно было бы и не приводить. Отсюда, с гребня кургана, отлично видно все поле вплоть до оврага, и все оно буквально забросано трупами немцев, особенно густо наваленными у зубчатого гребня балки и у подножья самого кургана. Я принялся было их считать, насчитал больше полутораста и сбился, не считая даже тех, что лежали между тремя тяжелыми немецкими танками, сгоревшими у самого подножья кургана. Сладковатый смрад висел в воздухе, и командир Женья Егоров не без основания пошутил:

— Мертвый фриц лучше живого пам досажляет. Смердят — сил нет. Хотя бы убрать их нам, что ли. Уж больно много работы — ишь, их сколько щаселкали, разве их убе-решь...

— 764 солдата и 18 офицеров. Это не считая раненых, — сообщает старшина Глазунков, любитель математики. Сам он в боях за эту высоту уничтожил 13 немцев. За эту цифру ручается. Кроме того, четырех он, по его словам, «кажется, подбил», но так как он в этом не вполне уверен, он не включил их в свой счет.

— Я что... Вот у нас был Вася Степанов, этот 75 укоротил. Какой парень был... Да, был... Убили его утром... — говорит Глазунков, и все вдруг замолкают, вспоминая о погибшем товарище, может быть, подумав в эту

минуту и о себе. Но пиде не думают о смерти так мало, как в таких вот обстрелянных, обкуранных порохом боевых гарнизонах. И через минуту в траншее, перебивая воющую шуму воздушного боя, развертывающегося прямо над головами, звучит дребезжащий тенорок Женьи Егорова:

Волга, Волга, мать родная,  
Волга, русская река.

Поет он и вдруг становится серьезным. Его доброе веселое лицо с облунившимся носом твердеет, брови хмурятся. Он пристально вглядывается в сторону оврага, потом тихо отставляет балалайку, берет винтовку и начинает по-охотничьи целиться.

Грянул выстрел. Женья улыбнулся и поставил на приклад винтовки еще одну зарубку — тридцать вторую по счету. Поставил и сказал:

— Этот фриц до Волги не дошел... Много их еще. Сильные, собаки. Ну, ничего, у сталинградцев глаз хороший, рука твердая, и других не пустим.

И мне снова живо вспомнился разговор танкистов в разрушенном верхневолжском городке на заре, перед атакой, гнев пилота на Московском аэродроме, торопившегося доставить груз в Сталинград, спор полковника с дипломатом, нетерпение летчика поскорей сменить свой «кукурузник» на истребитель.

Недаром здесь говорят так гордо: мы — сталинградцы.

### 3. УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА ДОМ № 21/а

Но, чтобы по-настоящему понять характер поразивших весь мир боев за Сталинград, надо побывать там, где фронт уже втянулся в город, где линия его невидимыми и самыми невероятными зигзагами побежала между зданиями и даже разделила многие из них.

Просторная улица с большими домами, с газонами, с молодыми еще не закурчавившимися топольками, такая спокойная и мирная, если бы не разрытые снарядами мостовые и тротуары, если бы не баррикады и не три сожженных немецких танка, прижавшихся к разбитому каменному забору, — это передовая линия.

Красивый четырехэтажный дом с лепными украшениями на фронтоне, с широким разбегом лестниц, с простором чистых и светлых квартир, такой благоустроенный, дышащий уютом и покоем, если бы не угол, снесенный авиабомбой, не зияющие просветы пустых окон, не двери, выбитые силой разрывов, — это ДОТ, за который девятый день идет борьба и который сейчас удерживает горсточка храбрецов под командованием младшего лейтенанта Цветкова.

А дом напротив, павское, — это позиция немцев. Оттуда время от времени строчат автоматчики. Пули их, взвизгнув у полоконьяка, скалывают шпукатурку стен, и она сыплется на пол.

Эта комната еще совсем недавно служила, очевидно, кабинетом инженеру. Письменный стол. Книжные полки. Классики рядом с технической энциклопедией и словарем Хютте. Большой список тракторного завода в рамке с остатком выбитого стекла. Клеенчатый диван, на котором, вероятно, инженер отдыхал или работал. Все это, припудренное известковой пылью, и сейчас еще стоит на своих местах. Даже календарь висит на стене. На нем листок — «11 сентября». Видимо, именно в этот день оборвалась здесь мирная жизнь.

Эту комнату с двумя массивными стенами и одним маленьким окном, выходящим во двор, и избрал лейтенант Цветков под свой, как он шутя говорит, «КАШЕ». Здесь, сидя на клеенчатом инженерском диване, он хриловатым сорванным голосом не без увлечения рассказывает историю обороны этого дома № 21/а по ул. Энгельса.

В середине октября немцы, собрав на окраине города мощный кулак, после долгой бомбежки с воздуха, с помощью танков овладели этой улицей. Они сразу же начали на ней закрепляться. Лейтенант подводит меня к окну и, приказав смотреть осторожно, из-за косяка, показывает жилки глубоких извилистых окопов, пересекающих двор, — ДЗОТ, сооруженный посередине и замаскированный поленицей дров.

Солидные укрепления, построенные с немецкой тщательностью и фундаментальностью! Но продержались тут немцы не долго. Сильным и внезапным ударом с фланга их выбила отсюда одна паша гвардейская часть, за ночь очистившая и эту, и примыкавшие к ней улицы. После боя во дворе дома № 21/а в окопах, и особенно в подвале котельной, гвардейцы нашли много немецких трупов. Немецкая пушка, прихромнув на разбитое колесо, и сейчас стоит у ворот. Два станковых пулемета, захваченных в доме, состоят на вооружении его гарнизона. Они с избытком снабжены боеприпасами. В котельной бойцы нашли много ящиков немецких патронов.

Страшное зрелище увидели гвардейцы на пороге квартиры № 3 на втором этаже. В открытой двери, наполовину высуившись на лестничную площадку, лежала старая, седая женщина, прикрыв собой труп полугодовалого ребенка. Женщина была ранена в грудь павылет тремя пулями. Перед смертью она успела назвать себя: Анна Капустина, пенсионерка, мать цехового плановика с тракторного завода. Она захлебывалась соб-

ственной кровью, kloкотавшей в пробитой груди, но неважность придавала ей силы. С трудом она рассказала бойцам, как вместе с внучком Игорем и младшей дочкой, 15-летней Верой, испугавшись бомбежки, она не ушла с другими. Они оставались одни в пустом доме, когда его захватили немцы. На кухню, где она сидела, зашел немецкий офицер с каким-то тилом, говорившим по-русски. Он похвалил ее за то, что она осталась, и даже дал Игорю конфету, но когда начали части начали теснить немцев, тот же офицер ворвался к ней почью разъяренный, пьяный. Он что-то кричал, потом выхватил револьвер и выстрелил в постельку, где спал мальчик. Бабушка бросилась на помощь к внуку, повисла на руке у палача, и тот одну за другой пустил ей в грудь три пули. Веру солдаты утащили с собой.

Рассказывая об этой истории, лейтенант вскочил с дивана, взволнованно прошепел по комнате, потом порылся в кармане, достал нестрого целлулоидного попугайчика с горшочком внутри:

— Вот, нашла в ручонке у мальчика, когда хоронили. Храню. Храню и никогда я этого мальчика им не забуду...

Но история борьбы за дом № 21/а этим только началась. Захватив его, гвардейцы сейчас же развернули круговую оборону. Взяли под контроль своих пулеметов весь перекресток. Утром немцы начали контратаку. На улицу обрушились залпы снарядов.

Бомбардировщики волна за волной накрывали на нее, сбрасывая свой смертоносный груз. Гвардейцы сидели в окопчиках за баррикадами, в угловых окнах домов, ожидая атаки. И вот в бой ринулись немецкие танки. 12 тяжелых машин гуськом неслись вдоль улицы, неся на броне с сотню автоматчиков. В узком русле улицы закипел бой огромного напряжения. Бронебойщики, дождавшись, когда танки поровняются с ними, выстрелами в борты подбили 5 машин. 5 танков запылали, но стальные, осторожно обходя эти жаркие бензиновые костры, поперли вперед. У бронебойщиков кончились снаряды. Постоянно меняя позиции, перебегая от одного окна к другому, они уклонялись от шквального огня, который вели танки, и, выбрав момент, метали сверху гранаты. Еще три машины оставались с развороченными гусеницами. Но четыре продолжали переть. Из окон нижних этажей гвардейцы из автоматов скашивали танковый десант. Но противотанковые средства были исчерпаны. Тогда один высокий боец, герой, о котором тут говорят с огромным уважением, но имени которого никто не знает, с криком: «Не пройдет, гад! Не пуц!» — схватила противотанковую

мину, прижал ее к груди и вместе с ней бросился под гусеницы головного танка.

Раздался страшный взрыв. Покачнувшись, стальная машина остановилась с развороченными брюхом. Осталось три танка. Они проломали баррикаду и подошли вплотную к дому № 21/а. Пришла очередь действовать защитникам дома. Они пустили в ход старое, испытанное средство. Из подворотни полетели, куврякаясь в воздухе, зажигательные бутылки. Черная липкая жидкость покрыла танки, превратила их в факелы. На улице стало светло от багрового колышавшегося пламени.

Но немецкие автоматчики уже успели соскочить с танков и, смыв двух бойцов, пытавшихся их задержать, ворвались в первый подъезд дома. Яростная схватка завязалась на лестнице. Немцев было втрое больше, чем наших гвардейцев, но гвардейцы стойко парировали удары. Боец Чепурный залег с автоматом на лестничной площадке, ведущей ко второму этажу, и, пока за его спиной товарищи воздвигали баррикаду из домашнего скарба, сдерживал наступление немцев короткими, расчетливыми очередями.

Немцам удалось захватить только 9-ю и 10-ю угловые квартиры. Чепурный дал по ним последнюю очередь и шатаясь (он был ранен в плечо и бедро) стал подниматься наверх. Товарищи перетащили его через баррикаду.

В это время к немцам пришли подкрепления. Дав несколько выстрелов из мелкокалиберного миномета по окнам лестничной клетки, немцы пошли на штурм баррикады. У пятерых бойцов, защищавших ее, гранат уже не осталось. Патроны кончились. Поэтому они били только паверняка, когда кто-нибудь из немцев пытался перелезть баррикаду. Они держали ее, пока, поднявшись по пожарной лестнице во второй этаж, вторая группа немцев не ударила им в тыл. И все же они успели отойти и снова закрепиться на третьем этаже. Раненого Чепурного они посадили в кухне у двери на балкон — отбивать попытку немцев пропихнуть по пожарной лестнице.

Бой возобновился, неравный и еще более ожесточенный. Немцы попытались бросать за баррикаду гранаты, но прежде чем они успевали разорваться, бойцы хватили их на лету и бросали обратно на головы наступающих.

— Вот вам за Сталинград. А это — за мать-Украину. А это — за родной колхоз «Червоный шлях», — приговаривал боец Климух, ловко метая немецкие гранаты.

Немецкая сталь рвала немецкие тела. И немцы не выдержали. Они прекратили осаду, ушли в нижние квартиры. Но утром они возобновили попытку очистить дом. На этот раз их миномет минут 10 бросал мины в

окно лестничной клетки. Бурый дым взрывов известковая пыль затянули все непроницаемой пеленой. Казалось, все живое пестерзано, уничтожено. Но когда немцы валом рванулись паверх, их снова встретили редкие, но меткие выстрелы из-за баррикады. Гвардейцы, переждавшие бомбежку в квартирах, снова были на своих местах. Они достреливали по последней обойме, готовясь к рукопашной схватке.

В это время паверху раздалось «ура». Оно грянуло неожиданно и продолжало нарастать. По лестнице гулко заухали кованые сапоги. Это бойцы из соседнего блока, перебравшись по крыше, шли па помощь. Па голову немцев одна за другой посыпались гранаты. Это было так неожиданно, что немцы побежали, бросая убитых и раненых. С ходу были взяты обратно квартиры 9-я и 10-я. Дом № 21/а по ул. Энгельса снова очутился полностью в наших руках.

Неудачный штурм его обошелся немцам в 52 солдатских и два офицерских трупа.

Вот этот-то дом и защищает взвод лейтенанта Герасимова. Защищает прочно. Каждый день по ночам бойцы укрепляют его, заделывая кирпичем оконные амбразуры, прodelывая бойницы, окружая дом трапшеями.

Уже стемнело. Лица лейтенанта не видно. Оно возникает лишь на мгновение в судорожном, зыбком мерцании осветительной ракеты или в отблеске вспышки снарядного разрыва. Он совсем еще молод, но усталые морщинки резко пересекли его лоб, разбежались лучиками из уголков глаз.

— Наш дом — один из домов Сталинграда, — говорит лейтенант и ведет меня осматривать хозяйство этого своеобразного ДОТа, где полтора месяца тому пазад мирно жили люди, благоустроенная, заботливо украшая свое жилье, радуясь каждому новому приобретению.

Их вещи все еще стоят па своих местах, посыпанные известковой пылью, битым стеклом. В одной из комнат, должно быть чьей-то столовой, у замурованного окна, в которое просунут ствол противотанкового ружья, в глубоких креслах сидят три бойца и расчет противотанкового ружья и при свете коптянки мастерят мундштуки из обломков валяющегося неподалеку «Мессершмитта».

В другой, угловой — пулеметчики Жуков и Евтифеев у станкового пулемета. В этой комнате сохранился детский уголок — крохотная, смешная мебелишка и как-то коврики со зверушками па степях. Лейтенант смотрит на них, потом достает из кармана пестрого полушубка — память об убитом мальчишке — и задумчиво говорит:

— А у меня тоже вот есть дочка Света четырех лет и сын Георгий, Егорюк, — двух.

Уже двадцать месяцев их не видел, и где они, не знаю... Остались в Тарнополе, а сейчас, может быть...

Он вдруг резко отталкивает Евтифеева, хватается за ручки пулемета, дает одну за другой две длинных очереди по окнам дома наискось, где сидят немцы.

Оттуда отвечают густыми залпами. Несколько мин сотрясают дом своими разрывами.

Лейтенант застенчиво улыбается:

— Вот как вспомню о немцах — не могу, аж всего затрясет. Руки так и зудят стрелнуть, метнуть гранату, или штыком направо, налево...

Мне опять вспоминается его фраза о том, что дом, который они обороняют, — один из домов Сталинграда. И в самом деле, как в капле дождевой воды отражается солнце, так и в борьбе за этот дом отражено великое, эпическое упорство защитников города Сталина, сражающихся за каждую улицу, за каждый дом, за каждое окно в квартире, за каждую ступеньку на лестнице. И во всем этом бьющемся, воюющем городе немцев ненавидят так же искренно, непримиримо и жгуче, как в доме № 21/а по ул. Энгельса.

#### 4. НА СТЗ

Быть в сражающемся Сталинграде — это значит приучить себя к гулу и грохоту, к тому, что под ногами непрерывно вздрагивает и зудит сотрясаемая взрывами земля, и разрывы снарядов и мин, многократно повторяемые эхом в пустых коробках выгоревших домов, сливаются в один сплошной перекатывающийся гул, застывший на низкой басовой ноте.

Но эта почва даже для защитников Сталинграда выдалась необычной. Немцы подтянули и ввели в бой тяжелые орудия. Наша артиллерия дружными залпами отвечала им из-за Волги. Разрывы были так сильны, что даже в глубоком подземном блиндаже, все время покачиваясь, сверкала вода в графине, и отблеск ее бежал по картам, висящим на стенах, по усталым, небритым лицам штабистов.

И как было удивительно услышать под утро фразу инженера-майора, спокойно сказанную им в трубку полевого телефона:

— Можете рассчитывать на такое-то количество танков. Ну да, половину отремонтируют к 8.00, половину — к 14... Канонада? Это ничего не значит... Мы знаем их не первый день. Обещали — отремонтируют. Разве они нас хоть раз подводили?

И спросил инженера-майора, как это можно

работать при такой канонаде. Он даже удивился:

— А как же... Работают... Круглые сутки работают. — Он улыбнулся и с восхищением добавил: — Ах, какие тут чудесные рабочие! Цены им нет. Вы обязательно, непременно побывайте на СТЗ.

Да, СТЗ!

Вон он, чудесный завод, величественно спускающийся к Волге уступами огромных цехов, никогда доселе не виданный и в то же время такой знакомый по снимкам, рисункам, кино. Вся страпа строила тебя. Миллионы советских людей с напряженным вниманием следили за твоим рождением, завидуя тем, кто участвовал в этой необычайной стройке в низовьях Волги. Сталинградский тракторный завод — могучая, полнокровная, буйная юность нашей индустриализации. Как воспоминание юности, каждый из нас хранит память о нем в лучшем уголке своего сердца, живо помня дни и месяцы его рождений. Его проект за границей встретили недоверчиво. Юмористические журналы упражнялись, изображая современные машины, приводимые в движение верблюдьей тягой. Солидные газеты удивлялись: большевики взялись не за свое дело. Разве по плечу им строить современные индустриальные гиганты?

Большевики упорно строили, с любовью укладывая каждую катку бетона. Строили — и острожили. Тогда в заграничной печати поднялся спор: пустят или не пустят, освоит или не освоит? Немецкие технические журналы пренебрежительно фыркали. Разве детки волжских бурлаков, таскавших бечевой баржи с солью, и кочевникам, всю жизнь скитавшимся с отарами овец по голым степям, под стать современная техника? Переломают машины, пойдут на поклон за границу. Американцы смотрели на вещи более широко. Они помогали нам строить, помогали и, с детства приученные ценить технические дерзания, следили за «экспериментом на Волге» с неподдельным интересом.

Мы не пошли на поклон к иностранцам. Собственными силами мы пустили свой первый гигант. Скоро тракторы с буквами «СТЗ» бороздили бескрайние поля нашей родины. Скоро весь мир узнал эти три магические буквы — СТЗ!

Сколько раз я мечтал побывать на знаменитом заводе. Это была мечта юности. И во только сейчас, в тяжелую годину моей родины, ей суждено было сбыться.

Вот он стоит, завод-гигант, уступами пехи сходя к Волге, четко выделяясь рядами своих корпусов на трепещущем фоне большого дыжара. Горят заводские топливные склады только что подожженные немцами с воздуха

Как выцорбленные зубы на деснах старика, поднялись вверх закоптевшие стены разбитых снарядов слесарного и пресового цехов. Чудом торчит дважды простреленная труба. Немцы кпе мины с визгом ежеминутно проносятся над головами. Немцы бьют по волжской переправе.

Линия фронта рядом, у самой южной, изрешеченной пулями, заводской стены. Но завод живет. Больше того: отдельные цеха работают, и старый человек с седыми усами, с немецкой трофейной винтовкой за плечами и ларой немецких гранат, деревянные ручки которых торчат у него из карманов, преграждает путь и сурово требует:

— Пропуск!

Посмотрев документ, увидев на нем родное слово «Правда», он вдруг как-то подобрел, обмяк, потащил к себе в будку:

— От мни, аль, скажем, от снарядов во охранит, а от осколков или опять же от каменных обломков все защита,— пояснил он и жадно забросал десятками вопросов: как живет Москва, что делается на других фронтах, что слышать из-за границы.

Этот человек, старый кадровик завода, участник знаменитой Царьпинской обороны, Иван Захарович Валиков, вот уже ошнадцатть дней на посту,— не сменяясь, охраняя проходную своего завода. Хотели поставить военную охрану, освободить старика, переправить его за Волгу в безопасное место, но он возмутился, пригрозил дойти до «самого главного военного» и отстаивал свое право охранять родной завод.

И вот в смену с красноармейцами он несет дежурство, а в свободное время спит тут же возле ворот, в узком окончике, свернувшись калачиком на старой шубе.

Впрочем, ходить ему некуда. Дом его в верхнем поселке семь дней назад спалили немцы. Из своей будки старик видел, как он горел, но в этот момент он нес дежурство и не покинул поста. У него сгорело все, что он накопил на старость. Он остался в том, в чем вышел на дежурство, по его это не очень беспокоит:

— Быть бы живу да город нам отстятъ — все будет. На здоровом-то теле раны зажи- вают быстро...

Заводской двор, перечеркнутый вкривь и вкось линиями путей, пуст. Он весь изрыт снарядами. Танкисты, только что принявшие четыре вышедших из ремонта машины, советуют тоном специалистов:

— К стенкам северным, комиссар, жми- тесь. Он с юга лупит.

Впрочем, сами они возятся у своих машин совершенно хладнокровно, хотя именно эта площадка, служившая раньше, очевидно, для

опробования соседних с конвейера машин, особенно густо покрыта рябинами разрывов. И вообще я наблюдал одну характерную черту защитников Сталинграда — заботу о других. Человеку, вновь попавшему в город, здесь дают десятки советов, как ему следует себя вести, сами же остаются совершенно равнодушными к чирканью пуль.

— Мы, сталинградцы,— народ, от пуль заговоренный,— погугил паромщик на переправе.

В одном из цехов шла работа. Почтью тягачи подтянули сюда с поля боя десятки подбитых машин. Сейчас их сешно ремонтируют. Рядом с военными ремонтниками работают рабочие завода — сборщики, токари, слесаря. Работают молча, сосредоточенно, сдъшнув брови, закусив губы, стараясь всю силу своей воли, всю быстроту своих умных, опытных мастерских рук вложить в эту работу.

Военный инженер 2-го ранга Герасимов удивляется. Он воюет с первого года войны и никогда еще не видал таких темпов работы. Ремонт, на который полагаются сутки, делают за несколько часов, с мелкими повреждениями управляются буквально в минуты.

— Вот эти товарищи,— военннженер показывает на слесаря Строганова, Зотова и старого матроса Филиппова,— не ложились спать уже трое суток. Вчера я приказал им прилечь. Легли. Но в это время прибыли еще танки. Подхожу, вижу — опять с ключами. Я даже рассердился. Упрямый народ. Золотой народ.

У молодых слесарей и у старого мастера лица были черны от ржавого масла, белки воспаленных от бессонницы глаз сверкали. Когда в дальний угол цеха ударил снаряд и осколки стекла, брызнув, упали на пол им под руки, они даже не оглянулись, продолжая возиться в моторе танка.

Военннженер приказал Филиппову проводить меня по цехам. Мастер неохотно оторвался от работы. Вытер руки. Пошел. Уцелевшие цеха были пусты. Шеренги чудесных станков стояли бесконечными рядами. Гром выстрелов троекратно повторялся в стенах.

Старый мастер был немпогословен. Он только называл цеха. Зато он подлого оставался у разбитых снарядами машин, перебирал, гладил руками разломанные детали, и по тому, как он играл желваками скул, было видно, что он с трудом сдерживает слезы.

Только в одном месте, у остова сожженного цеха, его прорвало. Он поднял свои большие выначканные в масле кулаки и непствово потряс ими, грозясь туда, откуда били по за-

воду, по переправе немецкие минометные батареи.

— Сволочи... Сволочи! — прохрипел он, потом схватил меня за борта шинели, потряс изо всех сил. — Нет, вы скажите мне, чем они, скоты, нам за все это заплатят? Какой мерой они будут с нами квитаться за все эти их бесчинства?

Потом мы сели за массивной стеной сплывшего цеха, защищавшей от пуль и мин, и Яков Филиппович рассказал, как рабочие тракторного, вместе с бригадой, принимавшей танки, отбили первые атаки немцев у стен города, как отличился в боях за город рабочий батальон завода, в котором начальником штаба был член Сталинградского совета, преподаватель механического института Паученко, в котором геройски дрались слесаря, токари, фрезеровщики, в котором, сражаясь за Сталинград, с винтовкой в руках, погибла девушка-сталева, любимца сталинградских металлистов, Оля Ковалева. Старый мастер называл их всех — и тех, кто сражался, и тех, кто работает, — бойцами цехов.

Бойцы цехов! Здорово сказано.

Уже темнело, когда я уходил с завода. В проходной молодой красноармеец молодцевато взял па-караул. Я спросил его: где же Иван Захарович?

Красноармеец сразу погрузился, и по лицу его сразу ясно стало, что он еще совсем молодой паренек.

— Умер дядько Иван... Час назад убито... Осколком. Видите ту воронку — вот от нее осколком. В грудь. Так с винтовкой и рухнул.

И мы спяли пилотки над местом гибели Ивана Захаровича Валикова, бойца цеха, одного из тысяч героических защитников Сталинграда.

## 5. РЕДУТ ТАРАКУЛЯ

Мы долго шли по северной окраине Сталинграда, пробираясь какими-то задворками и садами, карабкаясь через баррикады, пролезающая сквозь закоптелые развалины домов, стремглав пробегая улицы и открытые места. Наконец лейтенант Шохин остановился, перекинул автомат с плеча на плечо и сказал хриплым, сорванным голосом:

— Дошли. Тут. Вот это ребята у нас и зовут редутом Таракуля.

Он показал на груды битого кирпича и балок, возвышавшиеся на месте, где когда-то, очевидно, стоял небольшой приземистый, старинный, прочной постройки дом. Это проходило в глухой час беспокойной фронтовой ночи. Холодная круглая луна серебрила седую от инея землю, пустые коробки когда-то

больших и красивых домов, походивших теперь на истрепанные театральные декорации, подбитые снарядами телеграфные столбы с бессильно болтающимися кудрями оборванных проводов, чудом уцелевшую на углу красную парзанную будку, вкривь и вкось протиснутую пулями.

Все тут — и мостовая, сплошь исковерканная и внахапанная разрывами снарядов и мин, и целые россыпи стрелянных гильз, и четыре просторных воронки от авиабомб, заледневших по краям и поэтому напоминавших какие-то лунные кратеры из какого-то детского учебника, и, наконец, ключья темной серой немецкой шинели, заброшенной силой взрыва на ветви молодого капитана, — говорило о том, что это место совсем недавно было ареной долгой и яростной схватки, центром которой был этот совершенно разрушенный дом на углу.

— Редут Таракуля, — повторил лейтенант Шохин, которому, видимо, очень нравилось это название, и, показав на прямоугольные отдушины в массивном, хорошо сохранившемся каменном фундаменте, добавил: — А это амбразуры. Видите, какой широкий сектор обстрела на обе улицы. Вот через них они и держали наступление целого немецкого батальона. Вдвоем — батальон. Вдвоем, понимаете!

В хриловатом голосе лейтенанта, человека бывалого, воющего третью войну и отнюдь не склонного к восторженности командира взвода разведчиков, слышалось настоящее, неподдельное восхищение, восхищение война, восхищение мастера и знатока. И мне живо вспомнилась во всех подробностях история этого дома-редута, слышавшая в Сталинграде уже от нескольких человек, необычайная, почти невероятная и в то же время правдивая история, являющаяся одной из характерных страничек тяжелой героической эпопеи сталинградской обороны.

Бойцы-пулеметчики, старые друзья, спавшие в одной землянке, евшие из одного котелка и курившие из одного кيسета, Таракуля и Пачирнер, получили задание командира пулбата устроить пулеметные точки в этом доме на перекрестке двух окраинных улиц. Бой в этот день шел на другом участке, немцев здесь не ждали и сооружение пулеметных точек было только одной из мер хорошей военной предосторожности. Получив приказ, спокойный, медлительный, неразговорчивый Пачирнер и маленький подвижной, вечно что-нибудь насвистывавший или напевавший Таракуля быстро обоняли пустой дом, облюбовали угловую комнату первого этажа, из окон которой можно было следить за всем, что происходит на скрещивающихся здесь ули-

цах, и пачали разбирать печь и заставлять кирпичами окна, чтобы оставить в них только узкие амбразуры. Силач Начирнер, стараясь не очень следить за паркетными полах и аккуратно обходя мебель, огромными охапками поносил кирпич, а его друг, пасивиствая какую-то песенку, ловко укладывал кирпичи крест-накрест, чтобы они прочнее держались. Бой гремел недалеко. Улицы были совершенно пустыни, но друзья, привыкшие на войне к неожиданностям, работая не покладая рук, все время посмагивали кругом. Первая амбразура была уже готова, в ней установили пулемет и принялись было уже за вторую, когда Начирнер, принося очередную охапку кирпича, увидел, что Таракуль не работает, а прильнул к пулеметному прицелу и, весь напряженившись, смотрит на улицу. «Немцы», — догадался Начирнер. Он осторожно положил кирпич на пол и выглянул из-за косяка. Пятеро немцев с автоматами, болтавшимися у них на шее, как саксофоны, озираясь, по стенке крались вдоль улицы. Начирнер схватил винтовку, но Таракуль вырвал ее у него из рук.

— Разведка! Не спугивай. За ними припрут. Подпустим, а потом сразу по всем, — зашептал Таракуль, снова берясь за ручки пулемета. В самом деле, дойдя до угла, немцы посоветовались, осмотрели перекресток, один из них сделал какой-то знак. На улице показались большая группа автоматчиков. Человек тридцать. Они тоже подошли к перекрестку и встали, прижавшись к стене, представляя собой удобную мишень. Они снова выслали вперед разведчиков. Но в это время две резких очереди потрясли воздух. Потом еще две. Несколько немцев упало, остальные побежали. Потом остановились. Часть начала стрелять из автоматов, а другая двинулась к своим убитым, чтобы их утащить. Две новых очереди подкосили еще нескольких, а остальные бежали уже не оглядываясь.

— Есть! — победно гаркнул Таракуль, радостно сверкнув желтыми белками своих горячих цыганских глаз. Но Начирнер, такой же спокойный, медлительный, молча показал ему на остов большого каменного дома напротив. В пустых окнах его было видно много серых, деловито суетившихся фигур, быстро занимавших оборону. В это время сразу с двух улиц к перекрестку густо, мелкими перебежками, прижимаясь к подворотням, к воронкам, к телеграфным столбам, хлынули немцы, охватывая дом с двух сторон.

Таракуль оторопел. Немцев было много и, что особенно ему показалось тогда страшным, они были не только впереди, как он привык с ними встречаться в бою, но и с боков, заходили сзади. Первое, что захотелось сделать

бойцу, это бежать, бежать скорее, бежать к своим, пока еще не поздно, вырваться из этого полукольца, спастись и спасти свой пулемет. Но он увидел, как товарищ его деловито перекатывал свой пулемет в соседнюю комнату, чтобы отразить нападение немцев сбоку, и сразу же пришел в себя. Преодолев инстинктивный страх, он припал к пулеметному прицелу и стал короткими очередями выбивать, выкашивать перебегающих по улице немцев. Те, что сидели в здании напротив, открыли по дому беспеную стрельбу. Но Таракуль уже не боялся, за кирпичной стеной он чувствовал себя неуязвимым. Страх прошел, он перерос в чувство волгующей, расправившей грудь радости, когда немцы, десятки немцев там, на улице, вдруг побежали назад, перепрыгивая через трупы своих убитых и не обращая внимания на крики раненых. Теперь Таракуль тоже хладнокровно был им в спину в всякий раз, когда серая фигурка, точно споткнувшись, падала на землю и точно застывала, он приговаривал:

— Есть, есть, есть.

В соседней комнате работал — именно работал — пулемет Начирнера. Верный себе, хладнокровный, спокойный даже в самую жаркую минуту боя, он расчетливо, очень экономно бил короткими очередями. Он первым отбил атаку на своей улице и с винтовкой пришел на помощь товарищу и начал, тщательно прицелившись, бить по тем, что сидели напротив в доме. Те отвечали залпами из автоматов. Комната наполнилась известковой пылью. Пулеметчики легли на пол.

Когда атака была отбита и настала тишина, Таракуль добрался до приятеля. Его расправало чувство огромной радости, гордости собой. Он впервые осознал свои силы и от избытка этих сил, желая чем-то выразить свою радость, звонко хлопнул приятеля по спине. Тот молча отстранился, свертывая пыхарку, и тут Таракуль заметил, что приятель, который пять минут назад привел его в себя своим хладнокровием, был бледен, что пальцы у него дрожали и табак сыпался на колени.

— Чего радуешься, это ведь только начало, — сказал он своим ровным голосом, и вдруг спросил: — А ты женатый? А дети есть?

И снова они распозлись по комнатам, каждый к своему пулемету. Слова Начирнера сбылись. Через час немцы предприняли еще одну атаку, а потом две короткие и панористые, одну за другой. Пулеметчики отбили атаки и с каждой новой схваткой действовали хладнокровней, уверенней, и каждый раз все больше и больше серых фигур в пе-

естественных, изломанных, кукольных позаз навсегда застывало на мостовой.

Тогда немцы подтянули минометы. Они стали бить из сада напротив и били по дому двадцать минут. С десяток мин разорвалось в верхних этажах. Казалось, все в доме было разрушено, разбито, разнесено в клочья и перемешано с обломками штукатурки. Но когда немцы снова бросились в атаку вдоль улиц, снова четко заработали два пулемета, и две смертоносных свиных струи преградили им путь. Пулеметчики пережидали обстрел в маленьком коридорчике, и как только минометы смолкли, опять подползли к своим боевым машинам.

Трудно сказать, что думали немцы. Считали ли они, что имеют дело с целым гарнизоном, что они наткнулись на замаскированный ДОТ, или мужество двух пулеметчиков подорвало наступательный дух целого батальона, но они больше уже не пытались прорваться прямой атакой. Они подтянули три орудия и стали бить по дому прямой наводкой. После каждого выстрела Таракуль кричал приятелю:

— Жив?

И тот спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном, деловито отвечал:

— Жив.

Но вот снаряд угодила прямо в комнату, где сидел Начирпер. Когда смолк грохот разрыва, он не ответил товарищу. Таракуль бросился туда. Среди развороченных камней, разбросав раненые ноги, лежал грузный пулеметчик. Сдерживая боль, он кусал губу и сквозь зубы процедил:

— Ранен...

«Что делать?» — пронеслось в уме Таракуля. Теперь он остался один, один против целого батальона немцев. Но он обдумывал свое положение спокойно, без тени страха. В следующее мгновение он уже нес друга вниз, в подвал. Потом он перетаскал туда пулеметы и боеприпасы. Он установил их в том же порядке, как и наверху, высунив стволы в прямоугольнички отдушин. В это время раздались взрывы, от которых все здание подпрыгнуло и затряслось. Это разорвалась серия авиабомб. Немцы вызвали на помощь авиацию. Дом был разрушен, груды кирпича, щебня завалили подвал, но массивные своды подвала выдержали. Пулеметчик Таракуль и его раненый товарищ остались живы, погребенные под обломками и отрезанные обвалом от мира. Придя в себя, Таракуль даже обрадовался этому обстоятельству. Он мог теперь не опасаться нападения с тыла. Груда развалин довольно надежно закрывала его от снарядов. Когда немцы опять пошли

в атаку, они снова были отброшены огнем двух пулеметов. Заваленные обломками дома, Таракуль и его раненый друг продолжали стрелять, а когда раненый лишился сознания, Таракуль, тоже раненный, но легко, бегал от одного пулемета к другому, простреливая обе улицы.

Вспоминная потом об этом, он никак не мог сказать, долго ли шла эта неравная и беспримерная борьба, он вообще не мог ничего вспомнить, кроме того, что он стрелял из двух пулеметов, не видя перед собой ничего, кроме двух перекрещивающихся улиц, и не думая ни о чем, кроме того, что эти улицы, улицы Сталинграда, пужно во что бы то ни стало удержать. Он стрелял до тех пор, пока где-то вдали не услышал «ура», которое приближалось, парастало, пока по обломкам асфальтового тротуара не затопали тяжелые ноги наступающей пехоты и перед амбразами отдушин не замелькали родные, песочного цвета шинели. Тут он бросил пулемет, стал трясти раненого друга, крича ему в ухо только одно слово:

— Наши, наши, наши!

Когда подразделение командира Мохова очистило всю улицу, пришлось долго разгребать и даже подрывать камни, чтобы извлечь героев из-под развалин. Их освободили как раз вовремя, за несколько минут до начала немецкой контратаки. Начирпера отнесли в госпиталь, а Таракуль вырвался из рук медсестры, перевязывавшей ему рану, схватил винтовку и бросился в новый бой.

Улица эта осталась у нас, а развалины дома, возвышающиеся сейчас на перекрестке, кто-то шутливо называл редутом Таракуля, и названье это так к нему и прикилось.

— Вы знаете, потом, когда очистим город и разобьем немцев, надо бы это место оградить забором, повесить здесь доску и на доске написать о том, на что способны два советских бойца, и пусть все ходят и смотрят, смотрят и удивляются, — говорит лейтенант Шохин и, улыбувшись, сам себя опровергает: — Чепуховый проект. Слишком много таких памятников пришлось бы оставлять в Сталинграде, на каждой улице, в каждом переулке. Нет, лучше мы построим тут новые замечательные, красивые дома, чтобы хорошо, удобно, уютно жились в них людям и чтобы люди, живя в них, добрым словом вспоминали о нас.

## 6. ВОЛГАРИ

Это случилось в самую острую минуту той героической ночи, когда прославившаяся в боях за Сталинград гвардейская часть Героя Советского Союза Родимцева в жарком бою



вырвала у немцев ряд улиц, которые им удалось накануне захватить.

Враг отчаянно и умело сопротивлялся. Он яростно защищал развалины домов, за каждый камень которых он отдал жизнь немецкого солдата. Пулеметный огонь завесой свинца преграждал путь гвардейцам. Из окон сгоревшего массивного углового дома, почти неуязвимая за толстыми высокими стенами, бешено била немецкая батарея.

На мгновение наступление затормозилось. Головные подразделения бросились в обход. Пропадали дорогие штурмовые минуты, цена которых известна только тем, кто бывал в настоящем бою.

Вдруг где-то далеко, за спинами гвардейцев, грянуло три орудийных выстрела. Три тяжелых снаряда со свистящим шелестом пронеслись над головами наступавших и с изумительной точностью накрыли вражескую позицию как раз перед домом, где была немецкая батарея. Снова грянуло три выстрела. Только три, не больше. И дом исчез в буром взмете разрывов и в облаках известковой пыли. Немецкая батарея была погребена в его развалинах. Ворота для наступающих были пробиты.

Гвардейцы оглянулись назад, туда, откуда пришла к ним неожиданная помощь. За синевой холодно поблескивала хорошо видная отсюда, с холма, затянутаая клочковатым предутренним туманом неоглядная волжская гладь.

Огонь был с Волги.

— Это волгарь! — улыбувшись, сказал, бросаясь в атаку, гвардеец.

Рота за ротой устремлялись в пробитую во вражеской обороне брешь, расстреливая отступавших немцев. В этот бой гвардейцы несли с собой теплую благодарность тем, кто в трудную минуту пришел к ним на помощь с родных волжских вод.

Волгарь! Это старинное слово зеленых мест. Так называли себя бурлаки, баржегоны, матросы, рыбаки нижеволжского плеса — все, чья жизнь с самого детства была неразрывно связана с великой русской рекой. Последние десятилетия это слово почти исчезло из лексикона.

И вот оно снова звучит, уже в новом качестве. Так сухопутные и воздушные защитники Сталинграда зовут сейчас краснофлотцев Волжской военной флотилии, охраняющей воды, омывающие Сталинградскую набережную.

Волгарь! Это слово произносят здесь сейчас очень сердечно, с хорошей улыбкой, с большим дружеским уважением.

Я рассказал о том, как в трудную минуту боя пушки с Волги поддержали наступающих гвардейцев. Это были орудия канонерских ло-

док, шпиряющих в волжских плавнях, умело машущих своим отдаленные цели чтобы потом влезать, с точностью пастоящих моряков, несколькими выстрелами тяжелых орудий смести эту цель раз и навсегда.

Немцы очень боятся этих внезапных коротких и всегда губительных огневых палетов с Волги. После первых же залпов канонерок над рекой появляется зверо «Юнкерсов», которые начинают шарить по речной пойме, выискивая малюсенькие и страшные суденышки. Но они давно уже ушли, сменили позицию и где-нибудь в другом месте, хорошо замаскировавшись, ждут, когда зазевавшийся «Юнкерс» подойдет к ним поближе, чтобы полоснуть ему по крыльям очередью из крупнокалиберного пулемета. Так, между делом, между огневыми палетами они уже сбили 5 «Юнкерсов». Хвост одного из них с двумя круглыми килем со свастикой до сих пор торчит из воды недалеко от переправы. И пожилой сапер, работающий на переправе, показав на этот хвост, обязательно говорит переезжающим Волгу нехотливым:

— Видал? Это волгарей-матросиков работа. Ох, и чисто бьют, будь они меладны!

На борту бронекатера, маленького, вертикального, стремительного, прекрасно вооруженного стального суденышка, одного из тех, какие называют здесь речными танками, довелось мне познакомиться с одним из замечательных волгарей — старшим лейтенантом Борисом Житомирским.

Коренастый, круглолицый, с большими черными глазами южанина, весело и озоровато поблескивающими из-под подвинутого на самые брови козырька мичманки, с раненой рукой, тяжело висевшей на бинте, он стоял, широко расставив ноги на палубе стремительно несущегося, дрожащего от напряжения и скорости судна, ведя группу катеров на боевое задание.

Поминутно прикладывая к глазам бинокль и зорко осматривая холмистый горизонт, изредка отдавая короткие распоряжения, он между делом с увлечением рассказывал о боевых товарищах из своей группы и очень ловко отводил разговор от всего, что связано было с его личными подвигами.

— Наша тактика такая: палетел, разбомбил — и ушел в дымовую завесу. Только и видали. Вот и вчерашняя операция. Получили приказ зайти в рукав, вывезти с берега 19 раненых. Немцы их окружили, прижали к берегу рукава. Предупредили нас: река тут под густым обстрелом, бьют две батареи. Две батареи? Хорошо. И вот лейтенант Горбов ночью ведет катер. А ночь, как на грех, чистая, луна палит во все лопатки, на воде каждую щепку видно. Нас сразу засекали. Та-

жая каша на реке поднялась — беда. Вода от дуль, как от града, пузырится. Снаряды рвутся у самой кормы. Судно так и прыгает от взрывов, а Горбов (я за ним смотрел) стоит в рубке спокойный, точно вечером в кают-компании, и ловко маневрирует то туда, то сюда, то туда, то сюда, а судно идет по заданному курсу. А ведь совсем молодой человек и командир педавший, лейтенант Горбов.

— А вы?

— Ну, что я, не обо мне речь. Вы слушайте дальше. Притерли мы катера к берегу, как раз туда, где раненные лежали. Команда соскочила на берег, стала их носить, а комендор башни, старшина второй статьи Лопатин, — воп он стоит. Дюжий такой, как дуб, и наводчик комендор Брызгалов — воп рядом с ним, красавец парень, картина, правда? Так они тем временем вражеские огневые точки на холме засекли да как по ним осколочными чесапуг — пропала гитлеровская батарея. Потом второй серией — по пулеметным точкам. Прямо, можно сказать, втыкают снаряды в цель. Я сам комендором был. Умею ценить настоящий глаз, но прямо скажу: у Брызгалова глаз, как у коршуна. Как заметит — так будь здоров!

— Ну, а вы? Вы о себе расскажите. Вот вы сказали, что были комендором...

— Да что я... Вы слушайте дальше. Раненные, за которыми мы приехали, думаете, что они делали? Лежали и ждали помощи? Как же! Они, эти раненные, лежали у пулеметов и сидли по немпам, не давая им спускаться с высоты. А кто потяжелее ранен был, те ползком патроны подтаскивали. Вот они какие, раненные в Сталинграде...

Вдруг лейтенант весь выпрямился, подбросил, поправил фуражку. Добрый и общительный обычно, он стал вдруг замкнутым; лицо его окаменело.

Катера подошли к зоне действия. Командир группы Житомирский отдал несколько коротких распоряжений. Дула орудий стали повертываться к левому борту и подниматься, нащупывая цель где-то на холме, у горизонта, откуда были вражеские минометы.

Уже потом, стороной, от других краснофлотцев, удалось узнать, как действовал сам командир группы старший лейтенант Житомирский во вчерашних операциях, как он руководил огнем пушек, как на руках носил раненных, сколько хладнокровия он проявил, выводя катер в дымовой завесе из зоны обстрела.

Узнал и его биографию, простую биографию слесаря, который начал войну капопиром в Днепровской флотилии, который в памятном бою под Тарнополем огнем своих пу-

шек разгромил на берегу две вражеских батареи и подбил 9 танков. Узнал, как потом он и группа его товарищей спяли с кораблей крупнокалиберные пулеметы, достали грузовики и организовали своеобразную батарею на колесах, которая долго наводила на немцев пашку, внезапно появляясь у них на флангах и так же внезапно исчезая. Узнал, как в бою под Черниговом оп был ранен и вынес из окружения тоже раненого генерала-майора, как потом, вместо того чтобы лежать в лазарете, готовил капопиров для капоперских лодок, а вот сейчас у Сталинграда стал командовать группой бронекатеров.

— Настоящий волгарь, — сказал о нем командир части, и это звучало большой похвалой.

Не менее энергично действуют на Волге и тральщики — маленькие деревянные суденышки, еще недавно в гражданской своей жизни бывшие речными трамваями и развозившие по воскресеньям сталинградцев по домам отдыха, расположенным в волжской пойме. Сейчас эти суденышки приобрели настоящий военный вид и причиняют немцам не меньше неприятностей, чем стальные острогрудые, рожденные для битв бронекатера.

Тральщики вылавливают из Волги мины, расчищают путь военным и мирным судам. Опасная работа! Я видел, как из пулемета расстреливали одну такую выуженную тральщиками мину. И хотя судно наше стояло очень далеко, от силы взрыва мы все понадали на палубу и уже лежа наблюдали, как высоко в небо, над пологими и лысыми холмами, взвился громадный столб воды и как в том месте, где он подымался, Волга у берегов на мгновение обмелела.

Про минеров говорят, что они ошибаются только раз в жизни. Минеры Волжской флотилии не ошибались еще ни разу. Зато немцы, снабжая свои мины всякими хитроумными ловушками, ошибались многократно, так как ловушки их были минерами своевременно разгаданы, а мины выужены и расстреляны.

Мы побывали в гостях на тральщиках, когда их экипажи занимались не своим прямым, но очень важным делом. За день до этого немцы, бросив огонь всех своих батарей на Волгу, разбили переправы. Пока их восстанавливали, связь города с Заволжьем поддерживали тральщики. Они доставляли в город боеприпасы, пополнение, а отсюда вывозили раненных и жителей. Нередко было дожидаться темноты. Они делали свое дело днем, под густым обстрелом с земли и с воздуха. Маленькие корабли бесстрашно и ловко маневрировали между разрывами. В сутки они совершали по 6, по 8 рейсов.

Подведя тральщик к берегу, сами краснофлотцы, не считаясь со званьями, быстро нагружали его трюмы. Перебрасывали груз на другой берег. Под непрерывным обстрелом бережно выносили раненых и вновь отправлялись в рейс, заделывая на ходу пробойны, всеми средствами выкачивая воду.

Ночью немцам удалось поджечь один тральщик с ранеными. Он запылал, как факел, освещая темное зеркало Волги. Его было видно на много километров. И немцы, наблюдавшие с холма через весь город за тем, как по палубе металась раненые, обрушили на горящее судно свой огонь. Капитан, хорошо знавший фарватер, ловко посадил судно на песчаную косу. Раненых вывезли и вывели. Затем старшина Осетров и краснофлотец Донцов достали глиссер и, не обращая внимания на огонь, совершили по Волге четырнадцать рейсов, бережно перевозя на берег раненых.

Капитан одного из этих героических суднышек показал мне вымпел своего тральщика. Он был прострелен в восемнадцать местах. Потом он показал массу продолговатых дырочек, больших и малых, испещрявших борты и аккуратно заделанных замазкой.

— Пятьсот тридцать три пробойны,— усмехнулся я.— И ничего, ходим. Волгари к этому привыкли.

День и ночь, не прекращаясь ни на минуту, без перерыва, без передышек, кипит гигантское сражение за исторический город.

День и ночь на Волге, в ее многочисленных протоках и рукавах, живет боевой героической жизнью Волжская военная флотилия, поддерживая с воды борьбу сталинградцев.

## 7. НАД ГОРОДОМ

Небо над Сталинградом высокое, просторное.

Еще недавно оно было чистым, дышало на город привольным степным покоем и окрашивало могучую волжскую гладь в великолепные голубые тона. Сейчас оно побурело от копоти взрывов, от чада и гари пожарниц, и, отражая его, Волга имеет теперь всегда, даже в самый ясный день, темный, грозовой, зловещий цвет.

Это бурое тревожное небо Сталинграда стало ареной невиданных воздушных битв, битв, не прекращающихся ни на минуту, битв не на жизнь, а на смерть, стремительных, упорных, жестоких.

Если на земле сражаются за каждый метр взорванного бомбами асфальта, за каждое дерево и каждую оконную амбразуру, то в небе идут бои за каждый кубометр воздуха.

Пелетки эти битвы. Немцы стянули к Сталинграду со всей страны, со всех своих авиационных баз в Европе лучшие свои авиасилы. Геринг бросает в бой одну за другой авиакорпусы своих любимых ассов, которых он берег для битв над Германией, которые годами совершенствовали свое искусство и лишь изредка допускались до воздушных боев. Сейчас они летают над Сталинградом сталями, и хотя часто численное превосходство бывает на их стороне, наши летчики принимают бой.

На днях на степном аэродроме в одной из летных частей пилоты отпраздновали своеобразный юбилей своего товарища старшего лейтенанта Смирнова, смелого воздушного охотника, который в одиночку на большой высоте бродит на своем бомбардировщике по вражеским тылам и, выследив добычу, как коршун падает из облаков и громит немецкие колонны. Он совершил двухсотый боевой вылет. В вырытой в глине землянке друзья, опорожнив по стакапу вина, поздравили «юбиляра». Коренастый, загорелый, он был очень смущен и встал, чтобы произнести ответный тост, но его вызвали в полет. Так ничего он и не успел сказать и только на ходу, застегивая свой шлем, бросил:

— Словом, не подкачку, ребята!

А в этот день он совершил двести первый вылет, обрушил на колонну немецких танков свой смертоносный груз, и после удара его бомб в степи навсегда остались лежать четыре развороченных на части стальных чудища.

А вот обычный день боевой жизни воздушного бомбардира капитана Василия Ильича Дужего, опытного вожака бомбардировочных групп, умеющего без потерь провести самолеты сквозь заградительный огонь, умеющего сохранить четкость строя в любом самом сложном боевом положении, умеющего всегда провести своих ребят к цели и класть на нее бомбы одну за другой, как косточки домино.

Ранним утром он вылетел со своей группой, нашел в степи движущуюся к городу танковую колонну, снизился, зашел со стороны солнца и, скрыв самолеты своей группы в солнечных лучах, ринулся вниз и разбил восемь немецких танков и много автомашин.

Не успела группа позавтракать, как летчиков снова вызвали к самолетам. Дужий дождался своей бутерброд в кабине, за рулем самолета. На этот раз на пути у Волги его группу перехватили семь «Мессеров». Стаей завертелись они вокруг бомбардировщиков, пытались разбить их строй. Группа, отстреливаясь из пулеметов, упорно шла на цель. С земли самолеты казались связанными невидимыми нитями.

дымными пятами — так четок был их строй. В этой четкости была их неприступность. Огонь пулеметов не давал немцам приблизиться. И вот с перерезанным очередью крылом, порхая, как осиновый лист, упал один «Мессер». Группа шла на цель. Вспыхнул дым, оставив за собой чадный след, рухнул второй немец. Группа Дужего дошла до цели, нашла танковую колонну, с двух захолов разбила и разметала ее на подступах к Сталинграду. Только после этого вернулись пилоты к привычному завтраку. С набитыми ртами, веселые, возбужденные, еще дымящие пламенем боя, они рассказывали товарищам о только что выдержанном сражении. Дужий с любовью поглядывал на своих боевых друзей и ворчал на немцев:

— Сволочи, позавтракать человеку не дают.

Вечером, когда солнце, багровея, уже опускалось над пыльной стеной, группа совершила третий в этот день полет, — как выразился Дужий, «прогулку на сон грядущий». На этот раз ее перехватили тринадцать «Мессеров». Бой завязался над самым городом, и каждый наблюдавший бой снизу не мог без восхищения смотреть, как, строго сохраняя свой строй, величественно плыли в воздухе бомбардировщики, атакуемые со всех сторон, как лошади слепнями, маленькими, верткими «Мессерингтами». А когда один за другим упали вниз три подбитых «Мессера», наземные защитники города аплодировали воздушным, как будто дело было на спортивном стадионе, а не в разрушенном городе, где между развалом стен, превращенных в баррикады, свистели снаряды и стонали мины.

И опять пилоты накрыли цель — вражеский эскадрон с горючим. Семь дымных дожарниц взметнулись в небо. В этот день пилоты группы Дужего ложались спать с сознанием, что день прожит не даром.

В боях за Сталинград, в этих невиданных, необычных сражениях, открывающих все каноны учебников тактики, в военную технику вносится много нового, невиданного, подсказанного опытом гигантской битвы, требующей напряжения всех сил. Сражаясь за Сталинград, наши бойцы творят новые методы боя, находят новые приемы наиболее полного и широкого использования мощи своей техники, так же, как в свое время защитники Сталинграда на его великодушных зовах творили новые эффективные методы использования машин.

Одним из таких творцов новых методов боя является летчик-штурмовик Иван Петяго. На своем самолете, одном из тех, которых немцы зовут «черной смертью», он летает на бреющем полете прямо по улицам Сталингра-

да, бомбя и расстреливая засевавших за баррикадами немцев, огнем своих пушек и пулеметов поражая тех, кто засел в домах. На днях летчиком Петяго во время одной из таких штурмовок был атакован «Мессером». Петяго расправился с ним особым, одному ему доступным способом. Хитро увернувшись от атакующего врага, он, пролетев улицу, ловко развернулся на площадь и заставил преследующего его противника на всем ходу врезаться в телеграфный столб.

Летчик-бомбардировщик Тимофей Максеев нашел, что бомбовая нагрузка самолета, установленная на заводах и практиковавшаяся до сих пор, мала.

— Нагрузка не для таких сражений, как сталинградское, — определил он и смело увеличил ее на тридцать процентов.

С волшебным следил за полетом его боевые друзья. Эксперимент мог стоить не только машины, но и жизни товарища. И Максеев вернулся из полета, как всегда веселый и оживленный.

— Увеличение нормы горячих гостиниц для немцев состоялось на большой, — озорвато доложил он.

После этого эксперимента он почти удвоил бомбовую нагрузку. С его легкой руки началось движение за увеличение бомбовой нагрузки во всей части. Пилоты сбрасывают теперь на немцев на тридцать — сорок процентов больше, чем раньше. Это так и зовется — «максеевская порция».

Те, кто летает сейчас над окружающим Сталинград степью, видят внизу сотни разбитых, искаленных машин с белыми крестами. Летчики могут гордиться — это их работа. На днях они сбили одного из лучших асов Германии графа фон Эйзенштедта, правнука Бисмарка, летавшего на специально сделанном для него самолете с графским гербом Тулой и ладменно заносчивый вначале и залскивающе лебезящий потом, когда он убедился, что его титул и громкое имя не произвели тут никакого впечатления, он мертвым, граммофонным голосом говорил заученные слова о непобедимости немецких летчиков:

— Маршал Геринг говорит, что самый плохой немецкий пилот стоит десяти английских или русских...

— Но ведь вас же сбили.

Он пожимает плечами. Ему нечего говорить. Вдруг в узких блекло-голубых глазах его, похожих на алюминевые пуговицы, вспыхивает, загорается какая-то искра жизни.

— Скажите, господин офицер, зачем вы русские, так упорно защищаете эти бесценные степи и развалины этого города? Почему ваши летчики дерутся против всяких пра-

вид, и даже тогда, когда их положение невыходно, не желают слагать оружие? — Он вопросительно раскрывает свои белые свинные ресницы. Он искренне не понимает. Потомок «железного канцлера», продавший свою шапку и свое летное мастерство разбойничьей гитлеровской шайке, так и не мог понять, почему советскому человеку так дорога родная земля, матушка-Волга, город Сталина.

## 8. НА ПЕРЕПРАВЕ

Когда в такой битве, как сталинградская, выпадает вдруг тихая минута, перестает дрожать от разрывов земля и начинаешь слышать взвизг отдельной пули и гудение недалекого пожара, даже самому закаленному бойцу становится как-то не по себе.

Именно в такую минуту он и подполз ко мне по сухой истертой соломе, тронул рукой шинель и спросил:

— Не слышишь? Дай огоньку. Закурим.

Мы — пожилой усатый сапер с моторного парома, раненная в плечо девушка-санниструктор из медсанбата и я — сидели в тесной, вырытой в крутой сталинградский берег землянке возле переправы, ожидая, пока на том берегу починят разбитый снарядам паром.

Паромщик нервничал, поминутно выбегал наружу. Ему было страшно досадно, что он здесь не может принять участия в починке, и чтобы занять время, он в третий раз принялся разбирать и чистить старую свою винтовку, казенную часть которой он бережно обертывал обрывком портянки от пыли.

— Так закурим, что ли? Не куришь? Вот это гравально. Я тоже сорок семь лет не курил, а вот на сорок восьмом не вытерпел. Здесь, в Сталинграде, и закурим... Тут закурим. Я за эти два месяца тут на переправе такого посмотрелся, что вы оба, даром что воевшие, за всю жизнь, поверное, не видели. Право.

Он закурив большую пужлюже свернутую цыгарку и, глядя на ее огонек, точно не рассказывая, а думая вслух, продолжал:

— Я человек тихий. Работа у меня была тоже тихая. Старатель я, золото в артели был. Сам-то я с Урала, значит. Так вот я бывало даже на охоту ходить не любил, хоть мы все и охотники, из-за того, что на кровь я не мог смотреть спокойно. И если охотиться доводилось, лалил зверя или там птицу бить паповал, чтобы не смотреть, как она трепыхается.

И вот, когда я попал на войну, очень обрадовался, что попал в понтонную часть, потому что понтонеры стрелять мало приходится. Я все не представлял себе, как это я

вдруг да в человека выстрелю. Ну ладно, попал я в понтонеры... Как я воевал до Сталинграда, это, конечно, не интересно, но, одним словом, в августе приехали мы сюда, на этот самый берег, паводить запасные переправы. Я, конечно, обрадовался. О Сталинграде кто не слыхал! Уж на что мы, старатели, живем, можно сказать, в самой глухой тайге и дразнят нас медведями, а и те каждый знает, что есть такой город на Волге, который в восемнадцатом году товарищ Сталин сам защищал и возле которого белых в пух и прах расколотил. И насчет тракторного завода это мы тоже все знали.

Так вот повели мы свою переправу и пошли город смотреть. Расчудесный город, сердце радуется: чистый, просторный, а какие дома, а магазины, а улицы — все для трудящегося человека. Нашли мы дом, где был сталинский штаб. Доска на нем каменная была прибита. Поставили перед этим домом, и хотя мы саперы и стрелять нам приходится редко, лестно нам было, что мы такой город защищать будем, который именем Сталина зовется, который сам Сталин защищал.

А день был воскресный, ясный. Ребятишки на бульварах в песке копались, девчата и бабы в ярнх платьях по улицам гуляли.

И вот, понимаете, в этот самый тихий воскресный день врут со всех сторон палатели немецкие бомбардировщики — штук сто или больше. И ну мирный город утюжить, прямо по улицам, по жилым домам, квартал за кварталом. Одни отбомбятся, другие летят. И весь этот город, который сердце радовал, мирный, такой спокойный, праздничный, вслихнул, как сухой пихтач в жаркое лето.

Пам-то с Волги все видно было. Сразу все занялось в разных концах. Наши самолеты на немцев налетают, сбивают их, но тех влетеро больше, и лезут, и лезут со всех сторон, и бомбят, и бомбят город.

Видел я однажды, в детстве, как в сухой год тайга горела. Несмысленшем был, а все как есть помню, и как пламя ревели, и как зверь из лесу со страха на людей бежал. Думалось, что ничего страшней и видеть не придется. А вот привелось. Это куда пострашнее. Не город, а целая гора огня, и из нее бегут к Волге бабы, ребятишки мелкие, старики. Мечутся, сердешные, по берегу, хороятся по балочкам, да нешто ухорониться. О барахле никто и не думает. Лишь бы ребят спасти.

Мы, понтонеры, в ту ночь крепко поребсали. О себе забывали и думать. И под бомбами, под пулеметами всю ночь перевозили беженцев за Волгу. Да разве всех сразу переправим? А немец все бомбит, улицу за улицей, квартал за кварталом. На берег, где

население скопилось, палетели его «Мессера». Они, как коршуны, падали из-под облаков, выбирали где полюдней да из пулеметов по бабам, по ребятишкам.

Я перевожу, и сердце у меня рвется на части. Много я на войне повидал, но о таком и думать не приходилось. Все никак верить не хотелось, что могут люди этак вот поразбойничьи мирный город жечь, что поднимется у человека рука в баб да в ребятишек стрелять.

Опять повторяю, я тогда пемцев людьми считал и все думал, что не видят они в темноте, что думают, войска это или что.

По вот солнышко из-за дымов поднялось, большое, красное, точно в крови. И день был ясный, чистый — маковое зернышко увидеть можно. И вот эти самые «Мессера» еще ниже летать стали, и все из пулеметов, из пулеметов по беженцам. А то выберет где полюднее бабы сконились, и в самую средину бомбу и ахнет. Выстрелы, рев, крики.

У меня сердце стало тяжелеть от злости: что же это вы делаете, сволочи? Пешто это война? Пешто можно так вот по мирным жителям, по бабам, по ребятишкам малым? И ведь до чего озверели они, эти самые немцы, чуть было опять не назвал их людьми. Зенитки по этим «Мессерам» бьют, загораются они, в воду летят, а новые и новые, как воронье на кровь летят и все стреляют, стреляют по беженцам. Прыгает ко мне на паром старик. Седой, весь в крови. На руках у него двое малышей, один мертвенький, другой еще дышит, по ножки оторваны. Старик совсем обезумел, кричит:

— Проды, разве можно так по младенцам? Господи! Потом как рухнет на палубу, как залетится: внучки мои, внучки! А потом опять немцам:

— Проты! Будьте прокляты, проды, этные и до века!

— А потом женщину принесли раненую. Умирала она, а ребенка к груди прижимала, и все поровила телом его своим прикрыть от нуля...

Голос у сапера дрогнул, сорвался. Он сделал вид, что поперхнулся крепкой махоркой, и, отвернувшись, украдкой смахнул кулаком слезу. А девушка из медсанбата, затаившись в темном углу землянки, вся окаменела от напряжения. В ее больших голубых, совсем еще детских, глазах горел неистовый гнев.

— Ну вот, — оборвал себя сапер. — А то вот, помню, в самый холодень было, зажгли эти проды с воздуха пароход с ранеными. «Композитор Бородин» назывался. Большой пароход, а вспыхнул как береста. А раненые все тяжелые, лежащие. Горит пароход, а

они ползают по палубе, из окон повисовывались, кричат, плачут, ругаются. Ну, тут, конечно, со всех сторон к ним на помощь лодки кипулись. Окружили, стали раненых перетаскивать. Ваши вот — он кивнул в сторону девушки из медсанбата — ох, и молодцы девчата, и характерные — будь здоров. Пароход полыхает, волосы, юбки у них загораются, а они знай себе посят раненых, в лодки их опускают... Спасибо тут наши самолеты налетели, разогнали «Мессеров», а то бы сколько раненых погибло и-и-и! Да, насмотрелись мы в эти дни...

— А вечером немцы опять бомбой подбили большой пароход, на котором ребятишек из детдома вывозили. Этот что-то быстро стал тонуть. С берега, с других пароходов мы, саперы, матросы, рыбаки, ошять на лодках поехали. Стали ребят спасать. А «Мессера» над пароходом кругами ходят, и с пущек, и с пулеметов стреляют — не дают. Ребятишки тонут. Ручонки их из воды к нам тянутся. Страшно. И вот еще, помню, женщина одна молодая, когда пароход уже набок креноло, прыгнула в воду с маленьким в руках. Должно быть, хорошо плавала. Лггла на спину, ногами работает, а ребенка руками над водой приподняла. Гребу к ней изо всех сил, а сам кричу:

— Подержись, подержись, милая, сейчас сейчас!

Уже руку было к ней протянул, чтобы маленького взять. Хватя, — тут один «Мессер» над самой головой как черкнет, как резанет из пулемета. Камнем, сердечная, ко дну пошла, вместе с ребенком. Только вода в этом месте покраснела.

Сапер вдруг сорвался с повествовательного тона и с ненавистью закричал:

— Разве это люди? Разве человек это может? Я человек тихий, до войны белку, и тут бить жалел, а вот сейчас поглядел на все это, и сердце у меня корой покрылось, стало твердое, как камень. Ведь я сапер, при деле и дело у меня тут, сами видите, нелегкое — под миной, под пулей переправу поддерживать. А вот завидую я бойцам, тапкистам, летчикам, которые там воп, в городе, по немцам стреляют. Как подумаю я о немцах — нет мне покоя, ожесточилось мое сердце.

Тут как-то этих немцев целый гурт пленных провели. На нашем пароме на ту сторону переправляли. Идут они небритые, грязные, рваные, как овцы, друг к другу жмутся. Я гляжу на них, и душа горит: может, который-нибудь из них вот по той жеппине ребенком очередь пустил, и не могу я спокойно смотреть на эту печисть, и до той они мне противны, что снял я от греха вид

товку и отдал ее своему товарищу, бойцу Сене Куликову:

— Возьми, пожалуйста, боюсь не стерпит мое сердце.

Перевез я эту погань, пошел к своему командиру, капитану-инженеру, доложил по форме, — так, мол, и так, прошу откомандировать меня в строевую часть. Нет мне покоя, покада я кровью с пемцем не поквитаться. А капитан-инженер говорит: не могу, говорит, я тебя отпустить, потому что ты специалист своего дела и тут нужен. А я свое: отпустите на передовые. Он слушал, слушал... Ладно, говорит, если уж тебе очень невтерпез воевать, буду отпускать тебя в свободную смену в город. Фронт рядом — полчаса ходу, — постреляй и к своей вахте назад.

— Да, ну вот... Так вот я теперь и делаю. Ночью отдежурю на переправе, а потом иду на курган, к матросикам, тут километрах в трех на передовой у них позиция. Сяду и жду. Мы ведь таскарики-охотники, я ждать умею. Мимо тоже не промахиваю. Виптовка у меня хорошая, трехлинейная образца 1891 года. Раньше я белке дробинкой в глаз попадал, чтоб шкурку не портить. Сейчас немца в лоб режу. И ни разу рука не дрогнула, не промахивался.

— Сколько уж я их прикончил, а душе нет покоя. Все мне эта женщина с ребенком в воде мерещится. И руки зудят — не могу. Не успокоюсь, должно быть, пока хоть один немец на нашей земле ходит или пока меня самого пуля не найдет.

Сапер замолчал. Немолодой, коренастый, усатый, с глубокими морщинами на лице и на шее, это был типичный русский солдат с какой-нибудь верещагинской картины. И лицо его было, в эту минуту суровое, замкнутое, как у человека, который только что дал торжественную клятву.

Я спросил у него его имя, и он ответил просто:

— Фоминых Песдор Николаевич, — боец-попгопер отдельного саперного батальона.

## 9. СТЕНА СТАЛИНГРАДА

Майор из войсковой разведки показал мне сегодня пришлое, заносимое письмо, только что найденное в противогазе убитого немецкого сапера Гельмута Вайнсдорфа.

На конверте круглым, аккуратным почерком был выведен адрес: Буксхафен, Альтенштрассе, 27. Фрейлейн Эрне Виллер.

Вот выдержка из этого письма, подчеркнутая синим карандашом разведчика:

«Эрихен! У меня новость. Вчера наш батальон срочно сняли с укреплений, ко-

торые мы строили последние две недели, и повезли далеко, за 300 километров, к Сталинграду, который наши доблестные войска, привыкшие к солнцу и к победам, до сих пор почему-то не могут взять.

Наш командир пояснил нам, что большевики успели окружить этот город огромной каменной стеной, и из-за этого наше наступление несколько затормозилось. Что ж, мы саперы, взорвем эту стену, первыми ворвемся в этот большой город, и тогда моя Эрихен снова получит много красивых и вкусных вещей, а ее котик, быть может, вторую медаль и даже долгожданный крестик».

Эрихен не получила обещанной посылки с награбленными вещами и лакомствами. Ее котик остался не только без вожделенного Железного креста, но и без березового, так как труп его товарища бросили, вместе с десятками других трупов, на одной из улиц западной окраины Сталинграда, откуда их выбили наши гвардейцы. И самое письмо очередного фашистского мародера настолько обычно, можно сказать, стандартно, что его не стоило бы приводить, если бы не упоминание об огромной каменной стене, которой якобы успели окружить Сталинград.

Это письмо было найдено 23 октября, в день, когда исполнилось два месяца с тех пор, как поле боя прорывнулось непосредственно к окраинам города.

Эти два месяца стали черными месяцами немецкой армии, никогда еще ни в одной битве не терявшейся на узком участке столько людей и техники. Много немецких дивизий уже разбиты, перемолоты или совершенно растрепаны и обескровлены. Тысячи и тысячи немцев, итальянцев, румын, бесславно погибли в боях у окраин исторического города. А Сталинград, этот город-герой, город гнева, город мести, попрежнему гордо стоит над Волгой, отбивая одну за другой немецкие атаки, иногда по десять, даже по пятнадцать атак в день.

Чувствуя свое бессилье взять город, понимая огромную ответственность за чудовищные потери, чувствуя, как падает боеспособность солдат, немецкое командование придумывает глупую версию о гигантской стене, про которую пишет со слов своего командира сапер Гельмут Вайнсдорф.

Неумная, бездарная басня!

Огромный город стоит в голой степи, открытый со всех сторон. Он вытянулся по берегу Волги узкой лентой улиц, поселков, заводов и фабрик на протяжении 56 километров и в тактическом отношении очень труден для обороны. И то, что немцы, несмотря на

отчаянные попытки, до сих пор не сумели его взять, объясняется не мифической стеной, выдуманной ими от бессильной злости, а мужеством и чудесной отвагой его защитников.

Воинская стойкость, боевое упорство, героическая любовь советских людей к городу Сталина — вот та стена, крепкая и непреступная, о которую оша за другой вдребезги разбиваются немецкие дивизии и корпуса. Тут, у Сталинграда, эти черты, искони, с древнейших времен отличавшие русских воинов, невиданно развились и расцвели. Каждый день, каждая новая схватка выдвигают новых и новых героев, подетать энциклопедическим богатиям.

Мне никогда не забыть речь красноармейца Байсорина, смуглого, черноглазого, гибкого, как камышишка, узбека, произнесенную им за несколько минут перед атакой немцев на только что занятой нами сталинградской улице.

— Я буду говорить на родном языке, но все вы меня поймете. Поймете потому, что мысль у нас сейчас у всех одна — убить немца. И задача у нас одна — отстоять Сталинград. Я получаю письма из дому — и у друзей, и у родных моих та же мысль. Убей немца, — пишет мне старый отец. Отбей врага от Сталинграда, — пишет мне любимая девушка. Не пускай изверга на Волгу, — пишут мне друзья с других фронтов. И я, как могу, выполняю просьбу моего отца, приказ моего народа. Сталинград — мой город. Волга — моя река. Немец — мой враг. Если в бою лишусь правой руки, я возьму винтовку в левую руку и буду стрелять. Если мне пребьет осколком ноги, я буду стрелять лежа. Если у меня не будет ни рук, ни ног, я вцеплюсь в горло врага зубами, и пока сердце бьется во мне и глаза мои видят свет солнца, я буду бороться с врагом.

Узбекский юноша говорил на родном языке, но он говорил так взволнованно и страстно, что все бойцы понимали его, а друг его узбек, непоптом переводивший мне эту речь лучшего разведчика части, все время говорил: — Правильно говорит, сердцем говорит, душой говорит.

В первые же дни борьбы за Сталинград весь фронт узнал имена 33 бойцов. 33 простых русских, украинских и белорусских парней, задержавших на подступах к городу 77 немецких танков, и не только задержавших, но и разгромивших танковую колонну, уничтоживших 27 машин и оставшихся при этом живыми.

Их подвиг казался неповторимым образцом воинской стойкости и мужества. Но уже через несколько дней его превзошел наводчик

орудия грузин Пицхелаури. Тапковому палету на участок, который он защищал со своим противотанковым орудием, предшествовала сильная воздушная бомбежка. Весь расчет пушки был уничтожен. Когда шесть немецких танков ринулись на улицу, возле нее лежал только один оглушенный, раненный в голову Пицхелаури.

Услышав лязг вражеских машин, он нашел силы подняться. Зарядил орудие. Первым же выстрелом подбил головной танк. Остальные открыли огонь по одинокой пушке. Осколком снаряда Пицхелаури был вторично ранен в голову. Ему не было времени даже завязать рану. Танки лезли все ближе и ближе. И он снова выстрелил, и еще один танк застыл у позиции. Затем, подпустив немцев еще ближе, он произвел еще два выстрела и подбил еще две машины. Два танка были совсем близки от позиции Пицхелаури. Танкетки отлично видели, что у пушки действует всего только один человек. Но вид этого окровавленного и продолжавшего стрелять красноармейца был так страшен, а выстрелы его так метки, что два танка повернули назад. Так раненый человек вышел победителем в единоборстве с шестью бронированными машинами.

В одном из подразделений, сражающихся на южной окраине Сталинграда, гремит слава снайпера-узбека Хинда Худжеметова. Ночью, взяв винтовку с оптическим прицелом и набросив на себя маскировочный плащ, сделанный из обрывка рыбацкой сети и пучков полыни, он уходит в стень к дорогам, по которым немцы подтягивают подкрепления, ложится и целый день терпеливо ждет, когда над ровным степным горизонтом покажется силуэт движущегося по дороге немца. Тогда он ловит его в окуляр прицела, и этот немец становится трупом.

Так на подступах к Сталинграду сын старого бухарского охотника уничтожил 113 врагов.

В мирной жизни он был хлопкоробом, мечтал стать инженером-текстильщиком. Сейчас его зовут «охотник за фрицами». Десяти однопольчан стараются научиться его искусству. С недавних пор он уходит в стень не один. Вместе с ним идут высокий стройный грузин Ромашовили и коренастый, маленький, молчаливый казах Абрухадан Велдинов. Теперь втроем они стерегут вражьи дороги и разят немцев на подступах к городу.

Грузин убил уже 11, а казах 7.

113 немцев. Это ведь целая рота! Целую роту врагов уничтожил в одиночку молодой чернокудрый, черноглазый узбекский парень. Казалось, трудно превзойти эту меру мести, меру воинского мастерства. Но в другой ча-



сти, на северной окраине Сталинграда, сражается пожилой сибиряк Николай Волков, 42-летний человек, который ненавидит немцев так же горячо, как юный узбек Худжметов. Он уничтожил под Сталинградом 118 немцев.

В небе сражается известный советский ас, сын Азербайджана Ахмет Хан Султан. Он совершил 287 боевых вылетов. В великой битве за город Сталина он вогнал в землю 7 немецких самолетов и 19 сбил в содружестве с другими летчиками. Недавно в бою над Волгой он израсходовал весь боекомплект. Но немец-бомбардировщик был жив, он вез на город свой смертоносный груз. И Ахмет Хан, не задумываясь ни на минуту, бросил свой истребитель прямо на вражескую машину. Немец не довез бомбы до Сталинграда. Он рухнул вниз и взорвался в стени. Наш ас, израсходовав боекомплект, благополучно посадил машину на своем аэродроме.

Плотной стеной стоят у Сталинграда совет-

ские люди — русские, украинцы, белоруссы, грузины, казахи, узбеки, евреи — сыны многонационального нашего народа.

Стеной мужества, стеной воинской доблести, стеной беззаветной отваги окружили они исторический город на Волге, город Сталина. одинаково родной и дорогой сердцу каждого советского человека. И об эту могучую стену, превосходящую по своей крепости все военно-инженерные сооружения мира, разбиваются в прах хваленые бронированные орды дикарей современности.

Сталинград можно разбомбить, разрушить, сжечь, но его нельзя взять, покорить.

Сталинградец может честно умереть в бою, но никто и ничем не может сломить его боевого упорства, которое так же крепко, как любовь сталинградца к родному городу и к тому, чье великое имя он носит.

Сталинград.

Сентябрь — октябрь

А. МЯСНИКОВ

## Литература и война

(16 месяцев)

Шестнадцать месяцев назад началась Великая отечественная война советского народа против фашистской Германии.

Был ранний час, наверно, лучший  
в мире,  
Начало жизни, песен и труда.  
Младенцев кротких матери кормили,  
Пылили по степным пляхам стада.  
Шла в пионерском лагере зарядка...  
Пел песенку задумчивую дрозд.  
Страна дышала в мирном изобилии,  
В свёрканья жизни, песен и труда...  
В то утро раннее враги бомбили  
Советские порты и города.

(П. Антокольский, «Страница новой истории»)

Советский человек, труженик и строитель, стал воином. Вся энергия, вся страсть и сила создателя социалистического государства переключилась в гнев и ненависть к врагу, в одно всепоглощающее чувство — остановить, разбить и уничтожить врага, отстоять родную землю и свой народ.

Война — испытание характера не только человека, но и всего народа... «У всякого народа, — писал Белинский, — своя история, а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о силе и величии его духа, и, разумеется, чем выше народ, тем грандиознее царственное достоинство его истории, тем поразительнее трагическое величие его критических моментов и выхода из них с честью и славою победы. Дух народа, как и дух частного человека, выказывается вполне только в критические моменты, по которым одним можно безошибочно судить не только о его силе, но и о молодости и свежести его сил».

Война, распахнувшая души людей, обнажившая глубочайшие основы человеческого существа, дала нашим «инженерам человеческих душ», писателям, вдохновеннейший материал. Бальзак замечал, что настоящие художники «всегда изучали состоящие атмосферы человеческих чувств... шупали пульс своей эпохи, чувствовали ее болезни, наблюдали ее физиономию, изучали ее настроение: их книга или персонаж всегда были звучным, сверкающим призывом, которому отвечали в каждую данную эпоху современные идеи, зарождающиеся фантазии, тайные страсти». Пульс нашей эпохи напряжен до предела, атмосфера человеческих чувств накалена. Мы, свидетели небывалого героизма, небывалых подвигов, мы, современники 28 гвардейцев и Зои Космодемьянской, чувству-

ем всем сердцем и умом нашим потребность в книгах, которые скажут нам мудрую правду о наших днях, раскроют душу и ум тех людей, которые громили немцев под Москвой, защищали Севастополь, жили, боролись и работали в осажденном, но не побежденном Ленинграде, обессмертили себя в битвах у Сталинграда. Мы ждем повествования о параде-герое, о героизме, который стал нормой человеческого поведения.

Только поверхностному наблюдателю кажется, что работа писателя упростилась в когда от людей требуют прямых и честных поступков и человеческий характер скорее раскрывается в своих основах. Нет, изображение подвига, всегда оригинального, всегда самобытного, труднейшая задача искусства.

В. И. Ленин так определил роль и значение искусства в жизни страны: «Искусство принадлежит народу, — говорил он Кларе Цеткин. — Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их»<sup>1</sup>.

В условиях войны это значит, что искусство должно помочь народу понять особенности переживаемого момента в его истории, глубже познать себя и врага, освоить сложное мастерство ведения войны, воспитать чувство веры в правоту своего дела, в мощь своей страны, углубить любовь к родине и горячую ненависть к фашизму, слить идейное вооружение и эмоциональное воздействие, в несокрушимое упорство, в волевое напряжение всех сил человека для грозного удара по врагу. Ленин учил, что искусство комплексно действует на различные стороны человека, что оно объединяет людей, поднимает их. Нет нужды доказывать, какое огромное воспитательное значение имеет в нашей справедливой отечественной войне действительно художественное произведение.

Советская литература нашего времени стала воюющей литературой.

«Любить свою родину, — писал пламенный патриот В. Г. Белинский, — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества, и по мере сил споспешествовать этому». — Наш народ

<sup>1</sup> В. И. Ленин, «О культуре и искусстве». Изогиз, 1938, стр. 299.

двадцать пять лет в напряженной борьбе строил молодое советское государство, осуществляя на земле идеалы лучших умов человечества,

...землю, которую завоевал  
и полуживую вынырнул,  
где с пулей встань, с вишговкой ложись,  
где каплей льнешься с массамаи,—  
с такую землю пойдешь на жизнь,  
на труд, на праздник и на смерть!

Первыми литературными откликами на войну были патетические, декларативные выступления наших писателей-патриотов, которые спешили поделиться с народом своими мыслями и чувствами в первые грозные дни войны.

С огромным эмоциональным напряжением советские писатели говорили о родине, о ее славной истории, о народном героизме, о свободе, которая стала воздухом нашей страны, о великих достижениях нашей строительства. «Родина» — так названа одна из прекрасных статей Алексея Толстого. Это слово приобрело какой-то новый смысл, по-новому засияло на страницах наших газет и журналов, в устных выступлениях. «Все наши мысли о ней,— писал А. Н. Толстой,— весь наш гнев, ярость — за ее поругание, и наша готовность умереть за нее. Жертвенность, как тень, всегда сопутствует напряженной и большой любви. Как юноша говорит своей возлюбленной: «Дай мне умереть за тебя»... Родина — это движение народа по своей земле из глубины веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущий свой язык, свою духовную и материальную культуру, и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле». (А. Толстой, «Родина»).

Эти произведения, полные пафоса и гнева, останутся прекрасными литературными памятниками, где острота публициста органически сливается с взволнованным чувством поэта, где исторические рассуждения переплетены с лирикой, где думы о себе и своей жизни неотделимы от дум о своем народе и своей родине. Эти вещи трудно отнести к какому-то определенному жанру, назвать очерком, статьей или рассказом. Они напоминают то пафосную декларацию, то исторический очерк, кровно связанный с современностью, то отрывок из речи трибуна, порой они кажутся страницей из рассказа, памфлетом или стихотворением в прозе. Литературоведы в будущем, очевидно, найдут для них какое-нибудь точное жанровое определение, сейчас для нас эти произведения — неостывшие драгоценные слитки наших лучших чувств и дум.

Образ Родины всегда был пред глазами лучших русских писателей. С началом войны советские патриоты, естественно, делают эту тему основной, всепоглощающей, всеобъемлющей. Вспикнем же в ее содержание. Советские люди не ограничивают понятия родины своим родным углом, хотя мыслят ее так конкретно, как это дает лишь самое близкое знакомство... Вспомним одну из сцен пьесы Симонова

«Русские люди». Валя Алющенко говорит капитану Сафонову: «А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина... и, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас в Ново-Николаевке изба на краю села стоит, и около речка и две березки. Я качели на них вешаю. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Может, это не хорошо?» — «Нет, хорошо», — заметил в ответ Сафонов. «А как вспомню, березки,— продолжает Валя,— около, вспомню, мамма стоит, и брат. А брата вспомню, вспомню, как он в позапрошлом году в Москву уехал учиться, как мы его провожали и станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню. И все, все вспомню, потом подумаю: откуда вспоминать начала? Опять с двух березок. Так, может быть, это нехорошо?— волнуется Валя.— Иван Никитич?» — «Нет,— утверждает Сафонов,— это хорошо. Это мы, наверное, все так вспоминаем, каждый по-своему...»

Правильно говорит капитан Сафонов — каждый по-своему любит свою родину. Но, все, кто любят — любят горячо и самоотверженно. Для Вали она начинается с избы на краю села и двух березок у речки, а расширяется до Москвы, до всей страны. Очень хорошо замечает Горбатов в одном из «Писем к товарищу», что чем больше растет человек, тем шире раздвигаются для него границы родины. В нашей стране каждый гражданин ответственен за судьбу всей земли, всего народа. Это хорошо дал почувствовать Гроссман в своей повести «Народ бессмертен». Писатель рисует передний край нашей обороны. В вырытых окопах, по грудь в земле, стоят бойцы, ожидающие атаки немецких танков. Они знают: за их спиной — пулеметчики, дальше стрелки, еще дальше артиллерия, затем командный пункт, медсанбат, штабы, аэродромы, дороги, заставы, затемненные города, Москва, еще дальше.— широкая Волга, тыловые заводы Сибири, залитые ярким электрическим светом. Писатель заставляет читателя увидеть всю страну.

Писатель Бор. Горбатов рассказывает: к нему подошли колхозники из села, рядом с которым кипел бой. Он ожидал, что его спросят о ходе боя и был удивлен, когда колхозники стали с тревогой расспрашивать о Ленинграде, где они никогда не жили, где не было ни одного их родственника. «Тогда я понял,— писал Горбатов,— что такое родина: это когда каждая хата под седым очеретом кажется тебе родной катой и каждая старуха в селе — родной матерью» («Письма к товарищу»).

Чувство перспективности в ощущении родины — большое чувство, оно вырастает у народа только на очень высокой ступени его самосознания, оно неразрывно связано с тем, что народ сознает себя хозяином своей великой страны. Если колхозник украинского села с болью и гордостью говорит о сражающихся в Ленинграде или боец переднего края обороны на Западном фронте чувствует свою ответственность за залитый

электричеством промышленный город Урала, то, значит, эти люди по праву считают себя хозяевами родной земли. Здесь дело, конечно, не в знании географии, а в новом социальном чувстве советского человека. Советский человек считает своей всю территорию от Карпатских гор и Балтики до Тихого океана. Вряд мог временно захватить часть этой земли, но отнять ее он не сможет. Многонациональная родина советского человека едина, неразделима, непокорима.

По мере развития литературы Великой отечественной войны, тема родины, оставаясь основной, все шире и глубже освещается нашими писателями. Следуя лучшим традициям русской литературы, советские писатели говорят о красоте родной земли, подчеркивая единство человека и природы природы. Чтобы жить, человек должен есть, пить, иметь жилье и одежду — материальные условия существования. Для советского патриота этого мало — он еще должен быть свободным, иначе он не сможет жить, не сможет работать, не сможет любить, красота мира погаснет для него. Горячая любовь к родной природе — одна из сторон любви патриота к родине.

Вспомним некоторые сцены из повести Гроссмана «Народ бессмертен». Комиссар Богарев ночью лежит в лесу, накрывшись шинелью. «Луна медленно двигалась меж черных стволов по синему небу... А под соснами все время слышался шелест, словно тысячи муравьев работали в ночную пору, — это капли росы соскальзывали на землю с масляно-скользких сосновых игл. Роса накапливалась, созревала на зеленых острях, вода стекала по желобку иголок, и капли, наливаясь, зрели и светлели в лунном свете... А мир содрогался от ударов войны, она влезла под вспаханную землю, ушла под воду, поднялась на десять тысяч метров над землей, она бушевала в лесах, на полях, над тихими прудами, поросшими ряской, над реками и городами, она не знала ни дня, ни ночи. И Богарев подумал: «победа в этой войне Гитлер, — для мира не станет солнца, звезд и такой прекрасной ночи, как эта». Так думает не только комиссар Богарев, но и все советские люди. Когда командующий армией, — рассказывает Гроссман, — разворачивает перед босм карту, то он видит на ней не только топографические значки, а родную землю с дремучими лесами, с утренними туманами, с деревушками, разбросанными на берегах обрывистых рек, с бесконечными полями хлеба. И перед босм, когда все чувства людей напряжены, когда людей ждет тяжелый труд, а может быть, и смерть за родину, особенно прекрасной встает перед бойцами родная страна — они приглядываются к каждой мелочи вокруг себя. «Ветер приносит с поля теплый и печальный запах вянувших цветов и сохнувших трав: в полутьме леса, внезапно пронзаемой солнечным светом, вдруг пыльной радугой заблестит увлажненная росой паутина, словно дохнет чудо спокойствия и мира». Боец Родимцев

видит перед собой только один аршин земли. «А сколько такой земли, леса, — думает он, — сколько бесчисленных аршин, где жизнь... Сколько работы!»

Но природа — не безучастная свидетельница событий. Командир полка Мерцалов увидел с холма несжатую пшеницу, волнуемую ветром. Желтые колосья клонились к земле, обнятая бледное тело стеблей. Поле становилось из янтарно-желтого бледнозеленым. Казалось майору, что «смертная бледность пробегала по пшенице... словно поле бледнело, ужасаясь уходу русского войска». «Война эта всей жизни коснулась», — говорит боец Игнатьев. Гибнут дремучие леса, сгорают сады, птицы пугаются самолетов, собаки лезут в погреб, слышав вой сирен.

Советский патриотизм сложный и многогранный комплекс чувств и понятий. Одной из особенностей его является историчность советского понятия родины. Наш народ помнит свою историю, гордится ее героическими страницами. Мы знаем: наши предки оберегали земли, на которых мы живем, отвоёвывали их от насильников и грабителей: они корчевали пни и впервые распахали поля, они положили первый камень там, где сейчас построены наши города. Десятки поколений в напряженном труде строили многонациональное и могущественное государство и его культуру. Труд и культура наших предков органически влиты в нашу сегодняшнюю жизнь. Народ это хорошо знает.

И когда в военное время он, оглядываясь назад, видит героическую и трудовую историю своего развития, в нем крепнет уверенность в победе над врагом.

В. И. Ленин в 1914 году написал свою известную статью «О национальной гордости великороссов». «Мы любим свой язык и свою родину», — говорит Владимир Ильич. Мы гордимся тем, что русский народ выдвинул «Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов», русский пролетариат создал партию большевиков, поднял к борьбе многомиллионное крестьянство. Русская нация «создала революционный класс», доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм<sup>1</sup>.

В ноябре прошлого года, когда осажденная Москва ожесточенно боролась с наступающими немецкими ордами, мы услышали по радио спокойный и уверенный голос вождя. Товарищ Сталин, призывая народ к беспощадной борьбе с врагом, напомнил ему имена великих полководцев, мыслителей, общественных деятелей, писателей, музыкантов, живописцев, которые строили наше государство и нашу культуру. Народ, рожденный таких сынов, непобедам! История народа, деяния его великих людей вдохновляют на новые подвиги.

Из поколения в поколение передает народ сказания о значительных событиях своей истории в песнях, былинах, посло-

<sup>1</sup> Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 81.

внях и поговорках. Народ, так бережно песунный страницы своей истории,—исчезающий народ.

Эта историчность мышления русского народа превращает отражение и в прозаических эпохи Великой отечественной войны.

«На нас всей тяжестью легла ответственность перст историей нашей родины»,—пишет А. Н. Толстой. И на страницах его «Родины» возмает величественная зоря истории русского народа, образы древнего государства, его битв, его борьбы с врагами. И какой уверенностью звучат заключительные строки этого замечательного произведения: «Земля отчизны и дедич не мало поглотила полчищ павших на нее насильников. На Западе возникли империи и гнили. Из великих становились малыми, из богатых—нищими. Наша родина ширилась и крепла, и ничто не могло пошатнуть ее. Так же и без следа низложит она и эти немецкие орды. Так было, так будет».

Писатель М. Шолохов разговаривал с 83-летним стариком, охранявшим колхозное гумно. Старик говорил писателю о своем деле, который рассказывал ему о войне с Наполеоном. Собрал Наполеон «своих «мюратов и генералов» и сообщил им о войне с Россией. Те усомнились в победе: «тержава даже серьезная». Наполеон указал на звезду, которая предсказывает ему победу. «Думаю своим стариковским умом, что такая же глупая звезда и этому германскому начальнику привиделась»,—заключил свой рассказ собеседник Шолохова.

Это чувство истории хорошо выразил Маршак в стихах:

Бьемся мы здорово,  
Рубим отчаянно,  
Внуки Суворова,  
Дети Чапаева.

Народ знает, что чудесная страна построена его трудом, и он должен записать себя и труды своих предков. «Ты потомственный рабочий.—паломника старик-отец лейтенанту Герасимову,—прадед твой еще у Строганова работал: наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтоб ты на этой войне был железным. Власть-то твоя» (М. Шолохов, «Наука не лавирует»).

Легендарные походы гражданской войны, овеянные романтической славой, по новому воспринимаются в наши дни.

«Огнь смотрят на нас с надеждой: ну, ка дети, не озоруйте нас»,—говорит Борис Горбатов в одном из «Писем к товарищу». «Херсонские курганы зовут нас к славе. Матрос Железняк учит пробиваться штыком и гранатой сквозь вражеский строй. Пули полют над нами, южный ветер хлопает крыльями, бронепоезд выплел с запасного на боевой путь. И девушка пала в походной шинели горящей Казахкой шлет...»

С понятием и образом Родины неразрывно связаны в литературе Отечественной войны мысли о народе. Советские

писатели показывают не только могущество своего народа, но и тот высокий строй чувств и дум, который всегда отличал наш народ и помогал ему с честью выходить из тяжелых испытаний, а правдиво раскрыть героизм советского человека, отразить благородство его характера и величественную красоту целей его борьбы—это и значит помогать фронту.

Одним из больших явлений современной литературы явилась повесть Гроссмана «Народ бессмертен». В повести выделяются два героя—боец Семен Игнатьев и комиссар Богарев, они дополняют друг друга. Семен Игнатьев—русский человек, молодой человек; с свободной и смелой душой. Семен любит труд и работает легко, задорно, заражая всех здоровым чувством радости и силы. Он находчив, изобретателен, мужествен.

Комиссар Богарев как бы олицетворяет разум борющегося советского народа. Фашизм воспитывает в людях механическое подчинение, бездушное и бездумное. Комиссар Богарев старается в боях и командирах воспитать сознание великой ответственности перед родиной, народом, историей. Фашизм творчески бессилен, он с презрением относится к культуре. Богарев полон пытливых исканий. Фашисты преследуют цели разбоя и порабощения. Идеалы комиссара Богарева возвышенны и благородны; он борется за свободу и творческую жизнь своего народа и всего человечества.

У советского человека, сражающегося с напряжением всех сил, ставшего суровым воином, чувство любви проявится сейчас по-особому, смело можем сказать—глубже и чище. Любовь к женщине, к матери, к детям сливается с напряженной любовью к родине, становится частицей того великого чувства, которое именуется патриотизмом.

Ванда Василевская рассказывает о небольшом отряде советских людей, который отбивается от немцев. Катя Назарова подавала мужу патроны. Связь прервана. Немного осталось людей. Назаров посылает жену в город—передать документы, Катя уходит. «Теперь он, наконец, взглянул на нее. Серые, любимые глаза... Она почувствовала отчаянную, безудержную, безумную любовь к этому человеку. «Алеша...»—«Ничего, ничего, Катя. Иди поскорей... Это и есть любовь, Катя» («Партийный билет»).

Но не только чувство к любимой стало пылым в прозные дни испытаний. Изменилось и чувство матери.

В небольшой, прекрасной книжке Ник. Тихонова есть рассказ «Мать». Он занимает всего несколько страниц, как и все рассказы, объединенные скромным, но значительным названием: «Черты советского человека». Студент Боря, рассказывает Тихонов, близорукий и не очень сильный, казалось бы, вовсе непригодный быть бойцом, ушел в армию добровольцем. Мать и сестра часто навещали его в деревне, где он проходил военную подготовку. Но враг прорвался к городу,

учебный лагерь стал фронтом. Мать с маленькой дочкой, приехавшая на очередное свидание, миновала пустую деревню, прошла между горящими домами под артиллерийским обстрелом, чтобы удостовериться, выполняет ли достойно ее сын свой долг. И когда мать узнала, что сын пошел в атаку, она сказала дочери: «Душа моя спокойна. Я боялась, что он не сможет пойти в бой, что слаб, что он плохо видит — я решила проверить. Я проверила. Мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не надо. Пойдем домой».

Тихонов показал, как благородные материнские чувства неразрывно сливаются с чувством советской патриотки: чистые и твердые характеры выковываются в нашей стране в дни Отечественной войны.

Классики русской литературы не раз изображали русскую женщину — сильную, смелую, преданную своему долгу, своему народу.

В этой галлее женских образов выступает бессмертная Ниловна, героиня романа Горького «Мать». И когда мы смотрим пьесу Симонова «Русские люди», то старая русская женщина Марфа Петровна Сафонова кажется нам младшей сестрой Пелагеи Ниловны. Сколько в ней народной мудрости, несгибаемой честности, материнской любви, презрения к врагам, настоящего русского патриотизма.

А разведчица Валя Анощенко из той же пьесы! Этот образ советской девушки выбрал в себя традиционные черты русских женщин, как они отражены в нашей литературе. Она предана великому делу, она смела и решительна, немножко мечтательна. Она чисто и глубоко любит капитана Сафонова. Старуха Сафонова осталась в оккупированном городе, чтобы передавать сведения о немцах в отряд сына. Валя Анощенко трижды переплывает ледяной льман, чтобы вовремя доставить эти сведения в его отряд. Естественно, органично огромная любовь к родине сплавилась у этих двух женщин с любовью к капитану Сафонову, советскому воину, другу и сыну. Литература наша воюет даже и тогда, когда она рисует советский город, который не видел ни одного вражеского самолета, или интимнейшее лирическое чувство. Все чувства, мысли, желанья, мечты советского народа мобилизованы в помощь фронту.

Советские писатели в эпоху Отечественной войны стараются еще ярче воспроизвести благородство и глубину народных характеров, величие идей, чувств и дум народа. Они пытаются все глубже раскрыть великое чувство патриотизма, которое вдохновляет людей на подвиги. Но патриотизм — сложное и многогранное понятие. Белинский считал истинным патриотом только того, кто страстно борется за осуществление идеала человечества на своей родине. Народ знает, что его великие вожди отдают свою силу, мудрость и знание борьбе за его счастье.

В сложном и многогранном чувстве патриотизма одно из самых важных мест за-

нимает отношение к вождю своей чудесной страны.

В дни великих испытаний народ еще глубже чувствует органическую связь с вождем, еще ярче ощущает свою близость к нему. Имя вождя, как знамя, вдохновляет на подвиги, помогает жить и бороться, учит побеждать.

Советские поэты в проникновенных стихах стараются выразить это народное чувство.

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?  
Ты должен слышать нас, мы это знаем:  
Не мать, не сына — в этот грозный час  
Тебя мы самым первым вспоминаем.

(К. Симонов, «Суровая годовщина».)

Народ знает — вождь всегда с ним и в яркие дни народных праздников и в тяжелые минуты испытаний. Каждый боец чувствует заботливую руку вождя, слышит его родной голос, знает мудрые указания.

Грохочут пушки и свистит прапнель,  
Но серый страх не вьет тизда в груди.  
Твою красноармейскую шинель  
Боец в атаке видит впереди.

(А. Сурков, «Вождю»)

Любовь к вождю выросла у советских людей из любви к родине, к свободе, к жизни. Это неразделимое органическое единство любви к родине и вождю показал Симонов в «Русских людях». Отряд капитана Сафонова дерется в тылу у немцев. Нет воды, на исходе снаряды, нехватает людей. Васин, старый, преданный родине воин, готов погибнуть в борьбе за свободу своего народа. «Что ж, другим потом легче вперед будет идти». — с большим мужеством говорит он капитану Сафонову. Командир отряда горячо возражает ему. «Не хочу я этого от тебя слышать. Не другие, а мы еще с тобой вперед пойдём. Сталин что сказал? Сказал, что еще пойдём мы вперед. Пойдём, и все тут! (Задумчиво) — Сталин... Я, Александр Васильевич, тому иногда не верю, другому иногда не верю, а ему всегда и везде верю. Я его речь по радио когда слушал, у меня контузия еще не прошла, слова в ушах мешались, но вместо них все равно для себя его слова слышал: «Стой, Сафонов, и ни шагу назад! Умри, а стой! Дерись, а стой! — Десять раз прими, а стой!» — Вот, что я слышал, вот что он лично мне говорил». Это голос сталинского поколения. Здесь и горячая любовь к вождю, чувство родной близости к нему, и громадная, непоколебимая вера в победу нашего дела, нашей борьбы с врагом. Это — новый гуманизм, советский гуманизм, сталинский гуманизм. Советский человек любит жизнь, но он любит свободную жизнь, поэтому он идет на подвиг, на жертвы. Так из любви к жизни рождается презрение к смерти.

Товарищ Сталин воспитывает в нас мужественный и суровый оптимизм. — он знает благородный и смелый характер своего народа. Это единство мыслей и дум народа и вождя прекрасно выразил А. Сурков в одном из своих стихотворений:

Шуршит по крышам снеговая крупка,  
На Спасской башне полночь бьют часы.  
Знакомая негаснущая трубка.

Чуть тронутые проседью усы.  
Он наш корабль к победам вел сквозь  
годы,

Для нашей славы временем храним.  
И в эту ночь над картой все народы  
В седом Кремле склонились вместе с ним.  
На карте фронт узорной вязью вьется.  
И он, напелаясь в черные кружки,  
Привычным, точным жестом полководца  
Отодвигает к западу флажки.

(декабрь 1941 г.)

С первых дней войны привлекло внимание наших писателей лицо врага. В разработке этой темы есть очевидная закономерность. Нужно было вскрыть примитивную и преступную психологию фашистов. Нужно было рассказать советскому народу и всему миру о страшных злодеяниях гитлеризма, нужно было заклеить, пригвоздить врага к позорному столбу, казнить словом правды и едкой сатиры.

Со свойственным советскому народу великодушием относились некоторые красноармейцы к обезоруженным врагам. Лейтенант Герасимов в произведении Шолохова «Наука ненависти» рассказывает, как пленным немцам бойцы несли все, что могли. «Но стинам их похлопывают, «камрадами» называют, за что, мол, воюете, камрады...» Но эта «невиданная война, когда враг топтал всю жизнь народа, сбивал кресты на кладбищах», вешая, насилая, грабя, шел по советской земле, скоро выжгла из великодушных сердец остатки жалости. Советские писатели помогли своему народу глубже осознать психологию осатанелого врага.

Толстой, Шолохов, Эренбург, Антокольский, Маршак и другие в точных словах, дышащих презрением и гневом, нарисовали «систему воспитания» юных фрицев, которые пришли в нашу страну убивать и грабить.

Антокольский рассказывает в «Балладе о парне из дивизии «Великая Германия»:

Парня выбрали по росту между сотен  
низколобых.  
На год заперли в казарму, сны проверили  
в мозгу.  
Ровно год скучал и ждал он с разной  
сволочью бож о бок,  
Не писал домой открыток и оттуда  
ни гу-гу.  
Силу парня разъедала тошнотворной  
скуки язва,  
Рядом с ним, как волки в клетке, терлась  
тысяча парней.  
Был «Германней Великой» этот полк  
отборный назван,  
Чтобы дух закалки бравой укрепить  
в парнях верней!

Подобные низколобые господа пришли грабить нашу землю.

Это были люди,— рассказывает Вас. Гроссман в своей повести «Народ бессмертен»,— которые знали фамилию секретаря своей районной организации национал-социалистической партии, но ничего не слышали о Гете и Бетховене, Бисмарке и

Шлиффене. Комиссар Богарев, изучая систему построения воинских сил Германии, отмечал необыкновенную способность немцев к организации, их умение механически, бездушно подчиняться, воевать, маневрировать. И Богарев видел: «Это была не культура разума, а цивилизация инстинктов, нечто идущее от организованности муравьев и стадных животных».

«Говоря о Гитлере и о гитлеровцах,— пишет Илья Эренбург,— будущий историк должен будет заглянуть в учебник зоологии — это звери».

Жестокое злодеяния фашистов, показанные в произведениях советских писателей, зовут к беспощадной кровавой борьбе.

Незабываемую картину бомбежки старинного нашего города дал Вас. Гроссман в повести «Народ бессмертен».

Таких сцен не забывают,— за них мстят всю жизнь.

В превосходной повести «Радуга» Ванда Василевская рисует злодеяния немцев на нашей земле, зовет к ненависти. Немцы теревушку допрашивали

Костюк. Они хотели получить сведения о партизанах. Олена молчала. И началась пытка. Беременную нагую женщину выгнали на мороз. Она пла, падала, поднималась, ее кололи штыком, над ней издевались. Она все вытерпела. Любовь к народу дала ей силы. Колхозники понимали: «не Олена Костюк — это вся деревня пла пагая по снегу, подгоняемая солдатским смехом. Это не Олена Костюк — это вся деревня падала в снег лицом, тяжело поднималась под ударами приклада». Истерзанная женщина родила ребенка. Офицер выстрелом размозил голловку новорожденного. Олена потрясена — всю жизнь она ждала ребенка. Но не выдала она тозарищей.

Лейтенант Герасимов прошел «школу ненависти». Он видел девочку-школьницу, изнасилованную и убитую, лежащую среди учебников и тетрадей, он видел кучу крупно-нарубленного человеческого мяса, наверху которой лежали восемь красноармейских пилотов, он побывал в немецком плену, где голодных людей со смехом, ради шутки, расстреливали из пулемета (М. Шолохов, «Наука ненависти»).

Фашист Розенберг в пьесе «Русские люди» откровенно признается, что «завоеватель может презирать народ, им покоренный». Но немцы скоро начинают понимать, что не покорить им советского народа. Тогда они придумывают утонченные издевательства над жителями оккупированных районов. Розенберг приглашает товарища «изучать нравы», делать «психологические этюды», то есть мучить, пытать, терзать советских людей.

Наши писатели все глубже раскрывают фашистскую психологию, все рельефней лепят отвратительный образ врага, и отчетливо выступают его моральное убожество, чудовищная преступность его политических идей, позорная бедность интеллекта.

Где ты пропел, там слезы, кровь и злоба.  
И проклят миром твой разбойный род.  
Когда б великий Гёте встал из гроба,  
Он не узнал бы свой родной народ,

пишет поэт А. Сурков («Они не вернутся с востока»).

Так же, как ненавидит народ врага, так же ненавидит он предателя. Наши писатели парсывали омерзительный образ предателя.

Горбатов в известном очерке «О жизни и смерти» рассказывает о расстреле дезертира Антона Чувькина, человека с душой зайца и сердцем хорька, который, забыв долг и честь, решил уйти с поля битвы.

Разными путями все эти люди приходят к предательству. Есть у них общее: все они ставят свои личные интересы выше общественных, все они, дорожа мелким личным благополучием, продают родину и народ. Предатели-трусы действуют «применительно к подлости». «Раз струсил, два струсил, три струсил, а дальше до подлости дошел», — говорит о поведении предателя старуха Сафонова. А сам Харитонов (пьеса «Русские люди») говорит о себе: «А вещи? Мои вещи без меня всегда вещи, а я без моих вещей, — дерьмо. Да, да, дерьмо, нуль».

Сравнение с предателем, как-то сказал Горький, оскорбило бы даже вошь. Народ не прощает предательства. «Вот он лежит в бурьяне, Антон Проклятый, — рассказывает Горбатов о расстрелянном дезертире. — Человек, сам оторвавший себя от родины в грозный для нас час... А мы проходили мимо». Когда Сафонову ведут на казнь, она гневно обращается к Харитонову: «Плюнула бы этому немцу в морду, да лучше тебе плюну».

«...нельзя победить врага, — писал Сталин, — не научившись ненавидеть его всеми силами души»<sup>1</sup>.

«...дело, конечно, не в том, — говорил Горький о фашизме, — чтобы уговорить зверя вести себя милостиво по отношению к человеку, попавшему в его лапы, а чтобы вырвать лапу из плеча вместе с головой зверя!»

Ненавидь советского народа к фашизму священна и гуманна: это ненавидь человека к напавшему на него бандиту и насильнику, самому подлому, самому гнусному из преступников, каких знал мир, человеческая история.

«Я призываю к ненависти», — так назвал один из своих фельетонов А. Толстой. Эти слова могли бы служить эпиграфом к нашей гуманистической литературе Отечественной войны. Не только горячая советская публицистика — вся советская литература зовет к ненависти. Эта ненавидь выросла в процессе войны.

«— Народ-то у нас больно мягкий, он, мягок народ, — говорит дед Евдоким, — сегодня озлитесь, а завтра обо всем забудет... Не умеет наш народ носить злобу в сердце».

— Не бойтесь, дедушка, — отвечает Чериха, — добрый-то добрый, а как возьмет его за пачонку, так уж возьмет. А взяло за пачонку... как тут забыть? Разве это хоть в смертный час забудешь? Не-ет!» (Валда Василевская, «Радуга»).

Враг ожесточил сердце великодушного народа — вот о чем рассказывает Валда Василевская в своей повести «Радуга». Советские писатели отразили в своих произведениях зарождение и развитие этого чувства священной ненависти.

Боец Семен Игнатьев чувствует себя кровно оскорбленным немцами: по своей земле он должен ходить, пригибаясь, говорить пошлостом, озирается. Когда он увидел отдыхающих немцев, по-хозяйски расположившихся в захваченной деревне, ужас охватил его. Он глубоко возненавидел врага и «понял всем сердцем своим, всей кровью, что эта сегодняшняя война должна продолжаться, пока немец не уйдет с советской земли» (Гроссман, «Народ бессмертен»).

Марфа Петровна Сафонова не о пощаде молит перед казнью, а проклинает ненавидных врагов. Она хотела бы полететь в немецкий город, рассказать немецким женщинам, сколько преступлений совершили их сыновья в нашей стране. «И если бы они своих сыновей не прокляли после того, то убила бы я их вместе с вами, с сыновьями ихними», — закончила свою обвинительную, дышащую ненавистью речь старуха (Симонов «Русские люди»).

На Дону Шолохов встретил казака. Он служил в армии в прошлую германскую войну, своей рукой убил восемь немцев. Ночью не спится советскому казаку, все думает — Гитлер тоже на войне был, почему не попался он под его пашку? («На Дону»).

Комиссар Богарев, до войны — профессор кафедры марксизма-ленинизма, видя пылающий старинный город, варварски разрушенный немецкими летчиками, поклялся: «Пусть все силы души и ума своего я положу, чтобы пробуждать ненавидь и месть» (Гроссман, «Народ бессмертен»).

Чувство ненависти объединило весь советский народ. И когда наши бойцы уничтожают врагов, то это осознается нашим народом не просто, как месть, а как осуществление высшей справедливости. Есть у А. Суркова чудесное стихотворение «Декабрь». Наши войска наступали, враг бежал, оставляя села с замученными людьми и выгоревшими избами. Мальчишка взобрался на разбитый вражеский танк.

Зябка ежась и брови сдвигаю упрямо.  
Показал на чужих мертвен у двора:  
— Это их за папана, Серегу и маму  
Наши дяди-танкисты побили вчера.

(А. Сурков, «Декабрь»)

Война является проверкой нравственных свойств советского человека, он выдержал с честью это испытание, а литература отразила это испытание со всей правдивостью. Наша литература показала, что подвиг, героизм, неразделим с высокими качествами человека, с его умом, благородством, моральной чистотой.

Симонов в рассказе «Третий альянт» рисует образ внешне сурового, но необычайно внимательного к людям комиссара. «Комиссар считал, — пишет Симонов, — что смелых убивают реже, чем трусов. Это

<sup>1</sup> И. Сталин, «О Великой отечественной войне Советского Союза», Госполитиздат, 1942, стр. 49.



было его твердое убеждение. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили». Комиссар делил людей на смелых и трусов. Он даже убитых оценивал по тому положению, в каком застала бойца смерть, — сражался ли он храбро, или позорно бежал. В этой оценке людей комиссаром лет упрощенности и прямолинейности. Комиссар был убежден, что героизм, подвиг — проверка характера бойца, его мастерства. Он верил в творческие возможности советского человека.

У Суркова есть стихотворение, выражающее ту же мысль. Два бойца были окружены врагами, один пытался бежать и был убит. Другой вел себя иначе.

Разил гранатами, колот штыком  
И вырвался из замкнутого круга,  
Десятерых на месте уложил.  
Он жизнь любил и он остался жив.

Вспомним героев пьесы Симонова «Русские люди»: Марфу Петровну, оставшуюся работать в оккупированном городе, Глобу, который пошел в немецкий штаб на верную смерть ради общего дела, мужественного старого майора Васина, умирающего с возгласом: «Слава русскому оружию», капитана Сафонова, держким залетом взявшего мост. Вспомним простую советскую девушку, Валю. Она — шофер, война сделала ее разведчицей.

Она подвозила патроны на позицию. Немцы прорештели пулями ее машину, а она шутит: «Я ей говорю: отправляйся на ремонт. А она говорит: разрешите, товарищ водитель, остаться в строю, я говорю: ну, разрешаю. Так она и осталась. Храбрая у меня машина!» Много мужественного оптимизма в этой шутке девятнадцатилетней девушки. Она попала в лапы немцев. Ее бьют, угрожают расстрелом, но она ведет себя героически — ничего не узнала от нее немецкий офицер.

Вспомним Сергея Горлова и его «апостолов» из пьесы Корнейчука «Фронт», героев повести Вас. Гроссмана «Народ бессмертен» и десятки других повестей, рассказов, очерков. Советский патриотизм — сплав тех чувств, мыслей, и деяний, в которых наилучшим образом проявились прекрасные качества советских людей.

Современная война необычайно сложное явление, требующее постижения военной науки, едва ли не самой сложной из наук, выработанных человечеством. Вопросом искусства ведения войны наша литература, к сожалению, стала серьезно интересоваться лишь недавно.

Гроссман в повести «Народ бессмертен» нарисовал образ комиссара Богарева — мастера воспитания человеческих характеров на войне. Богарев, профессор марксизма-ленинизма, стал на войне комиссаром. Профессор Богарев помог комиссару Богареву стать опытным воином, воспитателем советских бойцов. Он проштудировал основные труды по военным вопросам, он внимательно изучает захва-

ченные приказы немецкого командования, он воспитывает бойцов личным примером, старается использовать опыт своих красноармейцев для воспитания в них ненависти к врагу и стойкости в бою, он учит не уходить от трудностей, а громить врага, он чуток и внимателен к людям, учитывает настроение бойцов, он беспощаден к болтунам и паникерам.

Иной тип командира представляет майор Мерцалов — честный и преданный родные человек. Он держался такого правила: «бить так бить. Долго рассуждать я не люблю». Наши заняли село, Мерцалов удовлетворен. Не удовлетворен Богарев: танки врагов ушли, отходящая немецким частям не был нанесен серьезный удар, плохо было налажено взаимодействие частей, командир полка Мерцалов в самый ответственный момент побежал с винтовкой впереди атакующих частей, вместо того, чтобы из штаба руководить всем боем. Богарев оценивает бойца не только с точки зрения того, что сделано советскими войсками, но и того, что мог бы он сделать в данных условиях. «Я не хочу, — убеждает он командира полка, — чтобы Мерцалов думал, что все в порядке, что почему-то больше учиться. Если Мерцаловы так будут думать, они немцев не победят. В этой битве народов мало знать арифметику войны: чтобы изжить немцев надо знать высшую математику».

Герой Советского Союза командир полка майор Мерцалов смущен: вчерашний штатский профессор, комиссар Богарев, учит его воевать. Но практика войны подтвердила справедливость слов Богарева и опровергла Мерцалова.

Крупнейшим произведением, остро и смело ставящим вопросы руководства войной, военного искусства является повесть «Фронт» А. Корнейчука.

Мы далеки от мысли дать в небольшой этой статье хоть сколько-нибудь полный очерк литературы эпохи Отечественной войны. Мы позволе остановимся лишь на самых главных, коренных ее темах и проблемах. Литература эта имеет уже свою историю. Велика ответственность советского писателя перед своим народом в наши суровые и героические дни. «Слово, — писал когда-то В. Г. Короленко одному молодому писателю, — это не игрушечный шар, летящий по ветру. Это орудие работы: оно должно подымать за собой известную тяжесть. И только потому, сколько оно подымает и захватывает собой чужого настроения, — мы оцениваем его значение и силу». Значение и сила литературных произведений в наше время измеряется их значением для священной войны. Советские писатели с первых же дней войны стали помогать своему народу в борьбе с врагом. Они создали литературу великого патриотизма.

Пламенная и острая публицистика, разящая врага и прославляющая борющийся

зя народ, расцвела в наше время. А. Толстой, И. Эренбург и многие, многие другие писатели стали признанными мастерами этого жанра. Современные художники слова следуют благородным традициям русских классических писателей и критиков, которые любили и умели поговорить с читателем по душам на страницах газет и журналов о самых животрепещущих вопросах.

Материал, который в обилии дает наша действительность, так ярок и необычаен, так привлекателен, так волнует писателя, что он старается скорее записать увиденное и услышанное, скорее донести его до читателя, поделиться с ним своими новыми мыслями, своим чувством гнева и восхищения.

Этот материал часто не уместается ни в какие жанры. Произведения Горбатова читались всеми с большим интересом. Критики спорили, что пишет Горбатов — очерки, стихотворения в прозе, лирические рассказы.

Вскоре же после начала войны появились очерки и рассказы, повествующие об отдельных подвигах, о боевых эпизодах, реже давалось место вымыслу, обобщению.

Писатели, рисуя в многочисленных рассказах, очерках, стихотворениях отдельных людей и их подвиги, часто еще не поднимались до широких обобщений, не создавали типических характеров. И наоборот, общие идеи, нередко прекрасно развернутые в публицистических статьях, памфлетах и фельетонах, не находили еще полного раскрытия в художественных образах. Читатель требовал большего. Он хотел не только описания внешней цепи событий, приведших советского человека к подвигу, но и воспроизведения движений ума и сердца героя. Жизнь требовала от писателя, чтобы он глубоко раскрыл читателю внутренний мир человека, совершающего подвиг.

С другой стороны, необходимо было показать не только отдельный героический поступок, но раскрыть логику войны, показать в художественно убедительных образах борьбу двух армий, двух народов. Эта трудная задача встала перед советскими писателями. Они понимали всю ее трудность и не сразу подошли к ее разрешению. Еще Бальзак, говоря о сложности воспроизведения в литературных произведениях общей картины войны, писал: «Я полагаю, что было бы возможно описать движение лагерей и великое смятение битвы, предложив глазу читателя бинокль генерала».

Таким образом, перед литературой встала задача углубиться в изображение человека на войне и расширить сферу

своего внимания до понимания сложных ситуаций войны.

Так родились более крупные по объему и значению произведения эпохи Отечественной войны. Симонов написал пьесу «Русские люди», Тихонов — поэму «Киров с нами», Вас. Гроссман — повесть «Народ бессмертен», Корнейчук — пьесу «Фронт», Ванда Василевская — повесть «Радуга», Твардовский — поэму «Василий Теркин». Многие советские писатели обратились к сложным и объемным жанрам. Не все удачно в этих первых попытках создать крупные произведения об Отечественной войне.

И все же эти первые объемные вещи играли и играют исключительную роль. Центральные газеты опубликовали их на своих страницах: пьесы Симонова и Корнейчука впервые были напечатаны в «Правде», повесть Гроссмана печаталась в «Красной звезде», повесть Ванды Василевской — в «Известиях». Почти ежедневно на страницах центральных газет мы встречаем стихотворения, рассказы, очерки, повести. Это говорит о том, какое большое значение приобретает в наши дни советская литература. «Суть писателя, — заметил однажды Бальзак, — то, что делает его писателем и, не побоюсь этого сказать, делает его равным государственному человеку... это некоторое определенное мнение о человеческих делах, полная преданность принципам». Наш писатель полностью предан принципам любви к своей социалистической родине и ее народу. Его произведения горячо любят народ и ненавидят враги. Неслучайно блестящие публицистические статьи Толстого вызвали злобный отклик Геббельса. Это тоже оценка — удар советского писателя попал в цель. Неслучайно лучшие вещи, созданные нашими писателями, с таким нетерпением ожидают нашими демократическими друзьями в Англии и Америке. «Падение Парижа» Эренбурга было передано заграничным издательствам еще до выхода романа в свет в СССР. «Прошу передать пьесу Симонова по телеграфу, — сообщали из Америки. — Постановка в лучших театрах Бродвея обеспечена немедленно». Вой врагов и восхищение друзей — не это ли высшая оценка советской литературы эпохи Отечественной войны.

Вместе с поэтом Сурковым советский писатель может сказать:

Лишь в день победы мы вздохнем  
свободней,

В цветах увидим родину свою.  
Во имя этой радости сегодня  
Я мечь и плев, и ненависть пою.



